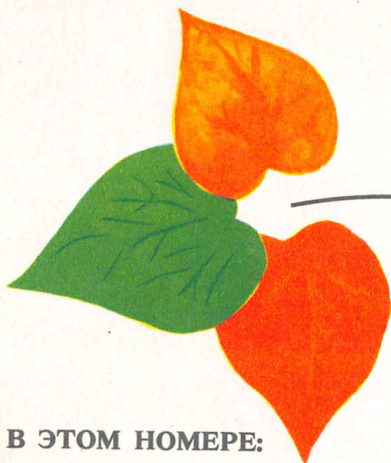


АЛЬМАНАХ ПОЭЗИЯ

50·1988



В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Блиц-интервью. Е. Винокуров, Р. Рождественский, Е. Евтушенко, Л. Аннинский, Ю. Кузнецов, Н. Тряпкин, В. Костров, М. Квливидзе.

Поэзия. В. Кочетков, К. Ваншенкин, Р. Рождественский, Г. Горбовский, Т. Сырышева, О. Дмитриев, В. Ливземник, Д. Сухарев, Р. Бородулин, В. Гордейчев, В. Казанцев и др.

«Круглый стол» альманаха «Поэзия». С. Агальцов, В. Аристов, Н. Дмитриев, Г. Каложный, В. Коркия, Н. Краснова, А. Парщиков, А. Щуплов, А. Бобров, С. Небольсин, С. Котенко, М. Эпштейн.

Публикации. Г. Николаева, М. Цветаева, А. Чижевский, В. Высоцкий, В. Ходасевич.

Зарубежная поэзия. Т. Кэрю, К. Сэндберг, С. Е. Лец, Б. Виан.

А также юмор, ироническая поэзия, пародии, эпиграммы.

50

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИЯ

1988



ББК 84(0)6
П67

РЕДАКТОР Николай СТАРШИНОВ

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Зайцев Г. В., Куняев С. Ю., Олейник Б. И., Осетров Е. И., Старшинов Н. К., Фокина О. А.

П $\frac{470100000-225}{078(02)-88}$ 201—88

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1988 г.

АЛЬМАНАХ
ПОЭЗИЯ
50·1988

МОСКВА
«МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
1988

СОДЕРЖАНИЕ

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Евгений Винокуров	6
Роберт Рождественский	6
Евгений Евтушенко	6
Лев Аннинский	6
Юрий Кузнецов	6
Николай Тряпкин	7
Владимир Костров	7
Михаил Квливидзе	7

ВСЕГДА В ПУТИ

Виктор Кочетков	8
Константин Ваншенкин	13
Роберт Рождественский	16
Глеб Горбовский	18
Павел Булушев	21
Татьяна Сырыщева	25
Олег Дмитриев	28
Виктор Ливземниек	31
Дмитрий Сухарев	34
Овидий Любчиков	36
Рыгор Бородулин	38
Владимир Гордейчев	42
Сергей Поликарпов	46
Василий Казанцев	48
Диомид Костюрин	51
Виктор Лапшин	53

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» АЛЬМАНАХА «ПОЭЗИЯ»

С чем идем в мир?	57
Сергей Агальцов	84
Владимир Аристов	88
Николай Дмитриев	93
Григорий Калужный	96
Виктор Коркия	101
Нина Краснова	104
Алексей Парщиков	108
Александр Щуплов	113

СТАТЬИ

Лев Аннинский. Общее жите	116
-------------------------------------	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Татьяна Шеханова. О стихах прозаика	123
Галина Николаева	124

Елена Коркина. О поэме М. Цветаевой «Егороушка»	137
Марина Цветаева	142

ВСЕГДА В ПУТИ

Николай Денисов	147
Леонид Козырь	149
Микола Прокопович	151
Владимир Соловьев	153
Геннадий Касмынин	155
Надежда Емельянова	159
Герасим Иванцов	163
Виктор Есипов	166
Евгений Чепурных	168
Нина Константинова	170
Юрий Буряк	172
Сергей Донбай	175
Владимир Кудимов	176
Николай Кузнецов	178
Владимир Денисов	181
Ирина Антонова	183
Николай Быков	185
Борис Орлов	187
Евгений Петров	188

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Вл. Муравьев. Поэзия А. Л. Чижевского	190
Валерий Байдин. «И мысли свет летит к открытым небесам...»	192
Александр Чижевский	199
Леонид Гурзо. И неподкупный голос мой...	201
Владимир Высоцкий	204

МАСТЕРСКАЯ

Владимир Казаров. «Сонеты» Шекспира: проблема перевода или проблема переводчи- ка?	209
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Павел Нерлер. «Дар тайнослыша- нья тяжелый...»	220
Владислав Ходасевич	226

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Виктор Лунин. Несколько слов о Томасе Кэрью	232
Томас Кэрью	233
Аркадий Гаврилов. Карл Сэнд- берг	234
Карл Сэндберг	236
Семен Ванетик. Слово, оплаченное судьбой	240
Станислав Ежи Лец	240
Михаил Яснов. Борис Виан: эстетика контраста	242
Борис Виан	242

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС...

Ироническая поэзия Николай Карпов	247
------------------------------------------------	-----

Вадим Бомас. Пародии	247
Валерий Анищенко	248
Владимир Тепляков	250
Андрей Мурай	251
Александр Егоров	251
Михаил Савин	252
Григорий Медведовский	253
Николай Кулак	253
Ефим Самоварщиков	254

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ АЛЬМАНАХА «ПОЭЗИЯ» С 1985 ГОДА	257
-------------------------------------------------------------------	-----

АНОНС	272
-----------------	-----

БЛИЦИНТЕРВЬЮ

Что бы вы могли пожелать альманаху «Поэзия» в год двадцатилетия и в связи с выходом его юбилейного 50-го номера!

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ

Я хочу пожелать, чтобы на страницах альманаха «Поэзия» выступали поэты разных поколений, разных стилистических направлений, потому что разнообразие — главное достоинство любого издания. Потому что унылое однообразие губительно, чтобы было больше представлено разных жанров, чтобы был юмор, различные интервью с авторами, хотелось бы чаще видеть и критические заметки.

Я считаю, что направление, избранное альманахом «Поэзия», — хорошее, верное, соответствующее времени; желаю идти этим же курсом, не теряя набранное, но и набирая новые силы и новую высоту.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Пятьдесят номеров альманаха — разве это юбилей?! Это же не пятидесятилетие!

Ну а если подумать?

Ведь у альманаха «Поэзия», как и у любого человека, был миг рождения, было не такое уж легкое детство со своими «болезнями» и «шалостями». Было так, что и в школу его родителей вызывали, и наказывали подрастающего, и воспитывали его все, кому не лень, причем каждый на свой лад.

Как не похожи друг на друга годы человеческой жизни, так и вышедшие номера не похожи. Хотя бы тем, что одни запомнились, а другие прошли так, будто их и не было.

И вот пятидесятый номер. Стареем, значит? Пожалуй, нет. Скорее продолжаемся. И в этом продолжении все дело.

Хочется, чтобы те, кто когда-то начинался в альманахе, не забывал его. И пусть сам он больше будет не на обочине поэзии, а в центре ее. В самой сердцевине.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Поэтическая молодая гвардия должна опираться на все лучшее, что сделано старой гвардией. Нельзя перескакивать через опыт предыдущих поколений. Сегодняшняя молодая поэзия должна быть подытоживанием нашего опыта, и наших побед, и наших заблуждений, и наших нравственных и художественных ошибок. Сегодняшняя молодая поэзия будет только тогда воистину молодой, если скажет — и на страницах альманаха «Поэзия» в том числе — еще не сказанное нами, если откроет новую неведомую форму и хотя бы на миллиметр поднимет небо настоящего.

ЛЕВ АННИНСКИЙ

Да не сочтут меня бестактным, но двадцать лет, какие выходит в свет альманах «Поэзия», все-таки, как ни смягчай, не время поэзии. Шес-

тидесятые годы — да, эпоха стихов, а семидесятые... как назовут? Время прозы? Суровой прозы? Унылой прозы? Серой прозы? «Секретарской»? Массовой? Не буду гадать, но явно это не время поэзии. А восьмидесятые? Еще и не определились. Однако все эти двадцать непоэтических лет альманах «Поэзия» усердно, упорно и с полной верой раздувает поэтические угли.

Мое пожелание — чтобы разгорелось. Чтобы следующая полсотня номеров шла в ответе лирических пожаров. Чтобы сотый номер расхватали читатели стихов в XXI веке.

Будет ли то время счастливым? Зачем опять-таки гадать: как-никак новый век — дело новое. Но пусть то время будет веселым. И полным трудов для альманаха.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

Желаю поэзии быть, а не казаться, проникать вглубь, а не скользить по эмпирической поверхности, осваивать новое, а не вытеснять старое, ставить вечные вопросы бытия, а не цепляться за шероховатости быта — одним словом, творить.

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН

Что можно пожелать альманаху «Поэзия» по случаю выхода его пятидесятого номера? А пожелаю прежде всего того, чтобы альманах постепенно превратился в ежемесячный достопочтенный журнал, собирающий в себя самые лучшие поэтические силы нашего дорогого Отечества. Пусть это получится не искусственно, а именно постепенно, в силу той внутренней логики, когда журнал становится творческой необходимостью. А если уж оставаться альманахом, то и в этом случае пусть он неуклонно идет по пути наращивания своего, так сказать, поэтического ценза. Ибо альманах, называющийся «Поэзия», должен быть достоин такого возвышенного названия. А для этого он должен быть действительно талантливым, действительно честным и действительно правдивым.

ВЛАДИМИР КОСТРОВ

Отечеству — еще полезнее:
пусть будет альманах «Поэзия»!

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

Для меня большая честь быть автором альманаха «Поэзия». Задолго до того, как наступил благотворный климат «перестройки в поэзии», признаки этого чудесного климата живой, непосредственной, умной и чувственной поэзии всегда присутствовали в этом альманахе. Может быть, меньше, чем в других печатных органах, в нем было то, что мы называем казенщиной, риторикой, суесловием, барабанным грохотом — одним словом, ложью. И меня всегда тянуло быть читателем этого альманаха. А теперь я стал и его автором. Я хотел бы пожелать в будущем альманаху также предвосхищать события, без которых теперь уже немислимо развитие искусства, поэзии, всей нашей духовной жизни.

ВСЕГДА В ПУТИ



ВИКТОР КОЧЕТКОВ

Родился в 1923 году в деревне Балахоновка Куйбышевской области. Участник Великой Отечественной войны. Первые стихи публиковались во фронтовой газете.

Окончил Кишиневский государственный университет и Высшие литературные курсы в Москве.

Автор десяти поэтических книг.

* * *

Война голосила меж дымных полей:
«О русский солдатик, меня пожалей!
Тебе ли, служивый, меня добывать,
не лучше ль трофеи в бою добывать?
Ну кем бы ты был без меня, молодец?
За плугом ходил бы да пас бы овец.
А я тебе столько открыла путей,
постреливай только, иди, не потей.
Кто чарочку водки — зима ли, весна —
тебе преподносит? Опять же война.
Кто вашему брату дает ордена?
Все я же, солдатик, все я же, война.
Кто подвигам вашим дает имена?
Все я же, все я же, старушка война.
Иному рубাকে я слаще вина,
меня прославляли во все времена.
Когда б ты узнал «наслажденье в бою»,
как пишет поэт под диктовку мою?
Когда б из грачонка ты вырос в орла,
коль я бы оружие тебе не дала?
А в думах о смерти к чему изнывать —
одной не минуешь, а двум не бывать.
Убавила гонор твоим я врагам.
Полмира к твоим положила ногам.
Ты шел по Европе с винтовкой в руке
и сытый, и пьяный, и нос в табаке.
И слава пришла, ты ее не искал,
и девок потискал, и баб поласкал.
Я в долгих заботах ночей не спала,

покуда до Эльбы тебя довела.
Не бойся, гвардеец, я силы найду,
я к стольким Победам тебя приведу.

Лишь ты без оглядки шагал бы за мной
все дальше, все дальше — зимой ли, весной.
Стрелял из винтовки да брал города,
родную деревню забыв навсегда.
Пусть бабы и сеют и косят там рожь». —
И крикнул солдат ей:
— Ты дома не трожь!
Избавил я землю от страшной беды.
Пора мне за мирные браться труды.
Тоскуют глаза по девичьей красе,
тоскует рука по крестьянской косе.
По устали сладкой тоскует спина,
проклятье тебе, окаянной, война!
Ты юность мою у меня отняла,
ты душу до самого корня сожгла.
Чтоб ожило сердце в родимом краю,
тебя я без жалости нынче убью.—
И пуля ударила в сердце войны,
потом облетела четыре страны,
вернулась и в сердце солдата вошла,
и, горестно охнув, война умерла.

ДЕРЕВНЯ ЛЮБИЛКИ

Ни дома, ни древа, ни былки.
Лишь черные гнезда костров.
А было в деревне Любилки
без малого двести дворов.

Ах, как здесь когда-то любили,
как ночи здесь песней цвели...
Неделю Любилки бомбили,
покамест дотла не сожгли.

Ах, как здесь гремели когда-то
черниговские соловьи!..
Стоим мы — четыре солдата —
и слушаем поскрип бадьи.

Кричу: «Отзовитесь, Любилки!
Стряхните покров немоты!»
Хоть стон бы услышать бобылки,
споткнуться о взгляд сироты.

Хотя бы дворняжки ворчанье
заставило вздрогнуть на миг...
Но грозное это молчанье
еще не родило свой крик.

Проулок, извилист и пылен,
курится остывшей золой,
да ухает горестно филин
из леса, закрытого мглой.

Еще молчаливо-безлики
летучие толпы теней.
И только зрачок повилики
глядит из-под груды камней.

* * *

Возвращенье из первой разведки,
до сих пор оно памятно мне.
Уже вымокли нижние ветки,
и роса чуть блестит на стерне.

И туман перевалисто-вязко
натекает в ольховый овраг.

И, на бруствер взойдя
без опаски,
сонно чмокая, мочится враг.

А дорога все низом да низом,
ни звезды, ни огня впереди.

Словно мина
с часовым механизмом,
тихо тикает сердце в груди.

* * *

Шелест ив, да дремотные шорохи ржи,
да сияющий купол полуденной сини...
Деревянное детство мое, расскажи,
как живется тебе в довоенной России?

Как глотается книга про римских рабов,
как играет песня «О ветры, повеите»?
Как шагается меж колосистых хлебов,
как мечтается на притененной повети.

Довоенная сельщина... По́ля рядно...
Голубые наличники отчего дома...
Атлантида, которой найти не дано,
сколько вы ни ныряйте в глубины былого.

Вековечная память родимой земли,
о, как мы ее плохо когда-то хранили!
В проработках бесчисленных поизвели,
в перепалках решительных похоронили.

Нашей трудной истории десять веков —
и преславный Кагул, и бесславную Калку,—
словно ветошь прапрадедовских армяков
с комсомольским задором тащили — на свалку.

С недоверьем глазели на прошлое мы.
И судили судом его строгим и скорым.
И уже ничего, кроме горестной тьмы,
не клубилось по тем легендарным просторам.

Сколько отдали сил мы суровой войне,
чтоб от старого мира навек откреститься.
Мы не брали в расчет, что любой новизне
наступает черед в старину превратиться.

Без особых хлопот сокрушая века —
пусть покروются жесткой травой забвенья! —
мы не в двадцать, не в тридцать, а лишь к сорока
научились беречь не года, а мгновенья.

Там, в окопах на Волге, Днепре и Донце,
злое горе черпая немеренной чашей,
наконец-то расслышали в смертном кольце
ободряющий голос истории нашей.

На второй мировой побеждая беду,
обретали опять вековое наследство,
где со скифскою давью в едином ряду
поместилось мое довоенное детство.

ОДНОГОДКИ

Был короткий наказ:
«Отчий край сбереги!»
Много ль нас уцелело
в расплеске той смертной волны?
Одногодки мои,
вы, как редкие-редкие айсберги,
штормовые отколки
ледового поля войны.

Озаряют былое
тревожные всполохи лунности,
фронтовые дороги
из мглы проступают густой.
Не стихает метель
над сквозными окопами юности,
и не гаснет ракета
над не взятой еще высотой.

Поседевшая память,
подай из траншейного плена весть,
сталинградские ночи
в свидетели вновь позови.
Девятнадцатилетние,
мы воспевали солдатскую
ненависть,
мы считали зазорным
в те годы писать о любви.

Двести двадцать седьмого
приказа
горчайшее мужество
научило нас
жизни — своей и чужой —

не жалеть.
Никогда мы уже
с молодым добродушьем
не сдружимся,
никогда нам уже
всепрощением не заболеть.

Мы не баловни славы,
не ловцы вождя слуги.
Нам кричали комбаты,
строй гвардейский ровняй:
«Прямись!»
Только «да» или «нет»,
только правда, пусть самая
жгучая.

Нас не сманит подачками
новомодный теперь компромисс.

Мы еще и поныне
фронтовыми тревогами мучимся,
мы еще и поныне
с прошедшим счета не свели.
Умирать научились,
а вот жить все никак не научимся.
Нас в умении жить
даже внуки уже обошли.

В это грозное время
заботиться надо о быте ли?
Как рубеж огневой,
мы храним молодую мечту.
Одногодки мои,
самой главной Победы строители,
много ль вас уцелело?
Я вас нынче по пальцам сочту.

* * *

Снова туманы безветренной осени
копятся в каменной чаше пруда.
В круглом колодце межоблачной просини
вновь одинокая светит звезда.

Изредка берег волной оторочится
да на лугу прósкрипят дергачи.
Как захотелось и мне одиночества,
песни печальной в безлунной ночи.

Песни печальной
да тропки оброшенной *,
да молчаливой прохлады полей,
да тишины деревеньки заброшенной,
родины милой моей.

ТРОПА ТВАРДОВСКОГО

Глухая воркотня аэродрома
да острый выгиб лунного серпа.
Вечерний дол. Боярышник и дрема.
Твардовского заросшая тропа.

Она ведет к картофельному полю,
к речонке, закосневшей в забытьи.
Как хочется ей выбраться на волю
из этой пошлой дачной толчеи.

И воля та — рукой подать — за бором,
за тем леском, что по-сентябрьски желт.
Но нет конца ни дачам, ни заборам
в наручниках окованных щеколд.

* Оброшенной — от обросить, обсыпать каплями росы.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Родился в 1925 году. Известный поэт. Автор многих книг стихов, песен и прозы.

* * *

Мать, в муках, в счастье продержись:
Младенец — жизни половина
Иль даже вся — выходит в жизнь,
Едва прервется пуповина.

А дальше — горе не беда,
И с той черты, предельно ранней,
Накатывает череда
Прижизненных напластований.

Но на каком-то рубеже
Вдруг иссякает лет лавина,
И вот не с матерью уже,
А с жизнью рвется пуповина.

СКАЗКА

Сказка?.. Лес. Трясина
Торфяных болот.
У отца — три сына,
Им продолжить род.

Гнилью пахнет тина.
Выпь кричит порой.
Старший был детина
Умный. И второй.

От родного тына
Смотрят в полумрак.
Младший был детина
Тоже не дурак.

Славные ребята.
Стоя у ворот,
Слушают три брата
Лебединый лет.

...Выхлопы бензина.
Фронтная пыль.

Сгнули три сына.
Вот какая боль.

ДЕВУШКИ-ФРОНТОВИЧКИ

Девушки-фронтвички,
На руках рукавички,
На ногах валенки
У Тоньки и у Вареньки.

Девушки, ну как вы там
Насчет любви и дружбы?
Но рядом с вами капитан
Медицинской службы.

Я ж солдатик, я никто,
От зимы синею.
На мне жженое пальто,
Что зовут шинелью.

Девушки-фронтвички,
На руках рукавички,

На плечах погончики
У Варьки и у Тонечки.

Улыбаются вы нам,
Стоя возле наледи...
Знаем вас по именам,
А вы нас не знаете.

ЧАД

*...далеко, далеко на озере Чад
Изысканный бродит жираф.*

Н. Гумилев

По сообщеньям печати
Гордые джунгли в огне.
Эти события в Чаде
Чем-то откликнулись мне.

С этим названьем, чадящим,
Как головешка костра,
Там, по тропическим чащам,
Мысль побежала, остра.

В яростных гулах и свистах
Колониальных орав,

Их самолетов
пятнистых,
Как гумилевский жираф.

* * *

За пределами станции,
Хоть и временно это,
Применяются санкции
По продлению лета.

Растворенная форточка.
В небесах ни морщинки.
Золоченое облачко
Тополевой верхинки.

* * *

Как с этим станете бороться?
Кто обнаружит и сличит?..
Опять из книжки стихотворца
Строка Твардовского торчит.

А Урусевского березы
Уже в течение долгих лет
Все кружатся почти сквозь слезы
По кадрам разных кинолент.

СОЧИНИТЕЛЬ

То весь в жару, то бледный словно мел,
Вновь до утра писал он так толково.
Он с молодости этим заболел,
Хотя в дальнейшем умер от другого.

Он сочинял в лесу или в степи,
Или посередине тротуара.
Он так мечтал издать свои стихи —
Для гонора, а не для гонорара.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Электробритва тарыхтит как трактор
За тонкой стенкой, словно за холмом.
Безумно раздражает этот фактор.
А может быть, причина в нем самом?

Он мрачно смотрит в зеркальце: щетина,
Закисшие по углышкам глаза.
И думает: не лучшая картина,
Я тоже был бы против, а не за.

* * *

«...Я не люблю вас. Никогда
Я вас и прежде не любила.
Вы были словно та вода,
Что вскользь в глазах моих рябила.

Что не оставила тепла
И предвкушения свободы,
А незаметно протекла
Сквозь вместе прожитые годы».

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Раскачиванье голых веток,
Холодная голубизна...
Раздумываю так и эдак,
Гадаю: осень иль весна.

Догадываюсь: я в палате,
Где жизнь проста и смерть легка...
А музыка, как на параде,
Доносится издалека.

МОЙ СТИХ

Забудут. Но потом,
Лет эдак через сорок,
Открыв мой плотный том,
Услышат жизни шорох.

Как бы земля течет
В окопе за обшивкой...
Тогда возьмут в расчет,
Что не была ошибкой

Поэзия: текла
Вдоль позднего квартала.

Дул ветер, и тепла
Проходим не хватало.

Читателей своих
Суровыми годами
Отогревал мой стих
Замерзшими губами.

КРЫЛЬЯ

Мимо двух спаренных средних
школ,

Замерших в летний зной,
Я не спеша по тропинке шел.
Кто-то шагал за мной.

Я посмотрел — никого кругом,
И тишина в домах.
Но словно кто-то взмахнул

крылом,

И я услышал взмах.

Не затрудняя собой богов,
Я кое-что открыл:
Думал, что это шум шагов,
А это шелест крыл.

РОБЕРТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Родился в 1932 году в селе Косиха Троицкого района Алтайского края. Учился в Петрозаводском университете. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор многих поэтических сборников. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола.

1. Классический мотив

Нынешний рыцарь в натуре,
если судить
по массе,
редко —
в тигровой шкуре.
Чаще —
в тигровой мази.

2. Судьбы

Один поет свое Отечество,
другой поет Свое Величество,
а третий —
тихо и настойчиво —
знай, нажимает на количество.
Четвертый мог бы успокоиться,
да он, мятежный,
все печалится:
писать ему совсем не хочется,
но очень хочется
печататься!

3. Привычное

Сперва роман —
естественное удобренье.
Потом статья —
искусственное одобренье,
сплошной лосьон для этого романа...
У парфюмеров
жизнь идет нормально.

4. Беседа

Я ему — про Красина,
про Луначарского,

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ

Родился в 1931 году в Ленинграде. Автор нескольких книг стихотворений и прозы, в том числе «Поиски тепла», «Возвращение в дом», «Черты лица».

КРАСНАЯ КОМНАТА

А. Мореву

За окнами вселенская зима,
озноб в кварталах...
Средоточье стужи.
Век переохлаждения ума,
затмения... Но это там, снаружи,
а здесь...
Здесь красные обои. Свет обмяк.
Восторженные лица.
(Мыслим все же!)
И перед каждым,
как священный знак,
бумаги лист,
на белый сон похожий.
Здесь жаркие, как в топке,
краски стен.
Здесь пьют надежду
с привкусом кирпичным.
Здесь пестуют друг в друге
каждый ген
интеллигентности трагичной.
Стучат соседи в стены, как мороз.
И пыль со стен, дрянна и розовата,
летит на лица, на бороздки слез,
на створки душ (ведь каждая —
разъята!).
И тянет ночь из снега канитель
за окнами...
А в красной комнатухе,
духовная, объемлет мозг метель.
И в глубине, как вождь,
как воздух —
Пушкин!

* * *

Январь, мороз, крещение.
Воробышек-съскарь.

18

Достойна восхищенья
сия живая тварь.

Что ни отыщет — благо:
зерно, клочок тепла...
Вот воля, вот отвага!
Вот жизнь! — не кабала.

Жить цепко, зябко, гибко,
без денег, без гробов —
и высекать улыбку
с трусливых губ рабов!

ПРОКЛЯТИЕ СКУКЕ

Боюсь скуки... Боюсь скуки!
Я от скуки могу убить.
Я от скуки податливей суки,
бомбу в руки — стану бомбить...
Лом попался — рельсу выбью,
поезд с мясом брошу с моста.
Я от скуки кровь твою выпью,
девочка, розовая красота.
Скука, скука... Съем человека.
Перережу в квартире свет.
Я — итог двадцатого века.
Я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слез.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука, наркоз...
Сплю, садятся мухи, жалят.
Скучно так, что — слышно...

Как пение!

Расстреляйте меня, пожалуйста,
это я прошу, поколение.

1955

УШЕДШИЕ

Вас было больше, чем листья
на этих тополях.

Бурьян-травой накрылись вы,
землею съеден прах.
Живым сегодня не до вас.
Но иногда во мгле
вдруг наступает скорбный час,
час мертвых на земле.
...Я вижу, как за валом вал,—
дым без костей, без жил,
неспешно входят в степь, как в зал,

все те, кто прежде жил.
Всю ночь, как дикие цветы,
колышется их строй.
И шум посмертной суеты
доносится порой.
И я, очнувшись от тоски,
стою над бездной всей...
И две своих живых руки
целую, как друзей.

* * *

Я должен был родиться журавлем,
но, по ошибке (или — по улыбке!)
явился в мир
в обличи своем,
чтоб досаждать тебе — Колючей рыбке.

Порою забываю, кто я есть,—
машина, птица, человек уставший?
Так хочется понять: зачем я здесь —
весь в облаках, но бога не видавший?

Истаивает в мозге вещество,
что делало немислимим пространство
вокруг меня... И все же — каково
на рыбке нынче смотрится убранство?!

Я помню, как вначале, в октябре,
когда мне был всего лишь день от роду,
отчетливо по небу на заре
шли журавли... и славили свободу!

МОНУМЕНТЫ

Особенно зимой, когда на площадях
метелица, а в скверах — запустенье,
когда на бронзовых глазницах и грудях
распространится иней цветенье,—

как жалки ваши полые тела,
покрытые зеленкой трупных пятен,
в потеках голубиных, в метах зла
беззлобного, чей принцип столь невнятен.

Вот дедушка Крылов, вот с рожками сатир,
Вот Афродита с патиной на ручках,—

как робко вы сейчас взираете на мир,
бездомные и в снежных нахлобучках.
Вот бабушка шуршит, живая, через сад.
Скрипят ее шарниры, ноют кости.
Но вечным бытием ее пропитан взгляд,
и зябко ей меж вас, как будто на погосте.

ЕЩЕ...

Глаза в синеве поднебесной купаю.
Остатки любви из груди выскребаю.
Еще мне милы и река, и дорога,
береза и тень от нее до порога.
Еще меня птицы волнуют и травы,
и люди, особенно отчей державы.
Еще меня мысли тревожат средь ночи,
но мягче душа моя с миром и проще.
Еще меня трогают взоры родные,
но я в них читаю права неземные.
Еще меня манят в просторы тропинки,
но... что они знают, пески и суглинки?
И песни терзают мне ласкою грудь.
Но я уже вижу
единственный путь!

ИЗ ЯНВАРСКИХ ВОСЬМИСТИШИЙ

I

Шагнуть с крыльца на белый прах зимы
во мрак, в пространства, пренебречь дорогой
и медленно, как входят ввысь дымы,
терять уверенность — без солнца, как без бога,
паниковать, но медленно, не вдруг,
покорно замерзая у порога,
и слышать страх, и знать, как он упруг,
и как его в озябшем сердце много...

II

Слышишь свист? Начинается вьюга.
Мы простим ей азарт... И опять
очень бережно вспомним друг друга,
чтобы миру надежды являть.
Мир летит, простодушный и древний,
дерзновенный — мудрец и птенец...
Осыпается иней. С деревьев.
Изымается лед. Из сердец.

ПАВЕЛ БУЛУШЕВ

В шестнадцать лет ушел на войну. В январе 1945 года был списан «по чистой» вследствие тяжелых ранений. Принимал участие в обороне Ленинграда, в освобождении Прибалтики, был рядовым, сержантом, младшим строевым офицером.

Автор книги стихов «Багровая память» и других.

* * *

Я не верю отпетым, буйным и бесшабашным,
забубенным не верю, не верю бесстрашным,
кто готов что ни час — расфуфыривать перья.
Видел в деле их я.

И — лишаю доверия.

Я готов положиться на тех, кто страшится,
у кого к двадцати голова побелела...
Храбр не тот, кто с утра день-деньской петушится.
Храбрый тот, кто боится,

но — делает дело.

Я, бывало, во взводе брал таких на заметку
и себя доверял им,

отправляясь в разведку...

* * *

На фронт не ездил я в командировки.
Мы сами были фронтом и войной.
Зато любили перегруппировки,
когда война — хоть день, но стороной.

Я не стесняюсь признаваться в том, что,
отбыв очередной окопный срок,
мы ощущали жизнь особо прочно:
нас, уцелевших, настигала почта
и даже коробейник-военторг.

Бельишко свежее,

и по желанию

плещись хоть в речке, хоть в походной бане.
А харч — не пироги, не калачи,—
но трижды в день горячие харчи!

День без войны — как сказочное царство
(хоть о принцессах думать было лень).

И, позабыв вчерашние мытарства,
по-царски кейфовали целый день!

Составив в кóзла на ночлег винтовки,
без охраненья вырубались в сон...

На фронт не ездил я в командировки.
Вот с фронта — да!

В резервный эшелон.

А разговор, что завтра снова в пекло,
воспринимался как бестактный вздор.
Все, что прошло, пред днем без боя — меркло.
(Не ставьте, нынешние, это нам в укор.)

Да, признаюсь — без ложной маскировки
и без надуманных пишу прифрас:
в окопах о т а к о й командировке
мечтали и храбрейшие из нас.

* * *

Два снегиря в гвардейском оперенье
затеяли борьбу на истребленье.

Скрестили клювы,

растопыря шпоры.

Ни дать ни взять —

заправские бретеры.

Решенья мирные исключены!

— Что ж вас свело?

Ведь вы — однополчане.

Неужто не поделите чины?

Никак от карьеризма одичали?

Завистники!

Я б вас обеих, птахи,

немедля задержал другим в пример

и помариновал на гауптвахте,

поскольку сам я — старший офицер.

Но если снегириха вас, к примеру,

заставила слететься тут к барьеру,

то будьте вы хоть два родные брата,

не стану разнимать.

Тут — свято!

ПТИЦА В БЛИНДАЖЕ

Под бомбежкой к нам в блиндаж с разгона
пикирнула из лесу ворона.

И глазами молча молит птица:
«О воронах рассказням не верьте.
И не каркну!

Мне бы лишь укрыться.
Хочется пожить на белом свете.
Звать сюда беду мне нет резона:
Я не черный ворон.
Я — ворона!»

И не птичьими глядит глазами.
Плачет воронеными слезами.

И сдержала слово!..
У порожка,
тихо-тихонько под самой дверью,
клюва не раскрыла всю бомбежку —
с полным уваженьем
к суеверью.

* * *

Какое отменное лето!..
Эх, мне бы терпенья немножко,
и я бы купил сандалеты,
и я б щеголял в босоножках!

Но очередь у прилавка
за импортным дефицитом
свела с мужичонком-плюгавкой
не по размеру сердитым.

Все видит в разрезе обмана
и все — через призму обиды.

— Какие еще ветераны?!
— Какие еще инвалиды?!

Глаза округлели, как плоски.
(Я видел такие где-то.)
Зуб вырвет за босоножки!
Задавится за сандалеты!

А мне — как?
Прикажете драться?
Ведь тратить слова тут нелепо...

Он так мне напомнил власовца,
расстрелянного под Кингисеппом.

* * *

Нет, не по мне бездвижные картинки.
Живую жизнь не втиснуть в натюрморт.
И что за жизнь,
когда в ней ни живинки!
И что за жизнь без бьющей сердцевины!
Застылось...

Ну на кой она мне черт!

Нет, не по мне вся неподвижность эта.
Ведь в жизни каждый шаг —
уже сюжет.

А я не шаг шагнул —
прошел полсвета,
и не случалось шага без сюжета
в пути сквозь белый и небелый свет.

И доброе встречалось, и лихое.
И просто в жизни, и во дни войны.
Все видано...
Не видел лишь покоя.
И никогда не слышал тишины.

Не слышал тишины,
не знал покоя!
Попробуй в ритмах жизни их расслышь...
Не знаю даже, что это такое
и с чем их там едят —
покой да тишь.

Они страшней тринитротолуола
и злее изоощренных порохов...
Я пулеметной строчкой из глаголов
гоню их прочь от собственных стихов.

Мечтается:
ох как бы мне оставить
в двух-трех, но истинно живых строках
свою, как сердце, бьющуюся память
о неумных корешках-дружках.

Что шумно жили,
умирали громко.
И не щадили недожитых лет.
Что напроць рвали судьбы,
как построжки,
вписав себя в немыслимый сюжет.

Нет, не по мне бездвижные картинки.
Нет, не по мне застывшие слова.
И без подковок не по мне ботинки.
Не знать бы мне всю жизнь ни тишининки...
Пусть для других —
травинки вдоль тропинки.

А предо мной
бурьянся, трин-трава!

ТАТЬЯНА СЫРЬЦЕВА

Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Бересклет», «Зеленые рукава», «Минуты станут веком», «Скажу нечто». Член Союза писателей. Живет в Москве.

ГОСТЬЯ

Красной смородины краше,
с родинками на щеках
темноволосая Маша
в дом мой вошла впопыхах.

Час нам на все разговоры —
очень уж тесный лимит.
Так незаметно, так скоро
зимнее время летит!..

Опыт обеими нажит.
Всматриваемся вдвоем.
Кое-что гостья расскажет,
вспомню и я о своем.

А карандаш мой без дела
на людях быть не привык,—
начал размахисто, смело
Машин набрасывать лик.

Кистью рисунок подкрашу...
Губ улыбнутся края...
Добрая, милая Маша,
новая радость моя.

ГОРНЫЙ КРЫМ

Я пути еще не завершила,
а прошла и топкие места,

и крутые горные вершины.
Мне сегодня снилась высота.

К стае молодых пристать отважась
(Крым — не меньше! —
покорять пойдем),
на спину я взваливаю тяжесть:
сложенные вместе стол и дом.
Банки молока...
Буханки хлеба...
Сверток серебристого шатра...
И сейчас же к солнечному небу
повела, как лестница, гора.

Каждый полдень
будет полон зноя.
Утолил бы жажду барбарис!
Трудно брать подъем.
Труднее вдвое
на пружинах ног спускаться вниз.
Будто горб, моя большая ноша
стала мною, приросла ко мне.
Но какое счастье, если сброшу
и увижу листья в вышине!

Снится мне душистая поляна.
Тень от дуба голову мою
покрывает... Мудрецы корана
не любовь, а тень сулят в раю.

* * *

Льет дождь. Идут по улице зонты,
как странные двуногие цветы.
Вон красно-синий... Розовый... Зеленый...
Коричневый, лиловым окаймленный...
Идут, с работы, видимо, спеша.
Под каждым — беспокойная душа.

И у счастливых не всегда все гладко...
Льет дождь. Пестреет уличная грядка.
Немного погодя, в седьмом часу,
я тоже зонт узорный понесу.
И скроет он, как панцирь черепахи,
мои печали, чаянья и страхи.

* * *

Жажда творчества. Но не могу не думать о бомбах, накопленных на земном шаре.

Мое «Шествие» (рисунки: люди, проходящие по улице) — жизнь. Умрет старик, что гуляет с белой собакой (рисовала их сегодня) — улица не оскудеет. Вырастут дети, родят других детей, состарятся...

Да не покончит с собой человечество! — вот мольба, звучащая в тайниках современной души.

* * *

Стала жизнь заколдованным кругом,
будто смерч к облакам поднялся.
Горе тем, кто столкнулся друг с другом,
как находит на камень коса! —
кто порывист, кто весь — нетерпенье,
своеволен, упрям, одинок,
кто не может — ни преданной тенью,
ни собакой улечься у ног...
Не играть нам в лукавые прятки,
не угадывать жребий в горсти.
Помнишь песню из серой тетрадки?
Два значенья у слова «прости».
Что скажу я тебе на прощанье,
уходя от нахмуренных стен?
Возвращаю твои обещанья,
а своих не прошу я взамен.
Много звезд, и товарищей много,
и судьба горяча, но не зла.
Не одна через поле дорога
частым ельником заросла.
Можно петь и скитаться повсюду.
Мглистый полог, из веток кровать.
Коли лучше найду — позабуду...
Не хочу я тебя забывать!

1950

* * *

Расскажу — острастки ради —
быль о хитром книгокраде.

Добрый человек, не тать,
книгу взял он почитать.
В честности не видя толку,
на свою поставил полку.
Мне сказал: «Не та она!
Та ведь вам возвращена...»

Знал бы этот человек,
что утратил он навек!..

Думал: дело небольшое,
в суд не вызовут его,
можно жить с кривой душою,
книгу взять — не воровство.
Но ему с тех пор не верю!
Если в гости вдруг придет,
понатерпится у двери —
в дом ко мне не попадет.

* * *

Краски улицы. Блестят мокрые крыши. Золотой край неба столкнулся
с тучей иссиня-сизой. Брызнул еще один дождь. Прошла женщина в тем-
но-красном, держа в левой руке розовый зонт, правой толкая лимонно-
желтую коляску со спящим внутри будущим.

* * *

Давно не была я на рынке,
где многое по старинке:
в кадушках — душистая снедь,
и яблоки яркой окраски,
грибов подпаленные связки,
и любо кругом посмотреть.

И люди тут разного рода:
садовники и пчеловоды...
Привез апшеронец айву,
плоды — на подбор — золотые...
А эта молодка впервые
приехала с клюквой в Москву.

Возьму я всего понемножку:
у старой рязанки — картошку,
у южного гостя — хурму.
И свеклы возьму,
и моркови.
Телега моя наготове...
И радости тоже возьму.

О, радость — великое дело!
Без жадности я поглазела
на все, чем богата страна.
Домой привезу я картину,
и сколько из сумки ни выну,
останется память полна.

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

Родился в 1937 году. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Автор сборников стихотворений «Перспективы и просеки», «Осенние прогулки», «Московское время» и других. В печати часто выступает как переводчик, критик, публицист.

* * *

Грядущий день воскрес,
Зажег рассвет вдали.
Все просим у небес,
А надо —
У земли.
Ее мы мучим, бьем,
И вглубь и вширь разя.
Она горит огнем...
Так дальше жить нельзя.
На нас управы нет:
Хватаем все подряд,
Но разве вкусен хлеб,
Что был разбоем взят?
Среди погибших рек,
Потраченных лесов,
Опомнись, человек,
Услышь печальный зов:
«Все просим у небес,
А надо —
У земли,
Чтоб чудо из чудес
Мы сохранить могли!»

Я ВНУК КРЕСТЬЯНИНА

Я внук крестьянина.
Об этом

Дано мне знать не по анкетам,
Где я пишу своей рукой,
Что мой отец, в войну погибший,
Родился в деревеньке,
Бывшей
Еще в губернии Тверской.

Мне знать дано и не по фото,
Где смотрит дед вполборота
С собакой черною вдвоем:
Сидит он, спину не сутулит,
Он сад колхозный караулит
Перед войной осенним днем.

Не по рассказам тети Кати —
Бывало, кстати и некстати
О сельской нашенской родне,
О той деревне, где у деда
Я, несмышлениш, жил два лета,
Она повествовала мне.

Да, я крестьянский внук
с пеленок!
Чуть ткнется мордой в грудь
теленка

Иль вдруг лизнет ладонь мою;
Чуть погляжу в глаза коровьи,
Я слышу ток крестьянской крови
И суть свою
Осознаю.

ФУРАЖКА

Памяти Никиты Сусловича

Мы на «Ракете» неслись по заливу — увы,
Ветер фуражку сорвал у него с головы.

Видели все, как качалась она на волне,—
В голубизне, а потом уж вдали, в стороне.

Флотский мундир кавторангу теперь ни к чему:
В нем без фуражки нельзя появляться ему.

О «Военторге» нигде ничего не слышать
В маленьком городе, где ему жить-отдыхать...

Вот и ходил он на берег морской, золотой
В брюках спортивных, в матросской тельняшке святой.

...К черному кителю астры осенние льнут.
Нам для прощанья осталось еще пять минут.

Крышка ложится на гроб деревянный. На ней
Светит фуражка из прежних и будущих дней.

Воды залива ее поглотили в тот раз.
Времени воды ее поглощают сейчас.

Выйду на берег морской через месяц иль год —
В свете вечернем фуражка плывет и плывет.

* * *

Зла не извиня,
Словно бы снежком,
Бросила в меня
Белым городком.

Он попал мне в лоб,
Больно ослепил,
Стек слезами, чтоб
Я тебя забыл.

Я его с лица
Рукавом отер.
Вот и до конца
Был доспорен спор.

Спор беды твоей
С шалостью моей,
Высоты твоей
С малостью моей!

Помню до седин,
Как лицо обжег
Городок один,
Словно бы снежок.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПТИЦЫ

Пусть художник-анималист
То мелки, то краски берет
И, расправив ватманский лист,
Ни в одном штрихе не соврет.
И фотограф пусть наведет
Безотказный свой аппарат,
Подарив нам птицу с высот,
Если выйдет все в аккурат.
Пусть чеканщик и камнерез,
Завершая свой звонкий труд,
Из преданий, полных чудес,
Птицу Феникс к нам приведут.
Я, конечно, так не смогу,
Но вполне достаточно мне
Черного пера на снегу,
Белого пера на земле.
Чтоб представить, вообразить
Птицу словно флаг над собой.
Чтоб ее стрелою
Пронзить
Небосвод, такой голубой!

ГОРИЗОНТ

Недоступная граница
Между небом и землей,

Ведь никто не изловчится
За предел пробраться твой.
На высоком перевале,
Средь воды или песка
Мы всегда тебя видали
Лишь на уровне зрачка!
Все познали твой особый
Нрав, таинственная нить,—
И приблизиться не пробуй,
И не пробуй отступить...
Все ж — пытались временами,
Но случилось всякий раз:
Горизонт бежал за нами
Или пятился от нас.
Все мы, люди, в центре круга
Вечно жили и живем —
Раздвигает даль упруго
Перед нами окоем.
Он всегда зовет и манит.
Любознательный народ.
Точно знаем, что обманет,
Но идем к нему —
Вперед!

ЛЕСНИЧИЙ

Р. Криштапавичюсу

Здесь посадил он сосны,
Взлелеял, воспитал.
Но городок разросся —
Еще один квартал
Поставить где-то надо
На вечны времена...
И вот уже команда
Лесничему дана.
Теперь ему придется,
Как думы ни горьки,
Валить своих питомцев
На серые пески.
Корчует пни бригада
У солнца на виду.
Впервой душа не рада
Привычному труду.

Расчищена площадка,
Уж первый кол забит...
Лесничий для порядка
Пристрастно оглядит
Пустынное пространство —
Как много лет назад,—
Где он сажал напрасно
Сосну —
За рядом ряд.

ЗАПОВЕДНЫЙ ЛЕС

Какое это счастье — спозаранок
Идти на —
 меж стволов летящий — свет.
Здесь нет бутылок
 и консервных банок,
Железных пробок,
 скомканных газет.
И кланяться растущим низко
 веткам
Иль полежать недолго в их тени,
Как доводилось пращурам
 и предкам
В былые нам неведомые дни.
До городка районного масштаба,
До ближних деревень —
Пойди дойди.
А здесь живут, как в сказке,
Дед да баба
В жару и в грязь,
 в метели и дожди.
О, эта необыденность лесная,
Поделенная вся на свет и тьму!
В какой я век забрел —
 и впрямь не знаю,
Кто сам я есть —
 и вправду не пойму.
Все здесь казалось вечным
 и нетленным,
Но был недолог, призрачен покой:
Стожок, покрытый полиэтиленом,
Мне объяснил —
Кто я и век какой...

ВИКТОР ЛИВЗЕМНИЕК

Известный латышский поэт. Автор нескольких сборников стихотворений на родном языке. В печати выступает как переводчик, публицист, критик.

СЕНОКОС

Люди, помолчите минуту!
Опустите стволы ружейные и кулаки.
Остановите перо, замышлявшее ложь.
Сбейте дверные замки, чтоб не было больше замочных скважин,
где толкуются измена, коварство и подлость.
Возьмите детей и идите в парки, на улицы, на дороги,
где собираются трубачи и трубы сверкают на солнце.
Играйте марши!
Президенты государств покидают дворцы и, закатав штаны,
садутся на сенокосилки.
Люди, вы в изумлении, вы головы из комнатных нор своих
высунули?
Разве не знаете вы, что наступила пора сенокоса?
Что коровам на фермах, овцам в загонах, лошадям в конюшнях,
в Финляндии, Франции, Чили нужно сено?
Как легко дышать прохладным речным туманом, ступать на теплый
прибрежный песок, мять ноги после работы!

ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ЖДУТ

Стоят дома.
Нет улиц еще, нет дворов, застенчив новорожденный дом.
А сосны кивают крышам.
На лестницах затихают шаги — штукатур уходит, уходит
монтер, удаляется сторож.
Солнечный зайчик посидел на окне — прыг на другой
подоконник. И так целый день.
А окна, как глаза у котят, слепые.
Ждут.
Какими прорежутся эти глаза?
Кто занавески повесит, на подоконник поставит цветы
в горшках, бутылки кефира, кто станет рубашки
сушить на балконе?
Кто распахнет дверь?
А может, неряшливость из ветхих углов переберется на
новое место, сплетни станут ползать за дверью,

зависть подсматривать в щель, стекла покроются
дымом и пылью?

Откуда придете, жильцы, где жилища оставите прежние
и кому?

Стоят дома в ожидании.

Но вот однажды соберутся жильцы — придут с полей и
фабрик.

Шофер вытрет руки в бензине смоченной тряпкой и со связкою
книг бегом побежит на пятый этаж, жену поцелует
и сразу к окну подойдет — зелень сосновой хвои
и небесный покой хлынут в глаза ему.

Кто он — человек, которого ждут?

Стоят дома в задумчивости.

Человеком великой мысли, чистоты и чести будет тот,
которого ждут.

РОДНИК

Пригоршней силу из озера черпаю,
беру топор.

На берегу, где встречаются рожь и орешник,
межи и границы,

из вечнозеленой ели вырублю избу,
голос дремучего леса поселится в ней.

Яблоня на пороге протянет мне руки,
травинка прижмется к ноге.

Приветствую Райниса и Уитмена, Шевченко и Пушкина,
присевших на крыльце моем — отдохнуть с дороги
и побеседовать с весельчаками и горемыками.

Зеленой звезде, недостижимой моей,
шлю весть, что гуденье пчелиное — лучшая музыка для меня,
что нивы мои богаты и одаряют меня добротой.

Спокойный и сильный —
стою на страже земли и жизни.

Переводы с латышского
Людмилы Азаровой

БЕГ

Бегу

Сквозь лето и сквозь зиму,

Леность свою обогнать тороплюсь.

Я стремлюсь

Догнать День судный —

Слишком уютным, сытым и нудным

Было каждое утро мое.

Оглядываюсь —

Дорога вьется, как струйка дыма.

И это все, что за мною было?

Неужто это затмило мне мир,

Окна мои закрыло?

Бегу,

Будни ломая свои на ходу,

Пыли не отряхнув,

Бегу,
Ощутить хочу круговерть дня.
Хождение кончилось. Только бег
Теперь устраивает меня.

Отчаянный это бег —
Как далеко и сколь долго
Выдержит человек?
Хватают за рукава, не пускают:
«Куда несешься? Не можешь жить стоя?»

Отчаянный это бег.
И нет мне покоя.
А впереди, меня обгоняя,
Ругань чья-то несется и смех.
Пот соленый глаза заливает,
Как мучителен этот бег!

Мимо догм — по снегу искристому,
Мимо снобов — по лугу росистому,
Мимо минутных эффектов
И теплых закатов леса...

Перевести бы дыхание возле кладбищенской ели,
Отдохнуть бы на мшистой постели!..
Пробежать в поле, нырнуть в сирень.
...Синими глазами смотрит день.

Одолевая себя, изменяя,
Отягощенность раскованностью гоня,
Покой в движении обретаю.
Вот оно, утро моего дня!

Перевод Виктора Андреева

ДМИТРИЙ СУХАРЕВ

Родился в 1930 году в Ташкенте. Окончил МГУ. Доктор биологических наук. Автор книг стихотворений «Дань», «Прекрасная волна», «Главные слова», «Ковчег».

ЧУПА

Стучи, машина, курс норд-вест!
Чупа вовек не надоест,
Чупа — столица наших мест,
В ларьке сметана.
Куда ж нам плыть, как не в Чупу?
Пльвем с Чупою в черепу,
И тает иней на чубу
У капитана.

Привет Чупе! Чупа — приют.
Чупа уютней всех кают.
Бичи печально соки пьют.
А ну, плесни-ка.
В Чупе светло и без движка.
Куснешь с дорожки пирожка,
А в нем морошки с полмешка,
А в нем — брусника.

Чупа — черта, сиди и пой.
А что там дальше, за чертой?
Как нас поглядят за Чупой
Шершавой лапой?
В Чупе в кино идет «Чапай»,
А ты на станцию ступай,
Билет чупейный почупай
И к югу чапай.

ОКЕАН

Я — океан, рождающий цунами.
Но это между нами.
А людям говорю, что я рыбак,
Ютящийся у кромки океана
И знающий, что поздно или рано
Цунами нас поглотит, бедолага.

БУДЕТЛЯНСКОЕ

Так раскалывает небо сверхкакой-то самолет,
Что и скалы расколола сверхударная волна,
А у матери у чайки раскололося яйцо,
И потек, потек и вытек неродившийся птенец.

И стоит простоволоса расщепленная сосна,
Не поймет, не понимает, что расколота она,
А у матери у чайки раскололося яйцо,
И потек, потек и вытек неродившийся птенец.

Так мечтала мать о сыне,
Так хотелось бы сосне
Погудеть в небесной сини,
Уподобиться струне;

Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица
Убегать и расходиться...

Нет ни птицы, ни водицы, ни красавицы змеи,
А что было — раскололось, так-то, милые мои.

СУББОТНЯЯ ВОРЧАЛКА

Мой возраст, полагаю, не таков,
Чтоб, как юнцу, ворочать валунами,
Но ах! не чтут злодеи стариков —
Так я скажу. Но это между нами.
Оставьте мне мой стариковский хлеб!
Пусть горек он — привык, молчу, не ною.
А тут — в бригаду по ремонту ЛЭП.
Что значит «бу-тить»? Будет что со мною?
Вот этот камень будет мне плитой —
Микула Селянинович я, что ли?
Да я, друзья, извилиной — и той
Ворочаю с трудом и поневоле.
Когда б меня нарядчик нарядил
Держать в бригаде по мытью гальюнов,
Я б тучных дам спроста опередил,
А может быть — и мэнээсок юных.
Иль, скажем, наледь посыпать песком —
Такое вам не сможет первый встречный!
Я б счел за честь. Уж с этим я знаком!
Я б памятник себе воздвиг чудесный, вечный.

АХ, ГДЕ ЖЕ ВЫ БЫЛИ РАНЬШЕ · * * *

Мне молвит юная мадам,
Почти мадмуазель:
«Хочу отдаться вам,
Почтите же меня».

Мне пишет старая лиса,
Имеющая вес:
«Хочу печатать вас,
Пришлите же стихи».

Я той и той желаю благ.
Я в них души не чаю.
Я той и той примерно так
Прилежно отвечаю:

Извините —

У меня затянувшийся творческий
кризис.

Но звоните,
Может быть, я поправлю свои дела.

Упаси, господь, от плахи
И прости нам все грехи —
Наши горестные ахи,
Наши бедные стихи...

Но не дай и в скоморохи
Оступиться со стези,
По которой наши охи
Тихо топают в грязи.

Грязь по пояс, грязь под ноздри,
Слова вымолвить нельзя.
Отплююсь, как на подмостки
Возведет меня стезя!

Не до славы-фортуны,
Жди, накроет с головой.
Но залезу на котурны
И — живой, живой, живой!

ОВИДИЙ ЛЮБОВИКОВ

Родился в 1924 году в селе Чепца Кировской области. Участник Великой Отечественной войны. Окончил Высшую партийную школу. Автор книг стихов «Спор», «Взгляд», «Люблю и помню», «Меты», «Горнило».

* * *

Отрицавшие полумеры,
Вышибавшие клином клин,
Отступают в пенсионеры,
Наступавшие на Берлин.
В час торжественной переклички,
В свете праздничной той зари
Величают их по привычке:
«Наши чудо-богатыри!»
Ветеранам победной рати
Посвящают и марш, и стих,
Говорят о железной стали,
И о нервах пишут стальных.
Но занает в ночи осколок —
Не смежить до рассвета век,
И точнее, чем метеоролог,
Предвещают и дождь и снег.
Кости ломит, трещат аорты,
И, наученные врачом,
Не спешат на этаж четвертый,
Переводят дух на втором.
Легендарно дымятся дали.
Время самое вспоминать.
Серебру фронтовой медали
Серебро седины под стать.

У СТАРОЙ РУССЫ

Помню поле,
Поле вижу,
И на долгом поле том,
Под дождем,
на глине рыжей,—
Парни русские пластом.
Не дошли они до цели,
Сбились на бегу с ноги.
Задубели их шинели,
Отстучали сапоги.
Раскаленный «максим» страждал.

Минный визг поперх голов.
Пять атак,

и после каждой
Больше на поле пластов.
Но опять связной с пакетом.
Телефон опять: «Пора!»
За сигнальною ракетой
Снова жидкое: «Ура!»
Похоронные команды
Ночь в работе,
дрыхнут днем.
И седины лейтенанты
В двадцать лет в сорок втором.
Пальцы разгибал устало
Писарь в штабе полковом.
Билась оземь и стонала
Деревенька за бугром.

* * *

Как молвится — без дураков! —
За слово и за дело
Россия испокон веков
Ответ держать умела.
В столичном граде и в избе
Она — не перед богом! —
Была придирчива к себе,
Себя судила строго.
Не всем и всякому поклон,
Речь не о царских сказах,
Хотя поныне свой резон
В петровских есть указах.
Грешила, ежели порой,
Промашка, как случилось,—
Сама смеялась над собой,
Сквозь слезы, но смеялась.
Слагала про житье-бытье
Загадки и присловья.
Был смех свидетельством ее
Душевного здоровья.

Но враг если гнал полки,
Она стеной вставала,
И каменели желваки,
И меч рука вздымала.
Сносила муки и разор
И распрямлялась стойко.
...Опять смеется «Ревизор»,
И мчится птица-тройка.

МАМИНА ПЕСНЯ

Вспоминая,
Вспоминая,
Деревенский старожил,
Сам того не понимая,
Душу мне разбередил.
«Голосистой да пригожей
Помню матушку твою...»
Ты запомнил, может,
С кем-то спутал, говорю.
Он свое — мол, помнит юной,
Раскрасавица была
И на все село певуньей
Самой первой слыла.
К ней сватов своих задаром
Слал торгош и мельник слал.
Продотрядовец с наганом
Ухажеров распугал.
«Он умчал отселе девку.
Помню, парень, наизусть
До сих пор ее запевку,
Коль не веришь — побожусь...»
За окном ольха скрипела,
И гудели провода.
Я не слышал, чтобы пела —

Мама пела — никогда.
В час веселья — стол качало! —
Под гармошку да питье,
Пели все.
Она молчала,
Словно не было ее.
Радиоле в клубе тесно,
Над селом грохочет всласть.
Почему так рано песня
Мамина оборвалась?..

* * *

Сбегу за город на рассвете
От суеты и от забот.
Мальчишка на велосипеде
Нацелился на горизонт.
Он крутит весело педали,
Рубашка вздулась на спине.
С восходом птахи засвистали,
Зажглась кувшинка на волне.
И с плеч долой кошмары ночи!
Обдутый свежестью насквозь,
Мир удивительно устойчив,
И не трещит земная ось.
Тропа влечет на гребень кручи.
Распахнут вольно окоем.
Но в недрах отдаленной тучи
Гроза созреет,
 ухнет гром,—
И все, и вся на белом свете
Тень застит,
 всполошит испуг,
И мальчик на велосипеде
О горизонт споткнется вдруг.

РЫГОР БОРОДУЛИН

Родился в 1935 году на Ушачщине Витебской области. Окончил БГУ имени В. И. Ленина, работал в редакциях республиканских газет и журналов. В настоящее время работает в издательстве «Мастацкая лitarатура». Автор нескольких десятков книг лирики, юмора, стихов для детей. Стихи выходили на русском, украинском, латышском, литовском, эстонском, киргизском, болгарском, испанском языках.

Лауреат Государственной премии БССР имени Янки Купалы.

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

I

Вы слышите:
«Ядерная зима»
Дышит в затылок планете!
И невидимый снег открыл закрома,
Пока на закрытом совете
Дипломатия тихая за ухом чешет,
Саму себя словоблудием тешит,
Забыв про набатные колокола!
...Вся станет планета белым-бела,
Оденется в ледяную кольчугу,
Все ветры в сплошную сплетутся вьюгу,
И будет солнцу невмоготу
Содрать с планеты кольчугу ту!
И сколько придется Космосу ждать,
Пока он разум из тлена выплавит,
Пока из глубин мирозданья опять
Другая
такая
планета
Выплывет?!

II

Ключей нам от Сезама не найти.
К библейским притчам снова возвращаемся,
Узнать по их пророчествам пытаемся,
Какие нам предсказаны пути.
О доме, что построен на песке,
Глаголят притчи, о крупинке мака...
И три каббалистические знака
В паущем изготовились броске!
Крупинка мака... Атом бытия...

В нем страх таился и вставал на лапы,
И клетку потихонечку царапал,
Грядущую историю жуя.
Еще,
Подобно хищному коту,
Он когти прячет в мягкие подушечки...
Сама

его свирепость не потушится!
Сорви же, человек, с себя корону ту;
Которую надел ты в самомнении,
Что превзошел в своем великом гении
Познания предельную черту!
Наивный человек,
Ты повелитель? Царь?
Над кем? Над чем?
И движешься — к чему?
Мы рады будем следу человечьему,
Все положив
На огненный алтарь!

О БРОНЗЕ

Крестили пращуров
Во времена Владимира.
Глотал дубовых идолов Днепро.
Но идолопоклонство
До сих пор не вымерло.
Оно и в тело въелось,
И в ребро.

Не столь давно
Оно цвело невиданно.
Поджав хвосты,
Один перед другим
Вовсю старались
Послушники идола
Курить ему своих молебствий дым.

Клеветники, наушники, предатели,
С умишком и натурой червяка,
Пошли в иконописцы и ваятели,
Чтоб идола прославить
На века.

Век атомный
Стал превращаться в бронзовый —

Замаливали бронзою грехи,
И с лживой
верноподданною прозою
Соревновались лживые стихи.

Но вот проснулись
воды родниковые,
Лед раскололо громом на куски,
И я сегодня за крещение новое
С народом голосую в две руки.

Я голосую с ним за очищение,
За утреннее зарево зари!
Пусть тонет идол
в омуте забвения,
Последние пускай пузыри.

В дальнейшем будем
С бронзой
Осторожными!
Отлить бы из нее колокола,
Чтобы она ударами тревожными,
Набатными —
Уснуть нам не дала.
Коль новые послушники опять
Задумали бы идола создать!

ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ

Родился в 1930 году. Печатается с 1950 года. Автор многих поэтических сборников, среди которых «Седые голуби», «Грань», «Узлы», «Пути-дороги», «Пора черемух» и другие.

Лауреат литературного конкурса имени Н. Островского.

ОБЛИК ЭПОСА

Тех о фронте не жалею книг,
в коих бравый солдат-фронтовик
знает только Устав — не без лака.
Лак бывает хорош. И однако —
был солдатом солдат на войне,
это значит: обычным вполне
человеческим сыном и братом,
на подначки несметно богатым.
На привале «концерты» давал:
вдруг пехотный Устав доставал,
с важным видом листал и вприщурку
и... страничку пускал на раскурку.
Фронтовой неприглаженный быт
был заботами плотно забит
о бритве, о костре, о махорке,
о прожженной во сне гимнастерке.
Чтоб не нудился ратный народ,
наш солдат выдавал анекдот
по обычной окопной программе:
об Иване, Остапе, Абраме.
И от рати, клятой и святой,
от громады грохочущей той
повевало народом, Россией,
необорной бессмертной силой.
Богатырственный этот привал
даже детям глаза открывал
на разгул вихревой непокоя
в великанское время такое.
Всебылинную знали мы суть
высотой, не книжной отнюдь,
опознаться и ныне пригодной
в выявленьях страды всенародной.
Письма шли со второй мировой,
как теперь со второй буровой
от племянника где-то в Сибири
(он разведку ведет на Таймыре)...

МОНОЛОГ «МАЛЬЧИКА ДЛЯ БИТЬЯ» В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ КАРАТИСТОВ

Вратаря щадят в футбольном многолюдье,
если он в ногах противников («Распнут!..»)
взятый мяч к земле придавливает грудью,
словно сердце, по которому не бьют.
Почему же, светлоту свою поганя,
должен помнить я пылающим лицом
тех, кто смел меня по сердцу — сапогами,
бить по сердцу сапогами — молодцов?
Горе, если на миру, как на безлюдье,
эти ухари затеют самосуд,
в коем надобно стоять к ударам грудью,
с правдой в сердце (если свалишься — убьют).
Что за странная владеет мной идея,
если с теми, что пинаются — под дых,
доброй волей я, смертельно холодея,
в непотребствах соучаствую одних.
Злоба лютая с цепи сорваться хочет.
Вон на тех физиономиях («смотри!..»)
мелким шрифтом:
«провокаатор», «проработчик» —
словно клейма, проступают изнутри.
Их не связывает клятвенное слово,
потому-то и воскинется нога
в переулке на прохожего любого,
как на самого заклятого врага...
Вот такая это школа.
Нет, не бивни
обретает частный сектор, не клыки,
но, оружия любого неизбывней,
костоломные кастеты-каблуки.
Как он все-таки пещерен, круг-мибочек,
не команда, где товарищи-друзья,
а случайное собрание одиночек:
каждый сам себе единственный судья.

ПРИЗВАНИЕ ВРАЧЕВАТЬ

Если кто говорил: «Дебил»,—
он того прожигал очками.
За душевность и был любим
всеми сельскими дурачками.
Он выслушивал их. Вникал.
Мык блаженный не числил дичью.
Корень истины извлекал
из-под праха косноязычья.

Со вниманием был велик
собеседователь-посредник,
разряжая бесплодный мык
упреждающим током реплик.
Речи дав обоюдный лад,
он тогда любовался парнем,
чей болезненно-мутный взгляд
светом вспыхивал благодарным...
Не примерно, а точно так
эти встречи происходили,
и в округе о нем: «Чудак»,—
все раздумчивей говорили.
Удивлял он привычный быт,
как бы даже обынострансь,
хоть с людьми — человеком быть,
как подумаешь, что за странность?..

СОБРАТ ИЗ СМЕХОЦЕХА

Пьяница бездетный горевал:
«Был бы сын — бутылки бы сдавал...»

Реприза юмориста

Есть на свете город городович.
В комнате, похожей на чердак,
в нем живет Аркадий Давидович,
в общем-то мечтатель. И чудак.
Никому он зла не причиняет.
Приучив к себе окрестный люд,
ходит, афоризмы сочиняет.
Иногда печатает. Берут.
Кроме — ничего ему не нужно.
Что б он делал, если б не писал?
Где ни подворачивалась служба,
через пару месяцев бросал,
потому что жизни главным призом
сам считает парень пречудной
в микрожанре мини-афоризма
явною себя величиной.
Есть еще у парня добродетель:
в угол свой, как в собственный музей,
одинок, безденежен, бездетен,
любит он затаскивать друзей.
Там на мокрых стенах, на известке,
если уж они здесь обрелись,
фресок он покажет вам наброски,
тел фантазмагорию и лиц.
Женщина одна его «спасала»

тем, что с ним без записи жила.
Комнату она ж и расписала.
«Где теперь художница?..» —
«Ушла...»
Он и вправду как бы не от мира
ушлого. Но это ничего.
Мир зато и сам плывет не мимо
взгляда дружелюбного его.
Это в нем и вы уразумейте,
если он на улице, в снегу,
вам, прикрывшись воротом шубейки,
скупой улыбнется на бегу.

СЮЖЕТ С НЕЗНАКОМКОЙ

День был самый обычный.
Ни дождь и ни снег —
вился пух тополиный, как пепел...
Только шел переулком один человек
и красивую женщину встретил.
А за миг перед тем, на манер комарья,
иззандился он, между прочим,
про себя чертыхался, как вы или я,
прорвой всяческих дел озабочен.
В общем, самых житейских наук «кандидат»,
в сотый раз он терзался (бывает),
что ресницы — в пуху, что пиджак мешковат,
что по службе (опять!) зажимают.
Так примерно брюзжать-горевать никому
не годится. Приятного мало...
А она так светло улыбнулась ему,
словно солнышко в ней просияло.
И в степи океана услышался гул,
так что слезы возьми и пробрызни,—
это снова себе кавалера вернул
мир, влюбленно приверженный жизни.
И подошвы нежнейше коснулись земли,
и пиджачные полы не висли,
и, добру открываясь, уже не могли
мельтешить-лилипутствовать мысли.
Все житейское разом слетело, как дым,
спала с глаз ослепленья завеса,—
ощутил в себе доблести наш нелюдим
и Бетховена и Геркулеса.
Говорят, что с угрюмой своей колеи
он сошел навсегда и стихами
выражает теперь ликованья свои...
Вот что делает женщина с нами!

СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ

Родился в 1932 году в Подмосковье. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических книг: «Проталина», «Стреноженные громы», «Терема», «Продолжение суток», «Души предел желанный...», «Град белокаменный» и других.

* * *

От кого прибилась мода —
А уж ей немало лет! —
В реку лезть, не зная брода,
Всем во всем давать совет?

Учим, не умея сроду
Сами ни гвоздя забить,
Ни чинить водопровода, —
Как вбивать,
И как чинить.

Учим тех,
Кто смладу пашет,
Как пахать...
Что проку в том —
В понаслышенности нашей
Обо всем
И ни о чем?

В пустозвонстве с вышек разных
Наторели —
Равных нет! —
Все клянем его заглазно
И... торим все тот же след...

* * *

У зла, как у добра,
Не счесть своих героев.
Передо мной с утра
Они проходят строем:
Иуда и Нерон,
Батый и Торквемада... —
Убийцы всех времен
И всякого разряда.

Пугающий парад
Умельцев дел кровавых —
Убийцы! —
Кто им рад,
Во снах явись иль в явях,
С утра или в ночи,
Поврозь или толпою? —
Душа кровоточит,
Их видя пред собою.

Как у добра, у зла
Героев густо сроду.
Нет чтобы сжечь дотла
Их подлую породу! —
В любые времена
Зачем-то в память тащим, —
Встают их имена
Всех праведников чаще...

Знать, и меня пронял
Сглаз запредельной силы:
Не думал, не гадал,
А он ворвался в жилы,
Как цепенящий яд,
Возникший ниоткуда,
Имен тлетворных ряд —
Батый, Нерон, Иуда...

Между добром и злом
Пытают на излом...

* * *

Круг истин извечен,
С них начался мир:
Беспечный — беспечен,
Транжира — транжир...

Мольбой ли их потчуй,
Берись ли за кнут,—
Поедут ни почто,
Ничто привезут!..

И сколь ни кричали б
Витии с трибун,—
Печальный — печален,
Болтливый — болтун,

Увечный — увечен,
Рябая — ряба...
Круг истин извечен,
Да память слаба...

* * *

Если жить в нужде постыло —
Есть нужда ли жить в нужде?
Где же были ум и сила,
Самолюбие было где,
Коль стряслось с тобой такое —
Мыкать выпало нужду? —
Может, ты, ища покоя,
Натолкнулся на беду
И, ни валко и ни шатко,
Ту и тянешь борозду?..
Если жить в нужде не сладко —
То нужда ль терпеть нужду?..

ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

Родился в 1935 году в Томской области. Окончил Томский университет. Автор книг стихов «Дочь», «Прощание с первой любовью», «Талина» и других.

* * *

А ты скажи, чего мне стоит
Вернуться в счастье дальних лет?
А ровно столько, сколько стоит
До дома дальнего билет.

А поле, дышащее жаром,
А белоствольный лес в пути,
И гладь реки — так это даром.
Кати себе, лети, гляди.

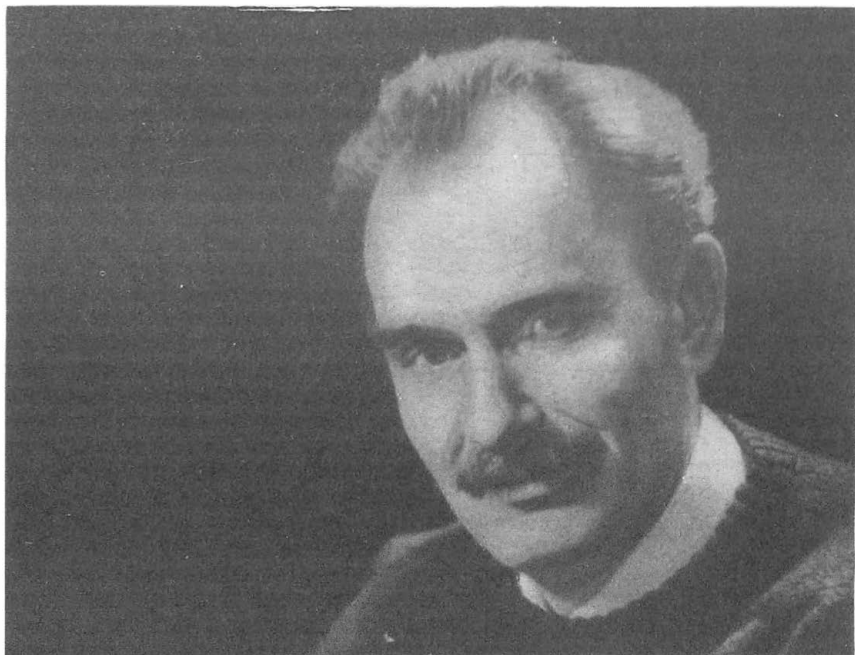
И даром ласточка над яром.
И даром озера кольцо.

И мимолетный город даром.
И даром малое сельцо.

А сверх лесной прохладной сени
И луга в солнечной пыли —
Нечаянное потрясенье
Безбрежностью родной земли!

* * *

Побывавший на грозной войне,
Повидавший, как жар ее пышет,
В налетевшей как гром тишине
Он стихи об увиденном пишет.



Василий Казанцев

Вот он вязким болотом идет.
Как вминаются жерди в трясину!
За спиной у него пулемет.
Как железно вцепился он в спину!

Он к земле приклоняться велит.
Он гнетет наседающим весом.
О как тягостно он холодит
Ледяным, угловатым железом!

В ледяных, невеселых местах
Жердяной стекленеющей гатью —
В ледяных, невеселых лучах —
Он идет с цепенеющей кладью.

И качается цепкая кладь.
И поет непогода протяжно.
И дымитса неровная гладь.
И неровная стелется гать.

А зачем он несет эту кладь?
...Но об этом не то что писать,—
И помыслить-то,
Кажется,
Страшно!

* * *

Бежит солдат равниной голой.
Пыль невесомая блестит.
В лицо солдату веет холод.
В лицо солдату ствол глядит.

Бежит солдат равниной голой.
Неотвратимый миг летит.
Солдату в спину веет холод.
Солдату в спину ствол глядит.

И тот и тот огнем заряжен,
И тот и тот лучом сквозит,
И тот и тот солдату страшен,
Но не стоит он, а бежит.

В лицо глядящий дышит кровью.
Он страшен злобою своей.
А тот горит святой любовью!
И оттого в сто раз страшней!

* * *

Я по-другому не умею жить.
Так взятый в плен, не ждя пощады,
Презрев все цепи, все ограды,
Врага пытается крушить!
Тем не надеясь заслужить —
Ни от кого уже! — награды!

* * *

Как ты ни шарь по небесам
Своим упорно-зорким взглядом,
Но молния сверкнет не там,
Где ищешь ты, а где-то рядом.

Но так сверкнет, что как бы ты
Ни прятал собственного взгляда,
А жаркой, краткой чистоты
Ополоснет тебя прохлада!

* * *

В громыханье века,
В шелестенье дней
Вижу человека
Все ясней, ясней.

Он в лучах огня.
Он в тисках огня.
В холодающей фальши.
В твердой правде дня.

...Он все дальше, дальше —
Дальше! — от меня.

* * *

Ветвь росяным водопадом
Вниз шелестяще скользит.
Зверь с человеческим взглядом
Молча из чащи глядит.

Туча с нацеленным градом
Тяжко над полем летит.

ДИОМИД КОСТЮРИН

Родился в 1945 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Две минуты», «Имя тебе — надежда», «Мужчины не плачут».

ВОРОНЫ

Где бушевали войны,
Сегодня тишь да гладь.
Орудия спокойны,
Салютов не видать.

Атак не начинают,
Молчат свинец и медь.
И вороны не знают,
Куда же им лететь.

Над отгремевшим громом
Который год подряд
Они тяжелым комом
Поднялись и парят.

Солдатки не рыдают,
Когда идут рожать.
И вороны гадают
Куда им путь держать.

Чудесен воздух плавный,
Трава росой искрит.

И ворон самый главный
Все чаще говорит:

«Пускай в оцепененье
Страда погружена —
За пущее терпенье
Воздастся нам сполна».

И в карканье нет фальши,
Он верит в опыт свой.
И вороны постарше
Кивают головой.

Покою высь объята,
Цветеньем май обвит.
И честно воронята
Хранят зловещий вид.

Но дали столь бескрайни
На высохшей крови,
Что хочется им втайне
Податься в соловьи.

ИЗ ДЕТСТВА

У соседей живет говорящая птица,
Что вручает по благу счастливый билет.
Мне пять лет.
Я мечтаю на маме жениться,
Потому что отца у меня больше нет.

Ну а время так тянется,
Время так длится —
В светофоре его желтый властвует цвет.
Мне шесть лет.
Целый год говорящая птица
По утрам выдает мне счастливый билет.

В этот день снег туманится,
А не искрится.
Неотрывно смотрю я на фото отца.
Мне семь лет.
Умерла говорящая птица,
Не простившись ни с кем,
Не оставив птенца.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ

Не сулил ни хлеба и ни крова,
Там, где свет опережала мгла,
Лишь была бы Родина здорова...
Ах, как рано мама умерла.

Синий воздух дыбился морозно:
К ночи застывала бирюза,
Но теплели,
Но темнели звездно
Душу пронизавшие глаза.

Оставляла фреска позолоту,
Ибо крови требовал эскиз.

Он с трудом оканчивал работу
И сходил с лесов скрипящих вниз,
Поднимаясь с каждым шагом выше,
Дыму над землей своей под стать.
И в дремучем веке,
Словно в нише,
Засыпал,
Чтобы пораньше встать.

ГОЛОС

Словно пластинка круги свои вьет
Целую ночь напролет.
Кто-то зовет меня,
Кто-то зовет,
Кто-то зовет
И зовет.

Весь этот вечер
И весь этот год
Я не жалел ни о ком.
Кто-то зовет меня,
Кто-то зовет —
Голос ничуть не знаком.

Мечется пламя в нем,
Колется лед
Прошлых и будущих дней.
Тот, кто зовет меня,
Тот, кто зовет,
Может, всего мне нужней.

Ну а возможно и наоборот —
В мире погасших огней
Тот, кто зовет меня,
Тот, кто зовет,
Совести трезвой страшней.

Я утираю с души своей пот,
Голос истошный кляня.
Кто-то зовет меня,
Кто-то зовет,
Плохо он знает меня,—
Я не отправлюсь в нелепый поход.

Воплями раздражена:
«Кто-то зовет тебя,
Кто-то зовет,
Слышишь?» —
Спросила жена.

Кто —
Приказала узнать мне.
И вот
Вспыхнул и вздрогнул вокзал.
«Кто-то зовет меня,
Кто-то зовет»,—
Я ей с дороги писал.

ВИКТОР ЛАПШИН

Родился в 1944 году в городе Галиче Костромской области. Учился в педагогическом институте. Служил в Советской Армии. Работал в многотиражке Сухонского пароходства. В настоящее время работает в Галиче в районной газете.

Стихи публиковались в областных газетах Вологды и Костромы, в коллективном сборнике «Молодая Волга» Верхне-Волжского издательства, в альманахах «Истоки», «Поэзия» и «Вдохновение», в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент». В 1979 году в Ярославле вышла первая книга стихов «На родных ветрах». Автор книги стихов «Поздняя весна» («Молодая гвардия»).

ОТПОВЕДЬ

Не стучись: я больше не открою
Уж тебе, мой милый, никогда!
У меня давно живот горою...
Ты дороженьку забудь сюда.

Дурачок! Худой побойся славы!
Матери своей не бережешь.
Я тебе нужна лишь для забавы,
Все равно ведь замуж не возьмешь.

Погоди! Как я тебя жалею!
Умерла бы, господи... Молчу!
Так люблю, что и любить не смею,
Быть обузой не хочу.

Разве я бойка, хитра, красива?
В старых девах век бы мне сидеть!
Радость моя горькая, спасибо!
Приходи на сына поглядеть.

СУМАСШЕДШИЙ

(Вологодская пристань. 1968 год)

Ходит набережной знойной
Мертвым шагом строевым.
Люд, брезгливо-беспокойный,
Расступается пред ним.

Не наморщена рубашка,
Брюки стрелками остры.

Немигающе и тяжело
Смотрят белые шары.

Неподвижен взор далекий,
На бровях сверкает пот.
О родной стране широкой
Он без умолку поет.

Слух смущенно песню ловит,
Поневоле в ней живет;
И никто не остановит,
И никто не подпоет.

ОГОНЕК

Над болотом бескрайним, в народе — Святым,
Чибис-чаица плачет навзрыд.
И душе бесприютно под небом пустым,
И высоко она не парит.

Белый камень-руина коснеет вдали
Как бессмысленный грустный упрек.
Стороной безвозвратно дороги ушли,
На глуши и не надо дорог.

Ни тропинки, ни стежки... Осока да мох.
Над пустынным безрадостным сном
Порывался не раз я, но так и не смог
За бродячим угнаться огнем.

Не дается он в руки — лови не лови,
Не приблизится — как ни зови,
А захочешь лукаво его подстеречь —
Свист змеиный несется навстречь!

Но пока я под ивовым лягу кустом —
Предо мною он встанет пестом
Или звездочкой тихой кружит и кружит,—
И не вспыхнет, и не задрожит...

Что ты, кто ты, печальный, таинственный свет?
И зачем ты приходишь ко мне?
Ни покоя тебе, ни пристанища нет,
Хоть дороги гудят в стороне.

Над хвощей столбняком, над истомой осок
И над белой глыбой нагой

Пусть я духом еще, как и ты, невысок,
Но иной мне желанен огонь.

Брезжит он, разгорается в небе пустом,—
Путеводного чаю огня!
Почему же и ты, на болоте Святом,
Так влечешь, так волнуешь меня?..

ЕКЕРНЫЙ БАБАЙ

Что, сыны, сынки, сыночки?
Чур, вперед без проволочки,
Чур, без отдыха вперед!
Вспять — ни погляда, ни шага!
Зной-тропа, по ней ватага
Шла, идет, уйдет!

Босиком по глине жаркой
Топочи резвей, не шаркай,
Пяткой камушки мозжи,
Кубарем катись в яругу,
Гомони на всю округу,
Хоронись во ржи!..

И откуда явь берется?
Вдруг — хибара в огороде
С белым словом «Побывай!».
Кто кряхтит, вздыхает тяжело?
На пороге старикашка —
Екерный Бабай.

«Что за люди?» —
«Дети, старче!» —
«Знать, вам солнце светит жарче:
Загорели-то, ады!
Ну а мне — хоть сушь,

хоть слякоть:

Не с кем больше покалякать,
Потолочь воды.

Не годов — былого много!
Закоснела шар-дорога.
Эха вовсе нету — чу?!
Дегтю с медом бочку выпил,
Из людей почти уж выбыл —
А пожить хочу!»

Жить — уныло, хворо, седо?
Вот чудак! Хватают деда,

Тормошат озорники!
Струйка взмыла огневая! —
Через миг от «Побывая» —
Смрад и угольки!

«Полно нюниты!» Стынуть следу:
Таково ли мчится деду
На плечах у ребяти!
Рвется, пучится худенька
Рубашонка-обертенька,
Ерзай да стони!..

Да не век же тряске-гонке!
Семенит Бабай в сторонке
Очумело за гурьбой —
Гатью, мхами-муравами...
«Я теперь, братишки, с вами!» —
«Нет уж — мы с тобой!»

Диво — если нету дива!
Уж Бабай трусит игриво,
Плешь кудрями поросла,
Щеки рдяны, свежи губы,

Разом вымахали зубы,
Борода сошла!
Был Бабай — осталось имя!

Вместе с братцами шальными,
И от них неотличим,—
Свищет, голосит, хохочет,
Ничегошеньки не хочет,
Никаких кручин!..

«Когда были мы моложе —
Стариками были тоже!» —
Хор без удержу поет,
Удалую юность славит.
Если сказочник слукавит —
Сказка не солжет.

„КРУГЛЫЙ СТОЛ” АЛЬМАНАХА „ПОЭЗИЯ”



Рис. А. Пахомова

С ЧЕМ ИДЕМ В МИР?

О молодой поэзии сегодня много спорят, ее ниспровергают, ее поднимают на щит, ее отрицают, а в общем-то не знают, что с нею делать. Появляются новые имена, сбиваются самые разные «обоймы», стихийно организуются «школы», течения, направления. У некоторых, более энергичных, предприимчивых поэтов уже появились свои теоретики, как правило, подгоняющие молодых авторов под свою программу, под свою тенденцию. В печати появляются шумные заявления, громкие манифесты, которые вместо новизны предлагают старую бутафорию из литературных сундуков начала века. А настоящее, подлинное в поэзии, как и вообще в искусстве, — оно всегда неторопливо, некрикливо, всегда несет в себе чувство достоинства, стремится к зрелости, к ответственности, к большому и серьезному делу... И все-таки читателю трудно разобраться в огромном потоке имен, книг, публикаций — кто есть кто среди новой поэтической генерации, ради чего идут молодые сегодня в литературу, с чем они идут. Конечно, главный показатель здесь — талант. Но талант только тогда работает с полной отдачей, когда он обеспечен стремлением к высокой цели, когда он обеспечен гражданским чувством, культурой, исторической памятью своей страны, своего народа. Талант, которому нечего сказать, — как правило, уходит в формальные ухищрения, в игру словами, в банальное повторение прописных истин... А что думать обо всем этом сами молодые? Чтобы ответить на этот вопрос, мы и решили собрать в редакции альманаха «Поэзия» молодых поэтов разных эстетических направлений, разной творческой судьбы, разного представления о путях поэзии. Это поэты — Сергей Агальцов, Владимир Аристов, Николай Дмитриев, Григорий Калюжный, Виктор Коркия, Нина Краснова, Алексей Парщиков, Александр Щуплов, а также критики Александр Бобров, Святослав Котенко, Сергей Небольсин, Михаил Эпштейн. В разговоре приняли участие заведующий редакцией поэзии издательства «Молодая гвардия» Георгий Зайцев, редактор Татьяна Чалова, редактор альманаха «Поэзия» Геннадий Красников.

Так как встреча получилась, на наш взгляд, интересной, мы решили представить ее на страницах альманаха шире, чтобы все участники встречи могли как можно более полно высказать свою точку зрения и в каком-то смысле свое поэтическое кредо. Естественным нам показалось и то, что после высказанной здесь поэтами своеобразной творческой программы будут представлены и собственные их стихи в виде подтверждения того, о чем говорилось в дискуссии. Каждый из поэтов представлен большими подборками, причем мы решили не навязывать своей редакторской воли в отборе стихов, то есть дали возможность самим авторам решать, как составлять подборку, из каких стихов. Думаем, что читатели имеют уникальную возможность оценить не только взгляды молодых авторов на поэзию, на жизнь, но и то, как эти взгляды реализованы в творчестве этих поэтов. Кажется, это первая практика таких совместных встреч с одновременной публикацией стихов после обсуждения, но мы надеемся также, что подобные встречи на наших страницах будут иметь свое продолжение с пользой не только для читателей, но и для самих молодых писателей.

ОТ РЕДАКЦИИ

Г. ЗАЙЦЕВ: Издательство «Молодая гвардия», альманах «Поэзия», редакция поэзии, редакция по работе с молодыми заинтересованы в том, чтобы к нам приходили интересные авторы — ищущие, непохожие друг на друга.

Среди присутствующих здесь поэтов и критиков есть люди, которые часто и нам — издателям — обвинения предъявляли. Цель нашей встречи — познакомиться. Хотелось бы узнать новых авторов, с какой позицией они идут в поэзию, с каким зарядом, что отстаивают. Я верю, что вот такие встречи корректируют наши взгляды, отношения, уровень понимания друг друга.

Г. КРАСНИКОВ: За этим «круглым столом» собрались представители одного поколения, молодыми нас, правда, уже не назовешь, всем либо к сорока годам, либо уже за сорок. Хотя в периодике, во всех дискуссиях и прочих выступлениях нас называют молодыми. Оказывается, прежде не было такого понятия: «молодой поэт». Оно возникло с началом проведения всесоюзных совещаний молодых писателей сразу после войны и прежде никогда не употреблялось, по крайней мере, так широко, как сейчас. В последнее время определение «молодой поэт» приобретает некий иждивенческий характер, иждивенческий оттенок. Когда говорят «молодой поэт» — в этом уже есть желание оправдать какие-то свои слабости или, если грубо говорить, отсутствие таланта или заранее испрашивается право на ошибку. Хотя в слове «поэт», как я его понимаю, уже заключено понятие зрелости — духовной, человеческой, гражданской, интеллектуальной. А «молодой поэт» — это как бы недо-поэт, недо-зрелый какой-то человек... Поэтому хотелось бы, чтобы в нашем разговоре о поэзии объединяющим словом было слово «поколение». Являемся ли мы поколением, доросли ли до него, созвучны ли мы друг другу даже в своих самых непохожих, резко отличающихся индивидуальных проявлениях? Хотелось бы, чтобы наш разговор не замыкался на тех проблемах, о которых уже немало сказали в периодике и Мальгин, и Еременко, которые предъявляли претензии и требования к издательствам, к журналам и уходили от разговора по существу, от разговора о смысле литературы, об ответственности писателя. Еще одно пожелание: чтобы мы помнили о тех людях, которые сейчас, в данный момент заняты самой земной работой на заводе, в поле, и чтобы им было понятно, о чем мы спорим, какие проблемы нас волнуют. Само время заставляет сегодня нас строже смотреть на самих себя и на те проблемы, о которых мы говорим. Миссия художника. Когда-то Вяземский говорил Жуковскому: «Не забывай, что у тебя на Руси есть апостольство, что ты должен проповедовать евангелие правды и за себя, и за Пушкина». Русская литература всегда была созидательна, она работала на сохранение души, памяти, преемственности, и в этом, наверное, суть и причина того, что в любую ее эстетику, в любое ее направление всегда входила этика.

В. КОРКИЯ: Мы живем во время, которое характеризуется тем, что оно принципиально отлично от всех предыдущих. С моей точки зрения, это отличие идет по очень разным параметрам, но есть какие-то вещи, которые можно выделить. Скажем, XX век практически уничтожил пространство. Если армии Цезаря и Наполеона передвигались одинаково, то сейчас соответственно тот же путь покрывается ракетами за 5—7 минут. Сейчас нам приходится осваивать пространства и время, которые сменяются фантастически быстро. Практически пять шестых новой Москвы

построено при моей жизни, на всех домах стоят знаки, когда они построены, до 60-го года или после.

В XIX веке стояли проблемы, которые были разрешимы. Например, первая половина XIX века прошла под знаком борьбы за отмену крепостного права, о которой писали практически все крупнейшие художники. Эта проблема была в некотором смысле разрешима: скажем, принимается решение об отмене крепостного права... Сейчас мы вступили в эпоху проблем, которые росчерком пера просто неразрешимы. Я не уверен, что проблема, скажем, экологическая, принятием одного какого-то глобального решения может быть разрешима. Это не значит, что не надо ее решать, думать об этом. В каждый момент времени, в каждую эпоху искусство имеет определенные духовные задачи перед страной, перед обществом, перед человечеством, и именно эта общность задач формирует определенное поколение, а не только возрастные приметы. Были военные поколения, поколения 20-х, 30-х годов. Эти поколения решали задачи, разрешимые на национальном уровне, на уровне страны. Сейчас глобальные проблемы современности, которые стоят не только перед нашей страной, но и перед человечеством, — они на национальном уровне неразрешимы. Явление нового поэта — очень интересное явление. Каждый поэт в каком-то смысле последний, ведь что-то уходит из жизни уже навсегда, времена меняются. Чтобы осознать себя теперешнего, нужно осознать себя и прошлого. Осознать и соотносить, без этого не может быть устремленности в завтра, в будущее. Но коль скоро что-то завершилось, то рождается новый поэт, живая плоть противоречий, человек, которому удалось навсегда воплотить уходящее в слове. Что же он такое фиксирует, уходящее навсегда из нашей жизни? Мне кажется, что это одна из задач критики, которая об этом мало думает...

Мне хочется поговорить еще о вещах, связанных с дискуссиями на страницах «Литературной газеты», «Литературной России». Спор идет вокруг понятий простоты и сложности. Так, например, для Парщикова, для новой поэзии характерна неоднозначность интонации. Все новое — хорошо забытое старое. Интонационная неоднозначность свойственна всей поэзии Пушкина, припомните: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман...», «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей», «Без грамматической ошибки я русской речи не люблю» и т. д. Такими стихами написана половина «Евгения Онегина». В контексте эти строки можно прочесть как серьезные, так и иронические, они интонационно неоднозначны. А что после Пушкина? Русская поэзия как бы забыла про это: если лирика, так лирика, если ирония, так ирония. Между тем «веселое имя Пушкин» во многом определяется именно умением совмещать в одной поэтической фигуре лирику и иронию. В наше время это умение впервые продемонстрировал Чухонцев. А для целого ряда поэтов нового поколения этот прием стал основным.

В. АРИСТОВ: Что я имею в виду, когда говорю о простоте и сложности? Сейчас, возможно, важнее понятия «полнота» и «неполнота». Для меня ранний Пастернак в чем-то проще, чем поздний, но не в обычном смысле, а именно потому, что он полон, а в позднем есть какие-то линии, которые требуют усилий для того, чтобы это завершить в целостную картину. Сегодняшняя ситуация как раз и характеризуется тем, что мы пытаемся обрести новую полноту. Это нельзя назвать сложностью, это — полнота. Надо понять, почему прежние поэтические средства не срабатывают, мы проскальзываем мимо них. Метафоризм пытается на-

щупать эту полноту, понять, чем еще можно в данной ситуации, какими новыми понятиями определить нынешний мир. Без этого, оказывается, мир недостаточен. Когда мы говорим, что эти проблемы нельзя решить сразу, это означает, что мы должны выйти в какие-то новые пространства, в том числе и в пространство времени. Мы должны обрести космос времени. Все это взаимосвязанные проблемы. Когда мы говорим о каких-то частностях, мы неизбежно говорим об общем. Что такое космос времени: это означает, что и будущее и прошлое не должны быть в каком-то привилегированном состоянии. Это не значит, что они должны стать одинаковыми, нет. Мы поняли, что без прошлого мы не можем существовать. Но точно так же, как раньше мы были обращены лицом только вперед и в каком-то смысле жили в пустоте будущего, нельзя поворачиваться только лицом назад и забывать о том, что существует будущее. В нынешней ситуации, когда мы стоим, как витязь на распутье, оказывается, что надо идти сразу по всем трем дорогам: и в прошлое, и в будущее, и в настоящее. Это и означает в каком-то смысле полноту. Может быть, мы что-то упустим в этой дороге, но мы сохраним эту множественность...

А. ЩУПЛОВ: Сейчас ситуация в литературе схожа с экстремальной ситуацией в фильме, который будет демонстрироваться сегодня вечером: «На следующий день». Представьте себе, что исчезают все средства массовой информации. С чем сталкиваются тогда наиболее выживаемые категории (я надеюсь, что ими окажутся поэты, издатели, продавцы книжных магазинов)? Читатели вновь стопроцентно обращаются к поэзии как к самому мобильному жанру литературы, самому коммуникабельному в жизни жанру. Что же тогда это будут за читатели? С одной стороны — воспитанники филфаков, технократическая элита, с другой стороны — читатели, которые получили ликбезовские начатки или знания поэзии из песен Макаревича. Ну, может быть, найдется какая-нибудь школьница, назовем ее условно центристка, которая произнесет что-нибудь сакраментальное: «Бедные гении — они вынуждены были открывать то, что мы проходим в школе!..» Не дай бог, что такая девочка среди читателей окажется. И все-таки, мне думается, многие поэты сегодня оказались в таком положении — независимо от принадлежности к поколениям. А поэты молодого поколения особенно. На кого ориентироваться? Спасительно-оправдательные термины самовыражения: «Я так вижу!» — не отменяют наличия маяков. А маяки в данном случае — это читательские глаза. Вот как равняться на эти маяки, я не знаю. Мы слишком много торопились, стремглав неслись вперед, и паровоз наш несся, в коммуне должна была быть остановка. Выяснилось, что остановиться придется, наверное, пораньше и — оглянуться... Это к вопросу о программе. Виктор Коркия говорит о неоднозначности интонаций, которые были у Пушкина, а затем как бы пропали в нашей поэзии. Не знаю, вред ли можно свести к неоднозначности интонации Цветаеву, Ахматову, Хлебникову, обзриутов... Кстати, сказали, что термин «молодой поэт» появился недавно, но он появился ранее, правда, тогда говорили «комсомольский поэт»: Жаров, Уткин, Безыменский...

Г. КРАСНИКОВ: Но это было не возрастное определение, а скорее тематическое. Яков Шведов, к примеру, так и умер в звании комсомольского поэта...

А. ЩУПЛОВ: К вопросу об интонации и ее неоднозначности. Я думаю, что как раз нынешнее поколение или, как их называют, «экспериментаторы», «корифеи непонятности», «новая волна» — более заслужили уп-

река в однозначности интонации. Как бы я ни слушал с упоением Жданова, тем не менее я ловлю себя на мысли, что монотонность там присутствует. Несмотря на сарказм Еременко, нельзя не признать однозначную интонацию его стихотворений. И в молодогвардейской книге Алексея Парщикова, кроме поэмы о Мазепе, все остальное интонационно однообразно. Что касается высказывания, что не срабатывали прежние средства, я меньше всего бы сейчас хотел утверждать, что новые средства срабатывают, тем более что здесь уже говорили, что новое — это хорошо забытое старое. Если эти средства сработали один раз, если ружье один раз выстрелило 70 или 170 лет назад, то для того, чтобы оно выстрелило сейчас, его нужно зарядить, а кто будет заряжать эти стволы, найдутся ли такие люди?..

А. ПАРЩИКОВ: Мне кажется, что наиболее полно состыковались с читателем только поэты поколения 60-х годов... Что касается «новой волны» и то, что сейчас происходит в так называемой сложной поэзии, то это отнюдь не радужные, а очень тяжелые отношения с читателями. Это зависит и от сложности стихотворения, и от того, что наш читатель имеет совершенно определенную выучку и мы почти никогда не учили его культурному разнообразию. Читатель привык есть что-то очень определенное. Так мне кажется. Мы, конечно, должны сейчас заботиться, чтобы найти какой-то контакт, может быть, не обязательно непосредственный, а с помощью всей культурной ситуации, обстановки, всех наших участников. После 60-х, в 70-е годы впервые появился гигантский блок серой поэзии. Видимо, потому, что поэты отказались от индивидуалистического взгляда на вещи, это была реакция на 60-е годы. Тогда же и был предложен феномен Юрия Кузнецова. В конце 70-х годов начались поиски новых средств. Я это видел в Литературном институте, что привело к так называемой сложной поэзии или, говоря филологично, компрессии, когда каждое слово, каждое понятие, каждый введенный термин или средство выражения начинают обрастать различными ассоциациями, собственным комментарием и т. д. Естественно, сложная поэзия не создавала никакой метаметафоры. Грамматически никто не менял язык, метафора как была метафора, так и остается, просто остановились на этом слове исходя из того, что это очень древнее понятие и, по Аристотелю, как бы определитель таланта. Ну, мета, ну, образ, вообще всякий «ймаж» или троп в быту называется метафорой. Существует метареальность — то, о чем пишет Михаил Эпштейн, в том смысле, что существует невидимая реальность, ибо мы сталкиваемся постоянно с пространствами и вещами, которые мы не видим. Поэтому сложная поэзия имеет совершенно другие задачи, и возникла она не затем, чтобы запутать читателя. Наоборот, идеал сложной поэзии — это и полный примитив. Но чтобы писать примитивно, нужно иметь огромный целостный ясный и чистый контекст, соотношение с которым, как в японской поэзии, может сразу придать значительность какому-то слову, строке. В таком смысле к сложной поэзии относится иногда очень ясно пишущий, скажем, Еременко, который использует в нашей культуре параллелизм каких-то ситуаций и делает из этого пародию. Или Владимир Салимон, который пишет очень примитивно иногда, но у него за этим есть представление целостности. А Жданову приходится быть постоянно в сотворчестве, поскольку мир, в котором мы живем, — незавершенный мир, и нам нужно его постоянно достраивать. В этом я вижу миссию сложной поэзии — найти то, чего еще не существует, говорить о тайне в поэзии, а не об известном.

Н. КРАСНОВА: О достижениях нашего поколения говорить еще рано, потому что о поэте, о человеке можно говорить только после его смерти, и плохое и хорошее — все после смерти. Я слышала, что Наровчатов и Луконин все, что написали при жизни, издали. А у Слуцкого, Мартынова очень много неизданных стихов. Мне кажется, многие молодые сейчас в таком положении. У Коркия есть строчка: «И кто мой современник, я не знаю...» Это очень правильно. На самом деле $\frac{7}{8}$ у многих просто под водой. Вот у Коркия даже книжки пока нет. Поэтому о достижениях потом будем говорить. Сейчас начинают появляться поэты, которые долго не могли выйти к читателям, — это поэты и «новой волны», и Виктор Коркия, они талантливы и действительно могут быть интересны читателям. Но этой ситуацией воспользовались и те, кто тоже долго не издавался, но по другой причине. Есть такое хорошее слово в деревне: «засиделка», когда девка замуж вовремя не вышла, и не вышла не потому, что она хорошая, а потому, что плохая. Сейчас такие вот засиделки полезли в поэзию: до 40 лет пьянствовали, неизвестно чем занимались, а сейчас спохватились и под общий шумок тоже лезут со своим добром. Они читателям вовсе даже не нужны, и альманах «Поэзия» нужно от них ограждать. Вот сейчас читаешь газеты, слушаешь радио — и вроде бы новые имена дают, а это — засиделки.

Или другая проблема. Сейчас еще группа образовалась молодых, того же возраста, от 30 до 40, которые в свое время уже издали по две-четыре книжки: Коля Дмитриев, Александр Щуплов, Татьяна Бек, а они вроде уж и в раздел молодых не попадают. Странная какая-то ситуация. Про них уж сейчас и речи нет. Про них замолчали, они, мол, свое слово сказали. Мне недавно в Рязани сказали: тебе хорошо, у тебя легкий путь. Это легкий путь, если не знать, каким трудом все далось. Я скажу, как вторая книжка выходила, «Красные цветы». У меня были редакторы Шаталов и Кузнецов. Они полкнижки сразу отсеяли... И если бы у меня не было, чем добавить, я бы сидела еще десять лет...

Г. ЗАЙЦЕВ: А вы уверены, что они отобрали неверно?

Н. КРАСНОВА: Я не думаю, что они самое сильное отсеяли, может быть, кое-что действительно слабое выбросили, а может быть, кое-что и хорошее...

Н. ДМИТРИЕВ: У нас давно не употребляются термины: «интеллектуальная» поэзия, «нутряная» поэзия, но рецидивы этих определений, конечно, живы, и довольно четко проходит граница — вот этот простой, этот сложный. Мы привыкли, что Тряпкин довольно простой, примитивный, почвенный, нутряной, а Давид Самойлов — это интеллигент высшего класса. Значит, все-таки граница в определенной степени проходит. Интересно, на чем основываются эти понятия, эти определения и почему они иногда вызывают даже провинциальную болезнь, комплекс неполноценности некоторых авторов? Даже Шукшин все свое творчество на этом основал, и довольно успешно и плодотворно. Вспоминаются в связи с этим стихи Смелякова — о сложном и простом человеке: «Живя в XX веке, в Отечестве своем, хочу о человеке поговорить простом. Раскрыв листы газеты, раздумываю зло, определенье это откудава пришло?...» А Глазков как бы перекликается с ним в стихотворении «О сложном человеке»: «А что он сделал, сложный человек, бюро, бюро придумал пропусков». И вот я думаю, что некоторые поэты «новой волны» (я,

правда, не имею в виду Алексея Парщикова, Жданова, Еременко), а вот взять парщиковщину, еременковщину, ждановщину, эпигонов наших уважаемых авторов — они, по-моему, придумали «бюро пропусков», чтобы, не дай бог, ясный смысл не пробился на страницы их произведений и не выявил их сущность. И мне иногда хочется попросить — напишите хотя бы одно рифмованное стихотворение, чтобы показать, умеете ли вы вообще стихи писать, не употребляя никаких специфических художественных средств. То есть есть ли что-нибудь за душой у них или, как говорят, «дурят нашего брата». А то ведь теперь упоминание хотя бы одного крупного философа древности или современности или, например, какого-нибудь общепризнанного классика, мыслителя — уже гарантию на интеллектуальность дает. Хотя Лев Толстой прочитал всю мировую философию, но ни в одном из его произведений — ни в «Хозяине и работнике», ни в «Крейцеровой сонате», ни в «Смерти Ивана Ильича» — не видно выпирающего блеска, не видно этой агрессивной эрудиции, а у нас как знак: сумеешь реминисценцию зарифмовать, значит, на тебе будет прочное клеймо интеллектуала. А, однако же, самое сложное, что за последнее время перечитал, — это «Тихая моя родина» Рубцова. Совершенно потрясающее по сложности стихотворение — как по звуковой организации, так и по подбору деталей. Алексей Парщиков в своем послесловии к книге сказал, что наступило время ландшафтов иного порядка — не с русской колоколенкой, не с погостом и речкой, а с пространством внутри бактерии и так далее...

Думать так — это все-таки идти в обозе за наукой, в ее арьергарде. Потому что наука ищет, значит, она может и ошибиться в определении пространственного рисунка бактерий; а вдруг возникнет совершенно другая картина этого пространства, и что же, тогда поэзия будет приспосабливаться к новому рисунку?.. Вот отпечатался на Луне американский ботинок, однако же мы по-прежнему перечитываем стихи Есенина о луне, где он сравнивает ее с ягненком или еще с чем-то!.. Вообще поэзию не один раз лихорадило. Игорь Северянин писал об аэростатах, о пропеллерах. Вознесенский сначала описывал поворот северных рек, в разработке проекта которого участвовал еще его отец, а потом пришлось кое-что пересмотреть в своих поэтических взглядах...

А. ПАРЩИКОВ: Сейчас, когда ситуация немножечко изменилась, мы встретились с новым типом чистого непонимания. Оказывается, что современная редакция, в большинстве своем интеллигентные начитанные люди, с хорошим вкусом, — они тем не менее ценят совершенно другие конфликты в художественном произведении, чем те, что находят у молодежи. С одной стороны, в современных журналах вы найдете очень много проявлений чистого демократизма, редакторской воли, ну, в общем, гласности. Редактор говорит: «Знаете что, ребята, вы почитайте «Дети Арбата», там есть боль, судьба. Пишите, сейчас можно, давайте. А здесь этого нет. Это ирония. Это игра». Значит, тут непонимание тех конфликтов, тех задач, которые закладываются так или иначе современной молодежью в свои произведения. Мне кажется, каждый из вас это чувствует, по-разному выражает. Но надо как-то сформулировать те конфликты, которые заложены в культурный лимит нашего времени, нашего поколения. И донести их до тех людей, которые оценивают наши произведения с точки зрения содержательности, то есть конфликтности, драматичности...

Г. КРАСНИКОВ: В связи с этим у меня есть один вопрос к Алексею Парщикову. Вы сказали о том, что столкнулись с проблемой читателя и

проблему эту означили так: непонимание происходит у читателей, потому что читатель не был готов к восприятию такой поэзии, его все время кормили одной пищей. Я помню ваше выступление по телевидению в программе «Мир и молодежь». Там было очень однозначно видно, как вас не понимают. Вы читали стихи о стеклянных башнях, и люди откровенно скучали (я думаю, что это не было подстроено операторами, раз уж вас пригласили, там хотели как раз, чтобы это дошло до слушателя!).

А. ПАРЩИКОВ: На телевидении была такая ситуация: ребята, которые меня снимали, сказали, что должна быть импровизация, и вообще они выбрали довольно пассивную аудиторию... Но они были неопытны, как и я. И когда я потом передачу смотрел, у меня было ощущение, что вообще не было никакого контакта. Я долго думал на эту тему. У нас привыкли видеть в литературе сквозную общую идею, как бы для всех одинаково важную и значимую, — мол, если мы ее не поймем, все погибнем. Так литература XIX века нас воспитывала. И у читателя и у меня в этом плане тоже нет представления о жанре. Пусть будет детектив, или сложное стихотворение, или смешная повесть. Я когда читаю, я хочу все воспринять. У нас как бы нет культурного разделения. Мне кажется все-таки, оно должно быть, должно быть понятно: этот пишет только фантастику, а тот еще что-то. Это даст читателю выбор, погасит его агрессию, читатели агрессивны в этом смысле. Они считают, что все сделано для них, и как только чуть-чуть непонятно — почему мы не даем им возможности окончательно проникнуть в текст?! Хотя, может быть, автор и не создает для такого числа людей, ведь действительно мы широко вещаем вещи, которые не связаны с миллионами. Я не рассчитываю на это. Я говорю: не издавайте большие толстые книги. Зачем вам 10 тысяч тираж? Не издаваться вообще — кошмар, но издаваться вот так, широко, я не понимаю, зачем. Нужно воспитывать своего читателя. **Только своего.** «Писатель — читатель» — это секта в идеале или, если хотите, театр, но это все-таки ограниченный круг, надо его ограничить, чтобы не потерять гуманность, красоту общения. Это и есть проблема, о которой никогда никто не говорит ни в журналах, ни на форумах...

Н. КРАСНОВА: Недавно по радио передача была хорошая про Георгия Иванова. Удивило, что человек очень долго жил вдали от России, от Родины, от стихии своего родного языка, но как же он сохранил чувство языка русского! У него весь строй речи русский, хороший, правильный, а у нас живущие многие поэты — без языка русского, они слова со словом сложить не могут. Например, если взять вышивку, хотя и не принято сравнивать поэзию с рукоделием, но я сравню, чтобы было доступнее. Можно взять две вышивки: на одной узор сложный, изощренный, много фантазии, но выполнен он очень плохо, стежки разные, затяжки, узлы, то есть ценности узор уже не представляет, какой бы сложный он ни был, а может быть узор примитивный, какой-нибудь платочек, по краям каемочка, но выполнено все хорошо, стежок к стежочку лежит и доставляет эстетическое удовольствие, имеет эстетическую ценность. Или кружева — можно петельку за петельку, а может быть — одни дыры. И такое же иногда у поэтов с языком происходит...

Г. КРАСНИКОВ: Я хочу процитировать своего любимого Бориса Ивановича Бурсова, автора, на мой взгляд, гениальной книги «Судьба Пушкина». Он тоже писал в связи со сложностью, как понимал ее Пушкин. Цитирую Бурсова: «Для него, Пушкина, простота не противоположность сложности, а упорядоченная сложность, он, следовательно, двигался не к тому, чтобы уклониться от сложных проблем, как-либо обойти их, а к

тому, чтобы как можно дальше углубиться в них, приобщая к ним всех своих читателей, а не только избранных». Мне кажется это очень важным, потому что все-таки та сложная поэзия, о которой сейчас так много пишут, она почему-то идет по другому пути, и Алексей это подтвердил очень искренне. Григорий Калюжный позже будет говорить, для него это особенно больной вопрос, потому что он, может быть, как никто другой болен проблемами современности и для него «чистота эфира» (он пользуется своей летной терминологией) жизненно важна. «Метафорическая» поэзия, о которой идет речь, по-моему, забивает эфир, и как раз в очень сложный момент, в который мы живем. Из-за того, что мы часто уходим в игру, мы каких-то важных вещей, может, не слышим и не воспринимаем. Может, такие проблемы и в сложной поэзии заложены, но понять их на уровне хоть какого-то смысла невозможно.

Я убежден, что писать мы должны не только для избранных умов, но чтобы в «чистом эфире» сказать самые важные, самые главные, безотлагательные вещи.

В. КОРКИЯ: Может быть, есть смысл подумать о том, что, рассматривая бактерии так близко, как это пытается сделать Парщиков, можно совершить открытия эстетического характера, которые будут иметь свою художественную и человеческую ценность? Есть вещи, которые можно довести до общепонятного образа, до общепонятной словесной формулы, а есть ведь те, которые могут существовать как вопрос, как ощущение. Но отрицать их заранее, говорить, что такого нет и быть не может, значит отсекают путь, который ведет к открытию, а может, в тупик, я не знаю. Нельзя ставить тут шлагбаум, мы не знаем, что можем потерять на этом пути.

А. ЦУПЛОВ: Мне кажется, вопрос простоты и сложности влечет за собой другой вопрос: насколько сейчас доверяют читатели стихам простым или сложным? В предыдущее десятилетие, сейчас об этом говорилось, читатель перестал верить своим национальным поэтам, за исключением одного-двух-трех. Читатель пока ожидает, будь то простая поэзия или сложная, он ожидает чего-то такого, что заставило бы переломить недоверие к поэту и пойти за ним. Я пока не вижу этого перелома коренного и, по-моему, то, что предлагает «новая волна», тоже не дает никакого перелома. Общеизвестно, что поэт начинается раньше стихов, но этого сейчас не происходит. Доверие по-прежнему утеряно, не будем обольщаться цифрами. Здесь мой упрек и в адрес «Литгазеты», объявившей, что поэтические книжки не расходятся. Я, как представитель «Книжного обозрения», также с цифрами и опираясь на авторитетных товарищей из Книжной палаты, могу сказать со всей ответственностью, что все поэтические книжки центральных издательств практически расходятся. Все раскупаются — безотносительно, верит ли читатель или не верит поэту. Но это тоже не должно служить обольщением. По-моему, **действенности** в поэзии сейчас не хватает катастрофическим, и я не вижу симптомов ее появления. Недоверие усугубляется. Наполеон был остроумным человеком, он сказал: «Говорят, во Франции сейчас нет поэтов, а что думает по этому поводу мой министр внутренних дел?» Я не хочу, чтобы мы обращались к министру внутренних дел нашей страны с таким чисто профессиональным вопросом: о нарушении доверия, о нарушении сопереживания, необходимого контакта между читателем и писателем.

Т. ЧАЛОВА: Я хочу сказать о том, что я чужда этой дискуссии, я не воспринимаю теоретизирований. Надеюсь, предполагаю, что те, кто здесь сидит, поэты, действительно поэты... Почему я теоретизирования

не понимаю, может быть, даже запретила бы поэтам теоретизировать? Поэтами, конечно, рождаются, и от этого не надо уходить. Человек просто рождается поэтом: или он поэт, или не поэт. Римма Казакова, когда у нас появился 22-летний Николай Дмитриев, написала в предисловии: поэт «милостью божьей». Я подумала, о ком можно сказать «милостью божьей» — конечно, о единицах, кто рожден поэтом. Пишите, дорогие поэты, приносите свои рукописи и поменьше теоретизируйте.

М. ЭПШТЕЙН: По поводу критики. Я предпочел бы слово «теоретик», именно применительно к современной поэзии, и вот почему. Современная поэзия настолько внутри себя рефлексивна, что она обязательно включает некую теоретическую позицию, перспективу своего собственного развития, поэтому сейчас настало такое время (и это одна из примет нового поэтического времени), что поэзия развивается в симбиозе с критикой, так же, как это было, например, в эпоху символизма или футуризма. Критик выступает как теоретик некой поэтической школы, представителем которой он считает себя, и теоретики группируют поэтов вокруг этой школы, внося в литературный процесс моменты самосознания, саморефлексии. Мы утратили, к сожалению, культуру такого взаимодействия теории и практики художественной, хотя у нас есть блистательные представители ее, если вспомнить Андрея Белого, Виктора Шкловского, а в зарубежной литературе Андре Бретона, который создал мало собственно художественных текстов, но остался именно в истории литературы, а не только критики, потому что и сюрреализм, участником и глашатаем которого он был, — это явление синтетическое, это явление одновременно и теории и практики искусства. В этой связи я бы отстаивал право поэтической критики или теории на собственное воображение и на собственный вымысел. Хотя мне тоже не очень нравится термин «метаметафора», но я в принципе допускаю и всячески поддерживаю готовность теоретика к новообразованиям. Теоретическая фантазия имеет какие-то свои законы и свои творческие интуиции, и критик просто обязан так же обновлять свой терминологический арсенал и понятийный аппарат, как обновляет свой язык поэзия. Без обновления языка теории невозможно поступательное движение литературного процесса вообще. И сам я тоже пытаюсь предложить какие-то термины, скажем, метареализм или метабола, которые в моем видении проясняют современный литературный процесс. Это элементы теоретического творчества, с ними можно спорить, можно предлагать другие, но, мне кажется, никто не имеет права отказывать критику в праве на воображение, именно теоретическое воображение.

Мне кажется, что каждое новое поколение вносит в поэзию и в литературу вообще не столько какую-то идею, сколько новое противостояние идей или новое противостояние стилей. Одно противостояние было характерно для поколения 60-х годов, там выделилась, условно говоря, громкая поэзия и тихая поэзия, Вознесенский с одной стороны, Рубцов с другой. Мне кажется, мы должны научиться мыслить именно противостоянием, потому что любое творческое явление, любая литературная ситуация включает моменты внутренней оппозиции, и никоим образом нельзя выдавать за сущность поколения лишь одну из сторон этой оппозиции. Мне кажется, что нынешняя оппозиция в поэзии — это оппозиция концептуализма и метареализма. О метареализме читатели имеют представление по публикации таких поэтов, как Жданов, Парщиков, хотя некоторые самые последовательные метареалисты, такие, как Ольга Седакова, не опубликованы ни одной строкой. О концептуализме широ-

кому читателю вообще ничего не известно, как будто не существует такого направления, собирающего огромное количество слушателей на свои вечера. Концептуалисты впервые, как мне кажется, за многие десятилетия нашей поэзии наконец осознали язык нашей цивилизации как предмет поэтической рефлексии. Скажем, Пригов, Рубинштейн, Сухотин, Кибиров — у них чрезвычайно активно чужое слово. Причем я рассматриваю их в том же русле, в каком можно рассматривать сказовую традицию, когда писатель выступает не столько в роли сочинителя, сколько составителя, регистратора. Такая позиция составителя как бы словаря современных идеологических стереотипов очень свойственна поэтам-концептуалистам. На мой взгляд, это колоссальное движение вперед, потому что цивилизация, которая не умеет осмыслить свой собственный язык, которая не создала языка для осмысления своих идеологических клише, — эта цивилизация обречена на одномерность, застой и самоистребление. И то, что с середины 70-х годов начинается концептуалистское движение, свидетельствует о том, что наша цивилизация наконец-то обретает некую многомерность, способность судить о себе, размышлять о себе, представлять себя не только в качестве громкоговорящего субъекта, но и в качестве объекта, достойного обсуждения, анализа, критики на ее же собственном языке. Тем не менее концептуалистам часто отказывают в праве на публичное существование, потому что их стилевая норма значительно ниже общепринятой в нашей печати. Вообще, я бы сказал, в наших издательствах, редакциях принята как бы средняя норма литературного выражения, которая в меру сочетает какие-то разговорные, какие-то литературные элементы, но именно в меру, а снижение поэтического языка до уровня, скажем, плакатов, стереотипов, уличного жаргона, с одной стороны, и возвышение этого языка до уровня высокой религиозной, метафизической поэзии, — это вызывало административно-эстетический протест. Концептуалистов, которые резко снижали и примитивизировали язык, рассматривали как литературных хулиганов, а поэтов, которые, наоборот, поднимают язык, как это делают метареалисты: Владимир Аристов, Ольга Седакова, Иван Жданов, — их упрекали в книжности, вторичности.

Далее я бы хотел сказать о метареализме. Метареализм — это действительно реализм невидимой, уходящей от глаза, метафизической реальности. Я бы сказал даже, что не надо добавлять приставку «мета», а назвать это течение просто: реализм Парщикова, Аристова, — если бы мы сами реализм не понимали так упрощенно, не сводили к одному только типу реальности, реальности социально-бытовой. Мы не должны делать вид, что реальность нашего времени по степени своей плотности такова же, как, скажем, реальность несколько десятилетий, столетий назад, она гораздо тоньше, она уходит в области инфрареальности или ультрареальности. И соответственно должна усложняться и уточняться материя высказывания, причем поэзия должна идти впереди этого процесса, поэзия не должна ориентироваться на тот вкус и тот уровень понимания, который сложился у основной части населения в результате того, что она осваивает традиционную поэзию, приобщается к грамотности, образованности. Ведь «Евгений Онегин» Пушкина — это произведение, которое в момент своего появления, конечно, было рассчитано на восприятие того аристократического круга, внутри которого Пушкин и имел свою референтную группу ценностей. Я думаю, что крестьянству, о художественном вкусе которого мы сегодня проявляем заботу, эта поэзия была совершенно непонятна со своей концептуальной игрой, со своей сознательной вторично-

стью, отстраненностью, и лишь со временем подобного рода поэзия из авангардного положения переходит в положение нормативности и классичности.

Наконец о разнообразии. У нас долгое время существовал такой термин: «единый поток», в 30-е годы он был выдвинут и до 50-х годов устойчиво держался. Даже не столько термин, сколько девиз, что все литераторы должны плотно сомкнуть свои ряды, все они должны говорить от имени одного народа. Опыт показывает, что когда поэзия или литература становится единым потоком, она в принципе перестает течь, она превращается в лужу океанических размеров, и мне кажется, что новизна нашего времени, этого поколения в том, что оно привносит в поэзию разнообразие не только поэтических индивидуальностей, но разнообразие школ: как я уже сказал, метареализма — устремляющего к мифологическим высотам поэзии, и концептуализма, раскрывающего игру вульгарных схем и примитива в современном сознании.

Существуют и другие поэтические школы — группа «Московское время», «Кристалл» и т. д. Понятие «поэтическая школа» должно быть введено в наш критический арсенал. Нужно еще какое-то промежуточное понятие, чтобы заполнить эту пустующую область между общенациональной литературой и авторской индивидуальностью. Вот такого рода промежуточное понятие и есть «поэтическая школа» или «поэтическое течение». Это коллективная индивидуальность, то есть индивидуальность по отношению к общенациональной литературе в целом и коллектив по отношению к входящим в него творческим личностям. И опыт показывает: где нет этой промежуточной позиции, этой коллективной индивидуальности, там литературный процесс сплющивает сами творческие индивидуальности. Им нужна какая-то переходная зона, где индивидуальность в рамках коллектива могла бы отстаивать право на свое существование. Как раз в противоречиях, взаимодействиях этих литературных школ, мне кажется, заключается энергетический источник, импульс для развития поэзии. Не случайно, что как раз наибольшее количество поэтических индивидуальностей сформировалось в первые два десятилетия нашего века (я имею в виду русскую поэзию), через борьбу разнообразных поэтических школ. Чем больше поэтических направлений: символисты, акмеисты, футуристы, один поэтический цех, другой поэтический цех, тем напряженней и полнее выявляет себя индивидуальность в рамках этих поэтических направлений.

Иными словами, литература движется борьбой внутренних противоречий, каждое поколение вносит свое новое противоречие. Противостояние, скажем, стереотипа и архетипа в современной поэзии — это движущее ее противоречие. Поэтому споры между концептуалистами и метареалистами — это очень плодотворные споры, и они-то как раз ведут к тому, что, на мой взгляд, современная поэзия может породить такое же количество ярких и редких индивидуальностей, какое не рождалось с 20-х годов нашего века.

И последнее. У нас сейчас много спорят об авангардности, традиционности в культуре. Я думаю, что по-настоящему развитая культура включает в себя и авангардные, и традиционалистские течения, которые опять-таки могут быть значимы только в соотношении друг с другом. В иных ситуациях акцент падает на один из этих компонентов; скажем, категория памяти становится определяющей. Сейчас, мне кажется, наступило другое время, когда начинает выступать на первый план категория воображения. И я являюсь в нынешней ситуации сторонником этой позиции. У нас

одно время был действительно дефицит памяти, во имя светлого будущего истребляли традиции, истреблялось прошлое, но сейчас во имя светлого прошлого начинает истребляться то, что движется к будущему, во имя священных традиций уничтожаются или ставятся под сомнение как всякие «авангардистские выходки» или «модернистское безобразие» просто элементы новизны в современной поэзии, опыты отталкивания от традиций. Я считаю, все это должно сосуществовать таким же образом, как сосуществуют разные виды в природе. Экология требует от нас защиты каждого вида, предполагая, что если даже вредный будет истреблен, то вымрет и полезный. Тем более не нам судить, что является вредным и полезным в человеческом общежитии и особенно в поэтической ситуации. От эгоцентризма отдельных направлений нужно перейти к эгоцентризму, то есть к сознанию того, что все эти направления должны существовать вместе, они придают смысл друг другу. Я имею в виду не только охранительную экологию, как сбережение памятников прошлого. Я имею в виду творческую экологию, то есть экологию как сохранение равновесия в существующей, современной культуре. Потому что главная задача — донести до наших потомков живую среду обитания, художественную среду в таком виде, в каком она существует сегодня, не изымать из нее никаких элементов, обесмысливая тем самым другие элементы.

Вопрос. А возможно ли сохранить это?

М. ЭПШТЕЙН: Да, если все печатать. Если посмотреть на альманах — десяток имен, 50 имен. Они не воспринимаются. Мне кажется, сейчас нужно печатать поэзию направлениями, школами. Может быть, это тоже не панацея от всех бед, может быть, это на десятилетие выход. Но когда я увижу в альманахе концептуализм и несколько имен, потом метареализм и несколько имен, я почувствую осмысленность современной литературной ситуации. Никто не заставляет поэтов манифестировать себя в рамках определенного направления, возможны индивидуальности, но почему мы должны бояться такой реальности, как направление? Ведь существуют такие явления, как гнезда, гроздья, созвездия. Почему мы видим только звезды, почему не видим созвездия на своих поэтических небесах?

А. БОБРОВ: В четвертом номере «Юности» напечатаны разные поэты. Ковальджи подводит общую концептуальную основу. Вы считаете такую публикацию близкой к вашему идеалу?

М. ЭПШТЕЙН: На мой взгляд, это эклектическая подборка, здесь все смешано, и она соответствует необходимому, но еще предварительному этапу конца единомыслия, когда возникают множественные альтернативные образования.

Г. ЗАЙЦЕВ: На ваш взгляд, у нас в стране много таких школ, чтобы действительно широко представлять поэтов группами?

В альманах «Поэзия», альманах «Истоки» присылают стихи со всей страны, и редактор не смотрит, кто это — концептуалист или метафорик. Мы смотрим: есть гармония, есть неожиданный поворот, есть идея, есть языковое оформление? Вы, два-три критика, приходите и раскладываете по полочкам: это — то, это — то. Возможно ли вообще реализовать такое предложение и по каким признакам?

М. ЭПШТЕЙН: Естественно, когда к вам приходят рукописи из многих городов, вы не можете их организовать, они должны сами организоваться, но я уверен, что если бы такой тип публикаций был допустим, это стимулировало бы образование подобного рода творческих содружеств во

многих городах. На вопрос, много ли их, я могу назвать три-четыре, но уже идет процесс кристаллизации, это уже растущие кристаллы. И нужно, мне кажется, стимулировать этот процесс, потому что всякое разнообразие, всякое различие работает на богатство поэзии.

Н. ДМИТРИЕВ: А если начнется массовый выпуск манифестов и группировок? И имажинисты могут прибиться, и другие, как вы себе представляете, а ситуация сложилась примерно такая. Как рецензент часто читаю рукописи и вижу, что вокруг проходит процесс кристаллизации объединений, то есть вытаскиваются течения 20-х годов, и шум начинается. Как отличить подделку от эпигона, Рубцова от эпигона отличить легко, а здесь подделку отличить крайне сложно.

М. ЭПШТЕЙН: А как отличали подделки в символической или футуристической среде... Они печатали все, что хотели. Подделки теперь отличаем мы. Это задача другого поколения.

Г. ЗАЙЦЕВ: Здесь, мне кажется, мы очень близко подошли к вопросу о критериях. У нас уже есть опыт, пусть эмпирический опыт, поэтического поколения начала XX века. Сейчас мы начинаем его повторять. Но ведь мы не просто созерцатели, мы участники процесса. Зачем же нам повторять то же самое, причем не самое удачное, но уже в совершенно другом историческом измерении? Сегодня общество, человечество, цивилизация на порядок выше, а мы повторяем тот архаизм, который, как доказано, был проявлением реакции людей искусства на определенную общественную атмосферу. Не уходим ли мы от главного, от сути? Как же вы проецируете современность, наше время на читателя? Вот альманах «Поэзия», цель его — быть необходимым в первую очередь для читателя, не для поэта. Не забывайте: это средство агитации, пропаганды, воспитания, выработки вкуса. И эти функции с нас никто не снимает. Вторая цель — это действительно поиск индивидуальностей, раскрытие их возможностей.

М. ЭПШТЕЙН: Поэт всегда пишет для читателя, писать не для читателя, писать для одного себя он не может; но этот внутренний читатель, конечно, может отличаться, и очень сильно отличаться, от тех читателей, которые существуют реально в данном времени. Это трагическая проблема. Насколько этот внутренний читатель, для которого пишет поэт, совпадает с социально типическим читателем? Я думаю, что он не должен совпадать, иначе этот социально-типический читатель будет лишен какой бы то ни было перспективы своего собственного развития. Наша задача развивать читателя, а не угождать ему. Что касается поэзии начала века, то я не вижу, честно говоря, в ее опыте ничего плохого. Никогда еще русская поэзия, даже золотого пушкинского века, не рождала такого количества крупнейших индивидуальностей, от Блока и Белого до Гумилева и Клюева, от Хлебникова и Маяковского до Мандельштама и Ахматовой. Причем все они рождались в рамках определенных направлений, а потом перерастали их. И было бы неплохо нам усвоить принципы издательской деятельности, свойственные тому плодотворному поэтическому времени: каждому направлению — свой альманах.

Г. КАЛЮЖНЫЙ: Хочу уточнить. В какое время мы живем? Вспомним слова Блока о чувстве пути. В 1972 году мы летели из Иркутска в Ленинград, и впервые я увидел, как горят леса. Горели они от Иркутска до Ленинграда, до Пскова, до Минска — очагами. Тогда у меня родились строки: «Земля — корабль, что бури ждет, и только чувство экипажа ее от гибели спасет...» В них я выразил свое несогласие с мыслью Экзюперы

о том, что мы — пассажиры на одном корабле. Если мы пассажиры на корабле, значит, мы заложники, и мы погибли! Конечно, Экзюпери не ошибся: во время написания этих его строк наша Земля была управляема природой. Мы еще не вырвали, если сказать образно, из ее рук штурвал. Природа управляла нашим кораблем. Алексей Парщиков, говоря о своих товарищах — о Еременко, о Жданове, употребил такую фразу: «Мы живем в мире, который еще недостроен, его надо еще достроить». Я думаю, что мир — построен, думаю, что мы — часть природы, все без исключения, и ни в каких мирах без земной природы существовать не можем. Это очень важно. Поэзия — область исключительно живого мира, и метафорические формулы запутывают нас. Мы воспитывались на формулах: математических, физических, социальных... и не заметили, как ушли с курса, отвернулись от живого. Прозвучала мысль, что литература развивается внутренними противоречиями. Думаю, момент истины здесь есть, но далеко не вся истина: литература, особенно наша, русская, развивается благодаря совестливости: то, как я чувствую, тот идеал, который есть внутри меня, и то, что есть в реальности, вот эта разница расхожесованности и заставляет меня писать. Сюда же входит и сознание того, что наша Земля маленькая, ранимая, что она уничтожаемая, что мы совершенно не слышим друг друга, не понимаем, уходим в какие-то теории. Об этом мои стихи: «Я — поэт аварийного сознания...» Что это за сознание, которое без конца уповает на то, что время покажет, рассудит, объяснит, расставит оценки? Даже самый последний пилот, который, кроме газет, ничего не читает, знает, что время часто показывает, когда уже поздно, когда уже надо собирать в гробы то, что осталось. А мы ведь находимся на корабле, самом реальном, на котором кончается кислород, биотопливо, кончаются леса. Как-то летим над тайгой, а второй пилот мне говорит: «Посмотри, вот видишь залысину километров в 50—60? Лет 10—15 назад ее не было». — «А в чем дело?» — «А вот заводик дымит...» Мы не знаем реального мира. Я писал и еще раз напомним, потому что, например, в фильме «Плотина» говорится, что самолет от Владивостока до Москвы сжигает 40 тонн кислорода. Это ошибка. Только один двигатель моего реактивного самолета сжигает в один час 100 тонн кислорода и 3 тонны керосина, а на самолете — несколько двигателей. За год один гектар соснового леса 40 тонн кислорода вырабатывает. Представляете, в каком мире мы находимся? А мы пускаемся в какие-то теории. Я думаю, что поэзия должна быть прежде всего путеводной. Мы находимся в аварийном мире, то есть в чрезвычайных условиях! Я за то, чтобы мы были разнообразны, за индивидуальность, но необходимо определиться в критериях. Поэтическая мысль отличается от всех остальных — научных, политических, хозяйственных мыслей — только тем, что она рождается из **переживаний**, и самое главное, она может быть понята только в результате **сопереживания**. Из этого вытекает очень многое: поэтическая мысль не может быть абстрактной. Сопереживание — это обратная связь с живым миром. Мы на Земле все взаимосвязаны, и литература должна нас исцелять, литература должна вести к прозрению. И тут нужно, правильно кто-то сказал, ввести какую-то градацию. Скажем, есть поэзия, и есть стихоробика, позторобика, или наукоробика. То есть смотреть, есть там судьба или нет. Я повторяю, что мы живем в двух мирах: механическом и живом мире одновременно. Постоянно путаем истины механического мира с истинами живого. Это страшные вещи. Живые истины для всех — всеобщие. Вот наша Земля, то, что она в аварийном состоянии сейчас находится, — это истина, касающаяся нас

всех. Я не понимаю, зачем рассматривать бактерии с помощью метафор, когда есть микроскопы. Вот Есенин — поэт исключительно живого мира. Он пророчески почувствовал возможность гибели всего живого на Земле: «Каждый стих мой душу зверя лечит», и тем самым определил время на 50—100 лет, отведенное вами для оценок, только такое опережение времени оправданно и необходимо. Мы забываем о том, что поэзия должна врачевать путеводностью.

Н. ДМИТРИЕВ: Сейчас нельзя обрывать ни одной коммуникативной связи. Понимаю, что может существовать такой поэт, как Николай Глазков, который прошел все потрясения, все пережил вместе со страной, но в стихах у него отразилось нечто другое, именно ему присущее. Действительно, такой поэт нужен даже коллективу поэтов. Но в то же время обрывать нити, протянутые через книги, которые связывают нас с народом, тоже нельзя, потому что поэзия должна быть гражданской и социальной, может быть, не в том значении, как Евтушенко понимает, но это совершенно необходимо. Своей поэтикой «новая волна», точнее ее эпигоны в первую очередь больше стараются воздействовать на подкорку, как музыкой. Но музыка по строгому счету не социальна. Например, у Гитлера любимый композитор был Вагнер, и я думаю, что ему и 7-я симфония Шостаковича могла бы понравиться, если бы он не знал... всех обстоятельств ее создания. Но никогда бы Гитлеру не понравилось стихотворение Евтушенко «Хотят ли русские войны?», и об этом никогда не надо забывать.

А. БОБРОВ: О подборке в «Юности» № 4. По-моему, там очень разные поэты собрались. Меня больше всего расстраивает, что это как бы реакция на то, что кого-то не признавали, не печатали. И теперь под эту реакцию, под видом выхода к читателю объединяются самые разные поэты с самыми разными устремлениями, поэтикой. Они начинают объединяться не на той платформе, на которой от века объединялись литераторы и поэты — на идейных, на любых других, на национальных идеалах, на какой-то поэтике, строго выверенной, за которую не жалко жизнь отдать. Я приехал из Белоруссии. Там есть свои большие проблемы в молодой поэзии, но одна из главных проблем, о которой говорилось и на пленуме Союза писателей, — это то, что исчезает язык белорусский, что пора обратиться к белорусской истории, которая тоже есть и которую рассматривали только как придаток то польско-литовской истории, то русской. Они создали свой клуб «Здесьние» по названию до сих пор не изданной пьесы Янки Купалы. (Классик, а тоже не все еще издано!) И я их понимаю. Я понимаю идею, она для меня ясна. Я по крайней мере могу с ними спорить, но и понимаю их идею. А в «Литературке» недавно я увидел какое-то письмо приколотое, где подписи многих присутствующих здесь, и Фахрудинова, Кудимовой... Они перечисляют, какие притеснения у них были в творческой жизни от редакторов, от издателей. Но ведь там нельзя уже поставить подпись Рубцова, у которого вообще была трагическая издательская судьба по сравнению со многими из тех, чьи подписи я увидел. Он первую свою книжку «Звезда полей» не мог выпустить 10 лет, из нее сначала издали 0,6 печатных листа — стихи, которые сейчас во все антологии входят и изданы двадцатимиллионным тиражом. А что же тогда с другими поэтами делать вообще в истории нашей отечественной поэзии? То есть я не понял идею письма. На одном из форумов идея прозвучала — давайте издадим сборник «Неизвестная Москва». В каком смысле неизвестная? А то, что не было опубликовано с 60-х годов! Почему не было опубликовано? Может, это ужасно плохо? Может, не хотел

сам человек публиковать — бывает и так. Это дело поэта. Может быть, это было непроходимо остро, может, ужасно гнусно. Вот если бы была «Неизвестная Москва» — как мы уничтожали Москву как столицу государства русского архитектурно, ее культурную атмосферу. Я понял бы эту идею, то есть самую острую. Время сейчас начинается очень интересное, очень справедливое. Может быть, и группы нужны, но все-таки если думать о том, как публиковать, то мне думается, то многие принципы, которыми объединяются многие группы, якобы творческие, на самом деле совершенно нетворческие. Я считаю, что из той «обоймы» нашумевшей настоящей поэт — это Иван Жданов, и напрасно он с ними выступал, и напрасно разрешает, чтобы его упоминали с этими группами.

Н. КРАСНОВА: Мне понравилась идея Михаила Наумовича Эпштейна — мирного существования разных направлений, и вот Александр Бобров выступил, тоже мне понравилось, как он подходит к поэзии совершенно противоположной — Ивана Жданова. Он разобратся в ней пытается, не отталкивает ее. А как, например, мне в Рязани представлялась эта борьба? Я думала, здесь все дерутся, ходят с кольями, а пришла, смотрю, здесь чай пьют, Бобров не отвергает, задает вопросы Михаилу Эпштейну, то есть нет никакой враждебности, то есть возможно же мирное существование и направлений, и самих поэтов! У Виктора Астафьева в книге «Затеси» говорится об одном острове зверей: у диких зверей есть остров, куда они приходят, одни детей рожают, другие раны залечивают. И всякие разные звери, которые в других условиях враждуют, здесь друг друга не трогают, даже никакого зла нет. Мне кажется, такой остров надо создать для поэтов. Еще интересно: сейчас появился экологический джаз или рок, где используются волчачьи завывания — уже голосом самой природы зывают к человеку. Мы должны уже как бы зверей понимать, а уж тем более люди всегда могут столкнуться. И вот к этому хочется призывать, а идея у нас одна. В «Печальном детективе» жена Сошнина говорит, что идея все та же — это утверждать добро и бороться со злом.

Г. КАЛЮЖНЫЙ: Одна реплика по поводу... Вы говорите, что сейчас главное — это воображение у поэта. Когда я читал публикацию в «Юности», там была цепная реакция метафор. И все это идет на юношество тиражом в 3 миллиона! Страшно, когда теряешь ориентировку. Страшно, когда метафора принимается за цель и уничтожаются какие-то идеалы в человеке. Читатели журнала — люди юные, и они еще не могут понять, что с ними проделывают как бы бескровную операцию по удалению обратной связи с живым миром, с действительностью. Так они перестают развиваться относительно действительности, относительно природы...

М. ЭПШТЕЙН: Жалуются, что новая поэзия механична, немного мертвенна.. Я бы разделял два понятия: машинальность и механичность. В поэзии, скажем, Еременко или Парщикова действует такой прием, как машинальность, а в стихотворениях очень многих «деревенских» поэтов, восторгающихся голубишной неба, все то, что восторгает как идеал поэзии — это механичность. Можно деревом восторгаться механично, можно завести себя на определенный набор эмоций, и вроде бы это эмоции, а на самом деле это чистая механика душевной жизни. Тогда как у концептуалистов, у Парщикова, у Еременко мы видим не механичность, а машинальность, то есть сознательное представление о механичности современного мира. Поэт отдает себе отчет в том, что окружающий мир несет в себе очень много механического. Вот когда он отдает себе в этом отчет, рождается такая поэзия, как у Еременко, а когда поэт восхищается шумом вечнозеленой листвы, он как будто бы стоит на защите живого; на

самом деле он не замечает угрозы, которая кроется в современном мире, и тем самым не может ее преодолеть, не может нащупать трагических, болевых моментов. Идиллическая поэзия, которая выставляет как бы некий идеал живой жизни, на самом деле не жива, потому что живая жизнь, современная жизнь включает в себя и ваши самолеты, и противоречия самой себе, и технику, и то, что убивает эту жизнь. И вот эти поэты отслаивают в жизни те слои, которые представляются механическими, делают это на уровне сознательного поэтического мировоззрения. Тогда как поэты, которые не хотят этого замечать, которые воспевают равнины и тихий пейзаж, как если бы жили в XIX веке,— эти поэты как раз и не могут осознать опасность окружающей жизни...

Г. КРАСНИКОВ: Но разве поэзия Рубцова не трагична в своей сути, хотя она и с пейзажами, и с теми же равнинами, и с теми же березами?

М. ЭПШТЕЙН: Что сказать о поэзии Рубцова? Я не буду выражать своих вкусовых ощущений от этой поэзии, я считаю, что она, к сожалению, еще не доросла, из-за преждевременного ухода поэта, до масштабов полноценного художественного мира. То, что есть у Рубцова, в гораздо большей и высшей степени есть, например, у Есенина, но в то же время нельзя отрицать значимость этого поэта в 60-е годы, когда он действительно впервые как бы изнутри этой гибнущей природы, гибнущей деревни воззвал ее первородным голосом. Но разве только изнутри можно взывать, разве нельзя это делать так, как это делает Еременко?

В. АРИСТОВ: Если возвращаться к вашему вопросу о простоте и сложности в каком-то неформальном смысле, то надо сказать, что я не согласен с Парщиковым, когда он говорит, что его поэзия предназначена менее чем для 10 тысяч, тем самым он сразу ограничивает число читателей. Это не так на самом деле, то есть условия функционирования этой поэзии совершенно неизвестны.

Г. КРАСНИКОВ: Когда вы говорите, что вы против того, чтобы поэты, о которых говорил Парщиков, ограничивали себя заранее узким кругом читателей, что о них уже спорят, их цитируют... Но вы не учитываете одну вещь, что пока они интересны в основном специалистам, они понимаемы, они попадают в разговорный оборот, в сферу теоретиков, таких, как Эпштейн, в сферу критиков, в сферу литераторов, но в жизни, как сказал Парщиков, они сталкиваются с непониманием. И вы не ощущаете собственную трагедию как художник, что вы читаете стихи, а я, читатель, остаюсь за гранью понимания стихов? Вы не ощущаете трагедию, что вы пишете, сами себя замыкая в какое-то узкое пространство?

В. АРИСТОВ: Трагедия нашего времени в том и заключается, что мы должны понять мир как бы сверх нашего понимания, иначе он действительно рассыплется. Наш мир гораздо сложнее, чем просто самолет.

Г. КРАСНИКОВ: Тут было сказано М. Эпштейном, что главным ключевым словом современной поэзии становится воображение. Мне не совсем понятно, почему все-таки память отодвигается на какой-то далекий план и почему она якобы нужна была только на один период времени?... Память всегда была ключевой для литературы, если ее исключить, точно так же надо тогда исключить и нравственность, я говорю сейчас о русской литературе... Поскольку мы следуем традициям русской литературы, то для нас это понятие все-таки ключевое, без него нет ни истории, ни языка, ни гражданственности, ни любви к родине, ни всей нашей поэзии. Есть какие-то вечные, неизменные понятия, а воображение в общем-то для меня дело десятое. Есенина очень трудно переводить на другой язык, точно так же, как вообще настоящих поэтов очень трудно переводить на

другие языки, а вот поэзия, о которой вы говорите, вокруг которой вы теоретизируете, легко переводима. Не получим ли мы в результате всей вашей работы какую-то надземную поэзию, у которой нет ни родины, ни земли, ни почвы, ни корней, ничего?..

М. ЭПШТЕЙН: Последнее время постоянно, когда рассуждают о поэзии, о литературе, о духовности, употребляют слово «корень». Я согласен, что поэзия растет из национальных корней, но если проводить это сравнение до конца, если исходить из того, что поэзия действительно есть нечто органическое, то почему не считать, что поэзия растет из национальных корней и устремляется к надмирности, к небу...

Г. КРАСНИКОВ: Я процитирую вам Пушкина: «Чем ближе к небу, тем холоднее». Это очень точно определяет ту поэзию, о которой вы говорите...

М. ЭПШТЕЙН: Правильно, у поэзии должны быть и горные высоты духа, и теплота почвы, и та поэзия, которая имеет только почву, только корень, вырастающий сам в себя, — она неполноценна, этнографична: Поэзия растет из почвы, а не в почву, и значит — куда-то выше, следуя ходу всего живого, растущего, туда, где объединяется кругозор всех народов.

Теперь о том, что может объединять нынешних поэтов. Я бы выдвинул две такие категории. Первая — это духовность, а вторая — это литература. Что такое духовность? Я представляю, что духовность состоит из следующих основных возможностей или стремлений. Она включает в себя обязательно память и воображение как необходимые, взаимодополнительные свойства, которые означают, что человек принадлежит не только к настоящему, в котором он пребывает физически, но принадлежит одновременно и прошлому и будущему. В этом смысле память и воображение равнозначны, равноправны, поскольку выводят человека из чисто животного состояния и как раз образуют сферу духовности. Я не утверждаю, что память должна быть вычеркнута, а на ее место поставлено воображение. Я просто хочу сказать, что в 70-е годы приоритет закрепился исключительно за памятью, слово «воображение» вообще в критических статьях не мелькало, между тем мы живем в то время, когда именно воображение предупреждает нас об опасностях, грозящих миру, именно воображение является резонатором наших эсхатологических предчувствий, нашей апокалиптической тревоги. Мне кажется, что сейчас мы вступаем в полосу очищенного воображения, которое улавливает подлинные структуры грядущего мира, а не подчиняет это будущее превратным доктринерским формулам. Сейчас, освобожденные от утопических догматов, мы можем улавливать будущее в его творческой новизне. Вот о каком воображении я говорю. И еще два необходимых свойства духовности — это сострадание, сопереживание, о котором здесь говорилось, и самоосознание. Опять-таки мы искусственно их противопоставляем. Нельзя постигать другого как себя, не постигая себя как другого.

Итак, есть поэзия сопереживания, о которой говорил Григорий Калужный, и должна быть, не может не существовать и поэзия самосознания, как, например, у концептуалистов, которые очень остро, резко и четко осознают тот искаженный мир, в котором мы живем. Нельзя только претендовать на монополию духовности. Мы уже убедились, что даже в экономических вопросах монополия ведомства, даже монополия государства оказывается непродуктивной, тем более это относится к сфере духовности. Нельзя одному направлению претендовать и устраивать себе

монополию на духовность. Духовность, еще раз повторяю, сочетает в себе память и воображение, самосознание и сопереживание, вместе они образуют поле духовности.

И второе — можно сказать, что новое поколение поэтов объединяется идеалом литературы. Та ситуация, в которой наша литература существовала в 30—50-е годы, не была литературной ситуацией, это была фольклорная ситуация, мы построили как бы новое общество, которое возвратилось на определенном этапе к тому же состоянию социальной и культурной однородности, какая существовала в обществах, производящих фольклор, а не литературу. И мне представляется, что многие поэты 30-х, 40-х годов, такие, как Сурков, Исаковский, — это не поэты в смысле литературы, они скорее аэды или рапсоды, то есть носители фольклорного сознания, они писали сразу для всего народа и выражали непосредственно весь народ. Эта ситуация культурной однородности является не литературной, а фольклорной, и мы до сих пор еще переносим наши стереотипы фольклорного сознания на теперешнюю ситуацию, которая в силу своего растущего плюрализма становится продуктивной именно для литературы, индивидуального творчества. Пришла пора избавиться от штампов фольклорного сознания: я выражаю весь народ, и весь народ слушает меня...

Св. КОТЕНКО: Я долго терпел, хотя люблю спорить... Мне очень жаль, что в начале разговора было потоплено робкое слово о слове. Все-таки орудие поэта — это не его мысли, не его начитанность, не его эрудиционная оснащенность, а слово, национальное слово. Оно достаточно устойчиво, если посмотрим на все пертурбации XX века. Они могут показаться фантастическими, а посмотрите, как экономно и достаточно разумно все их удалось описать в системе словесности. И все-таки перед поэтом как перед профессионалом прежде всего должно лежать слово. Что можно от себя предложить слову? От себя, конечно, только свою индивидуальность, то, каким ты сложился в своем отношении к миру. И вот при столкновении со словом, со словесностью, с традицией того, что у тебя накоплено на душе, выясняется, есть от тебя прок или нет. Тут говорили, что поэзия проблемы ставит... Поэзия всегда, в общем-то, «душевная отрада», то есть убеждение себя и другого: жизнь — она на своем месте, она продолжается, она устойчива. Чем сложнее мы придем к этому, тем лучше. Если мы к этому не придем, то, видимо, и задача уйдет из области поэтической. У нас действительно к жизни может быть много претензий. Если мы их не преодолеем на пути к поэтическому произведению, то, видимо, от нас останутся лишь наши черновики. Здесь разные люди собирались, но все скоро согласились, что в основном надо зафиксировать болевые точки, зафиксировать какие-то свои тревоги. Я не думаю, что это нужно читателю. Читатель будет вас на руках носить за то, что вы ему правду-матку режете. А поэзия от этого вперед никуда не двинется. Да, действительно, у нас читатель не ахти какой, его вкус испорчен не только дурной литературой, но и теми сложностями жизни, которые над народом разразились. Мне удобнее не из поэзии взять пример, а из кино. Кстати, немного мне было жалко, что мы как-то совсем замкнулись на поэзии, о литературе еще вспоминали, но есть же еще художественная, эстетическая жизнь народа, конкретный эстетический мир... Я хотел бы два слова сказать по поводу фильма «Покаяние». Я глубоко убежден, что фильм, который бьет все кассовые показатели, он также массово не понимается, — «про что это такое», — и что это фильм отнюдь не о прошлом и о некоторых искривлениях, а в общем-то это размышления сегодняшнего

культурного человека о сегодняшних проблемах. И хотя фильм задержали на два года с выходом, я его смотрел как современный. Это поэтический фильм, весь построенный на поэтических законах. И я не думаю, что сегодня нельзя протянуть линию от Пушкина и Белинского, для которых поэтическое отнюдь не было эпитетом только того, что написано стихами, а относилось ко всей эстетической продукции нации. Все, что несло в себе художественный образ, здоровое, остающееся с народом искусство, все это действительно было поэтическим, нечто утверждало, утверждало иногда через трагические метания, и я боюсь, что мы сегодня не можем сказать, что у нас полно Достоевских, сложности человеческой натуры, понятные ему, боюсь, многим сегодня непонятны. И даже более того: какой-то технизм, ссылки на науку и т. д.— они пытаются упростить ситуацию, вынести сложности из человека на какие-то внешние признаки. А человек на уровне Горация уже был достаточно сложным, и все сложности человеческие заключались в нем. Естественно, в каждую эпоху они имеют какие-то свои внешние признаки, антураж может и должен по необходимости меняться, а мерилom все равно остается человек.

Была сказана фраза о конечных целях истории в том смысле, что человечество тоже может быть конечно. Возможно, и так, тем более тогда конечна и литература, потому что она может существовать, пока есть с кем разговаривать. Не хотелось бы быть понятным вульгарно. Вот такое, скажем, соображение: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть». Это не предполагает только одного-единственного собеседника, можно разговаривать со многими поодиночке... И мне не видится возможность утешения в том, чтобы разойтись по группам. Конечно, та система объединения, которая существует в Союзе писателей,— просто безобразия. Если ты поэт — ты в одной секции, если прозаик — в другой. Конечно, у людей есть другие точки соприкосновения, и если человек однажды пишет в одном жанре, а наутро в другом, то от этого раздвоения его писательской личности не должно происходить. Почему я опасюсь всех этих объединений? Объединение — это значит какое-то сужение. Но оно не существует просто как набор атомов в молекуле. В объединении есть свои лидеры, свой этикет, в котором как раз могут быть подавлены, снивелированы индивидуальности, и тут говорилось, исходя из опыта прошлого, что поэты вырастали не благодаря коллективным позициям, а вопреки им. Прежде всего, мне казалось, нужно говорить о судьбе — и в этой дискуссии, и во всей поэзии. Хочу сказать о поколении. Поколение есть, и, к сожалению, оно боится разговаривать. Оно боится своей личности, выложить ее на стол, на страницу выложить, на народный позор. Я понимаю, есть объективные причины, что самое сладкое время созревания пришлось на 70-е годы, которые никак не способствовали расцвету оригинальной творческой личности. Я не говорю, что это совсем выморочное поколение, что все одинаково пострадали от этого вынужденного молчания... И мне кажется, если бы вы это сознавали, вам было бы легче. Не проклиная свою судьбу, но понимая, что, может, вам не очень повезло, может быть, в 20-е годы было веселее. Хотя не знаю, у меня появилась такая метафора: в 20-е годы люди тоже договориться не могли, и вряд ли Хлебникова рекомендовали бы к изданию. Поэтому, может, не надо набрасываться друг на друга, но спрашивать друг с друга надо, а ориентир все же остается, но он остается сзади. Если просто колени преклоненно лобызать прошлое, то грош нам цена как творцам. Но

если мы совершенно произвольно хотим что-то сконструировать, поминная — а что было раньше, кому это было нужно, — появляется риск больших отходов. Конечно, по объективной справедливости — жизнь существует, есть страна, народ. Впереди у нас что остается? Опять восхождение к фольклору, то есть восхождение к народному поэту. К счастью, в России это не звание почетное, оно не раздается, но идеал народного поэта все-таки хранится. Я понимаю относительно Суркова, его поэзия к фольклору никакого отношения не имеет, а вот говорить о Твардовском как о человеке, который соизмерял себя с фольклором, легко. А сегодня поэтов такого калибра поколение не выдвигает. Мне кажется, из-за какого-то испуга, и из-за обиды на то, что вам словно не дали развернуться, как удалось выскочить где-то на рубеже 50—60-х годов некоторой поэтической компании. Та компания была тоже очень пестрая, и многие и спестрились потом. Я не думаю, что нужно завидовать. Происходит путаница двух понятий: или мы говорим только об издательских проблемах, или говорим о проблемах становления авторов. Писатели делятся на две категории: которые умеют хорошо писать и хорошо издаваться. Если мы говорим насчет хорошо писать, то я думаю, что здесь есть запал, и надо хорошо писать, хорошо не для себя, не для своей группировки, а ощущая, что людям смог, сказал, сколько сможешь, а издательская судьба все-таки не должна захлестывать. И слава богу, что здесь не так, как в кафе на Арбате, где устраивалось собрание молодых писателей, — там речь шла в основном о том, как бы напечататься. Это были первые вспышки перестройки, а теперь мы начинаем рассуждать: печататься можно, а стоит ли? А может быть, какие-то стихи у меня самого полежали бы, чтобы не спешить. Я не знаю, правда ли есть такие терпеливые. Поэт, конечно, для того и пишет, чтобы его услышали. И если заранее ставить цель, что его не поймут, то вряд ли что-то получится. Другое дело, что он в силу своей индивидуальности, если он честно будет писать, напишет, может быть, сложно, может быть, у него будет мало читателей и на первый раз и на потом. Я не могу сказать, что сегодня массово читают Тютчева, но без Тютчева русскую поэзию нельзя себе представить. Так вот мне бы хотелось, чтобы не опускались на колени, не подлизывались ни к читателю, ни к издателю. Может быть, издадут, может быть, нет, но круг интересов поэтов все-таки должен быть, конечно, разнообразней, чтобы глубже сказать. Это можно назвать духовностью, но духовность может быть тоже под разным знаком. Если вспомнить русскую историю, то было время самосожжений. Очень многие, искренно веря в благость своего действия, массово, дружно или по группировкам устраивали самосожжения. Это был тупиковый ход. Тупиковых ходов в национальной истории очень много. Вынужденного было очень много, и были тупиковые ходы не только в столь отдаленной истории... Будут возникать и другие, и все же это тоже, в общем-то, исторический ход народной судьбы.

В. КОРКИЯ: Мы привыкли, что гражданственность — это высказывание какой-то определенной позиции: если касаться Некрасова, мы очень благодарны ему, что он в свое время ставил вопрос о гражданской позиции. Мы находимся в другом клубке противоречий. Может быть, сейчас гражданственность в поэзии — это попытка высказать не общественную позицию, которая у нас, у многих практически совпадает, а попытаться выразить через себя общественные противоречия, и вот это, может быть, является миссией поэта. Два слова о четвертом номере. Поскольку я работаю в «Юности», то тоже несу ответственность за этот номер. Я пони-

маю прекрасно, что стихи, которые там опубликованы, многим не понравятся и кого-то оставят в недоумении. Я считаю, и редакция тоже, что этой публикацией была заполнена некая поэтическая ниша, которая пустовала по каким-то внелитературным обстоятельствам. Мы, конечно, можем принимать эти стихи, можем не принимать, кстати, мне многие вещи не очень близки, но дело в том, что если мы будем просто исключать из рассмотрения реально существующих поэтов, которые уже оказывают реальное воздействие на других поэтов, мы тем самым не совершаем хороший поступок, потому что запретный плод сладок, и влияние будет еще более усиливаться...

С. АГАЛЬЦОВ: Что мне, не метафорику, показалось странным в ваших, Михаил Наумович, теоретических построениях? Когда я слушаю ваши теоретизирования, то у меня создается впечатление, что ваша теория напоминает кубик Рубика, о котором уже здесь говорилось. Известен принцип: надо с помощью какой-то комбинации на одной грани из определенных ячеек какого-то цвета составить определенный фон. Вначале вы создали такой фон и сказали, что во главу угла сейчас у современных поэтов ставится воображение, затем, когда пытались ваше мнение опспорить, вы мгновенно с помощью аналогичных манипуляций создали разнообразный фон, в котором присутствуют ячейки памяти и ячейки воображения. Я бы не стал соглашаться с тем, что наша память строится на воображении. Отнюдь не на воображении. Почему память, даже в этой комбинации, для Михаила Наумовича оказалась вторичной? Почему? Да потому, что он опять отдавал примат воображению, потому, что категория памяти опрокидывает многое из того, что создано художественной практикой возглавляемого вами течения. Память, как уже говорилось, это прежде всего чувство Родины, а чувство Родины не может быть без чувства боли, а стихи, если это истинная поэзия, пишутся болью, а не чем либо иным. Вы же здесь утверждали, что стихи создаются с помощью метафор-метабола, то есть вы подменяли мистификацией поэзию. Безусловно, всем известно стихотворение Заболоцкого. Мне кажется, оно было бы здесь уместно, Заболоцкий как раз сказал о том, что составляет существо поэзии метафорики. Помните?

Любопытно, забавно и тонко:
Стих, почти не похожий на стих.
Бормотанье сверчка и ребенка
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи
Изошренность известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды
Нашим выдумкам, ибо она

Не для тех, кто, играя в шарady,
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,

Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Такого языка я у метафориков не вижу. Вы сейчас находитесь в таком зрелом возрасте, когда это просто кажется забавами и шарадами. Дай бог, чтобы все это вы опровергли. По-моему, здесь все стараются друг друга понять. И в журналах всех стараются печатать, особенно сейчас. Для чего это нужно? Чтобы убедиться, голые короли или не голые. Если бы у меня была такая возможность, я бы вас тоже печатал. Затем опять кубик Рубика возникает. Вы говорили о том, чтобы разрешить полнокровно развиваться всем поэтическим направлениям. Но когда слышались возражения, то вы мгновенно заменили термин «направление» термином «неоднородность». От литературного течения до групп, как вы знаете, всего один шаг. А мы знаем, что многие литературные течения после революции благополучно продолжали развиваться, и к чему это привело? Многие литературные группы и многие направления были просто-напросто побиваемы камнями. Вспомним крестьянских поэтов, которые находились в загоне, а многие трагически погибли, в том числе в результате травли другими направлениями. Думаю, что этого вы отрицать не станете.

Мы собрались здесь для того, чтобы уяснить, что молодое поколение сделало для современной литературы, современной поэзии. Ведущие поэты этого поэтического поколения, к ним бы я отнес Николая Дмитриева, мне кажется, сейчас стоят накануне создания своих главных художественных ценностей. Что помешало создать эти художественные ценности раньше? То, что очень долго к ним относились как к молодым поэтам, и им была навязана психология молодых, у них сложился комплекс молодых поэтов. Но ведь известно, что искусство беспощадно, и многие из поколения, а слава богу, на страницах журналов и газет вспоминалось, может быть, 40—50 имен, не уцелеют в истории поэзии. Это безусловно. И многие рассуждали так: пусть я буду оставаться в поле зрения в 40 лет в качестве молодого, только бы оставаться в центре внимания. Наиболее совестливые из поэтов призывали к тому, чтобы о них говорили по самому строгому, по самому большому счету. Сейчас назрела острая необходимость поговорить об этом поколении без всяких скидок, всерьез и по-настоящему выяснить: кто есть кто? В сравнении познается истина. Я, например, с нетерпением жду книгу Николая Дмитриева, которая выходит в «Современнике». С нетерпением и надеждой.

С. НЕБОЛЬСИН: Общий итог, касающийся всего, что было сказано, но не исчерпывающий всего, я могу подвести вот каким списком. Слова, которые чаще всего звучали в нашей беседе, кроме слов «поэзия», «поэт», кроме междометий и вставных оборотов или речений, типа «вот», «да», это — экология, ситуация, структура, экстремальная ситуация, клише, синтез, бактерия, в последний момент слово «ячейка» подряд несколько раз было сказано, причем «ячейка» в технизированном смысле. Не какая-то классическая ячейка пчелы, «ячейка руки», в которую закладывается мячик — это не то же самое, что просто ребенок, играющий

в лапту, а ячейка чего-то исчисленного. Я думаю, что это бросает свет на сегодняшнее наше состояние хотя бы в чисто словарном отношении. Конечно, насыщенность нашего разговора этими словами о чем-то говорит, касается вопросов о поколении, касается того, чем народ отличается от населения, например, подлежащего переписи... И еще, насколько я заметил, в нашем разговоре среди поэтических имен чаще всего звучало слово «Блок», а из того, что имеет отношение к живой природе,— это слово «волк», «по-волчьи» и «волчачьи». Роль критика была умно указана Михаилом Наумовичем — развивать тех, к кому он обращается, а не угождать им. И это тоже неполно, но что-то более строгое и требовательное, чем угождение, конечно, в критике должно быть. Я бы сказал, что критик и должен быть тем самым общественным волком — санитаром, безжалостно устранившим из нашей жизни то, что там излишне. Волков бояться совершенно не надо, потому что никогда, развиваясь по своим законам, природа целиком не истребляла овец и критика, толкователи — есть что-то упорядочивающее и в этом смысле созидательное.

Я думаю, что прежде всего следовало бы устранить представление о чересчур большой дробности сменяющих друг друга поколений и эпох. Соблазнительно объявлять новое поколение и объявлять новые эпохи, потому что можно быстро подстраивать к обновлению якобы новые концепции, конечно, пошарив в старых сусеках,— потому что эти новые обоснования были уже давно заготовлены человечеством, а с другой стороны, чтобы не узнали в старом старом. Соблазнительно, но эпох не так много, как мы думаем. Была языческая эпоха с ее величайшими достижениями и с представлениями. Была послезычаящая эпоха, почти две тысячи лет назад возникшая, которая утверждала, что каждый человек и зависим от всеобщего, и полностью ответствен перед ним. Потом и в других направлениях возникали эпохи, не побоюсь этого странного слова, абсолютного достоинства, по крайней мере в смысле заявления насчет того, что они хотят открыть для человечества, и в этом смысле 70 лет назад какое-то абсолютное начало состоялось. Если две тысячи лет назад было сказано, что вне зависимости от национальности, крови все люди объединяются единой, совершенно непреложной и вечной истиной, то 70 лет назад это абсолютное заявлено было относительно равенства людей, устранения всяческих преимуществ толстопузых, «главных» и т. д. Удалось, не удалось на этом пути, но мы точно знаем еще по опыту тех, кто прикосновенен был к тому времени, что было честное всенародное заявление, что так и должно быть, если мир хочет быть устроен справедливо. И это не противоречило двухтысячелетнему опыту, той идее, которая тогда давно сложилась и продолжала существовать. 70-летняя давность вроде невелика, но я думаю, что, кроме 41—45-го годов, ничего такого чрезвычайного, эпохального в нашей жизни не произошло, что бы позволяло с лихорадочной частотой объявлять о поколениях. Я не сторонник этой частоты. Говорим о том, что на наших глазах создано $\frac{9}{10}$ Москвы. Верно. Или $\frac{5}{6}$. Но знаете, в V веке до нашей эры на глазах у одного поколения была создана вся классическая Греция, по сути,— как в скульптуре, как в поэзии и в драматическом искусстве, с ее блестящим спортом, здоровьем и многими другими измерениями бытия. На глазах одного поколения. А мы говорим, что наша эпоха тем отличается, к примеру, что она, страшно ускорив развитие, на наших глазах создала новую Москву. Но разве новые $\frac{5}{6}$ Москвы содержательнее античной Греции?

У нас есть много поэтов сейчас, и я думаю, что есть художники слова из более старших, которые бы вполне одобрили то единство поэтов, которое здесь обсуждают: еще бы — сами-то они уже давно на уровне многонационального сознания, способного заглянуть в иные миры, побывав в зарубежных барах, на кортах, полетах на лайнерах, попав к эскимосам и поговорив с ними, к эскимосам, конечно, не нашим, а которые живут на Аляске... Но идти за одобрением к такой — право, не античной — культуре не лучший путь.

Что мне кажется любопытным в нынешнем кружке «молодых», в заявлениях о том, что он есть поколение особое? Увлечение идеей синтеза, увлечение вопросами экологии; даже если назвать ее по-другому — охраной среды и не цепляться за то, что у нас словарь такой элегантный, все равно эта тревога и эти заботы об одиноко стоящей совести показательны для тех, о ком мы говорим. Здесь есть безусловная честность, безусловная совестливость, безусловное доверие к синтетическому, своеобразный язык, где звучат слова не только «структура», но и «построение структуры», «положение», то есть ситуация; «имэж» вместо «имаж» — «имидж» (все это я слышал сегодня) и т. д. Все это характеристики поколения, его синтетического вещества, а не только речи.

Не знаю, насколько это исчерпывает, передает состояние всего нашего общезнания, но, конечно, свойственны нашему времени две вещи: одна вещь — это одичание, собирание людей из человеческих сообществ в стаи, которые могут по поводу человеческих интересов выступать как стая музыкальных, кинематографических, эстрадных, спортивных каких-то сообществ, как Пушкин говорил когда-то: «Толпа вошла, толпа вломилась, и ты невольно устыдилась и тайн, и жертв доступных ей». А с другой стороны, упрощение. Как ни странно, но одним из видов упрощения, возможно, наиболее сложным, является интеллектуализация, то есть облечение человечески живого и целостного в некую плазму, «организуемую» лишь терминами, очень краткосрочными, но вроде точными и импозантными. Есть много других видов упрощения. Нам свойственна также, и свойственна нам всем, забота о среде, и было замечено здесь очень правильно, что мы производим или делаем то, что нас разрушает. Эта тревога есть у тех, кого мы сегодня обсуждали, и хорошо, что она есть. Я думаю, что некоторые страхи здесь преувеличены (некоторые страхи тех, кто называет себя поколением), они пораженческими, что ли, выглядят. Представьте себе, что змея, угрожающая леденящим взглядом, смотрит на существо, которое появляется вблизи нее, — мышшь тут же приходит в состояние паралича. И мышшь может, если прибегнуть к способности воображения, внезапно написать стихи — о том, как она сейчас погибнет. Но возможен человек, который берет змею и, скажем, или откручивает ей голову, либо, тоже неглупо и тоже полезно, берет змею и медленно, по капельке, из нее выдавливает яд на пользу человечеству. Яд может быть полезен, только надо умело держать змею, не дать ей изрыгнуть яд прямо в тебя. Таков металл, в каком-то смысле являющийся ядом, и таково, конечно же, изобилие отходов человеческой деятельности, которое нас окружает: все синтетическое, пластмассовое — обрывки газет с типографской краской — предмет вдохновения наших поэтов, такие стихи у них есть. Газеты, конечно, истлеют в почве в каком-нибудь Измайловском или Битцевском парке, а типографская краска уже не даст произрасти ни ландышам, ни грибам, ибо более опасна в этих обрывках газет, чем сама эта бумага, чем текст, может быть. Я, конечно, в области образов — ибо я не все газетные тексты хотел бы подвергнуть со-

мнению. Мне кажется, что такое — в художественной деятельности — сознание людей, которое заморожено избытком угроз, есть податливое, что ли, намерение либо склонность — эстетизировать эти угрозы, обживать их, одомашнивать и вводить в мир культуры. Вот эти отбросы, которые валяются вокруг и которые очень неприятны, они никакого отношения к культуре не имеют. Однако вчера я видел по телевизору, что какие-то мальчики насобирали 6600 американских банок и сделали дома выставку. Между этими мальчиками и поэтами, которые употребляют через каждую строчку слово «ситуация» или слова «экология», «биология», «ячейка», «синтез» и т. д., принципиальной разницы нет. То, что не является культурой, уже обжито, обласкано, эстетизировано. То, что является хаосом, регламентировано и в этом одомашненном виде введено в культуру. Не это ли является тем, что нас тревожит, замутнением источников поэзии или, по крайней мере, потока прекрасного, включением в поток прекрасного этих всяческих эмульсий, синтезов, слов, облекающих эти эмульсионно-синтетическо-химические явления. Думаю, что это окультуривание и регламентация хаоса есть довольно мирное сожительство с ним.

В. КОРКИЯ: А выход какой вы предлагаете? Не замечать, бороться? Ведь это существует в жизни, как с этим быть?

С. НЕБОЛЬСИН: Я думаю, что есть пример того, как искать выход. Помните, как 1900 с лишним лет назад относительно того, как хаос пытается внедриться в душу человека и как душа с ним борется, были сказаны слова «не входи сюда!» и «отыди от меня, сатана!». И поскольку это слово было поэтическим к тому же, то сатана тут же в какую-то свиную стаю вселился и рухнул, сильно разбежавшись, с обрыва. Зачем настаивать на эlegantности хаоса? Его избличение, отстранение от себя, от мира и спихивание его в эту пропасть лучше и нужнее человечеству, чем обласкивание всего этого хаоса эlegantным словарным обихоживанием. Вторая возможность: это хорошо знать то (а из нашей жизни оно еще не исчезло), что нас не разрушает. Полезно и хорошо знать, что люди, делающие то, что нас не разрушает, есть. Извините меня за крайнюю вульгарность, но простое молоко, не порошковое, нас не разрушает, и тем из нас, кто в детстве ласкал и видел ягнят, цыплят не из инкубатора, слава богу, повезло, и слава богу, если каждый из нас вблизи видел цыплят и ягнят, а не страусят, паучат и иных обитателей зоосада — опорного пункта воспитателей наших детей. Наш жизненный путь может быть несостоятельным в творческом смысле, но если мы своих детей подальше от хаоса и поближе хотя бы духовно к незоосадским животным воспитаем, подальше от тарантулов... А если опыт производства того, что нас не разрушает, исчезает, зачем выводить его из своей поэзии. Для того чтобы за этот опыт бороться, нужна, извиняюсь за вульгарность, действительно гражданственность. Не нужно особой гражданственности, чтобы написать, как ты слушаешь магнитофон, рядом с тобой радар какой-то и световые лучи, хотя, понятно, какая-то тревога в этом есть, но чтобы бороться за неустранимость естественного, которое еще не исчезло, действительно гражданственность нужна. Ну а то поколение, которое сейчас выросло без этого, оно выросло в обществе не только порошкового молока, но и в обществе Лившица и Левенбука, радионяни, заменившей Арину Родионовну, но отнюдь не убедившей нас, что Арина Родионовна устарела... Вот это поколение, конечно, обкрадено, но никогда не поздно к норме вернуться. Нам, может быть, очень трудно сейчас примкнуть к античной мудрости в оригинале, но к самому естественному, что существует живо,

примкнуть нетрудно. И, конечно, это нужно всяческими и в том числе силами гражданственного слова сохранять для наших детей... Это полезнее, чем выглядеть импозантными «детьми нашего технологизированного века».

Июнь, 1987 год

**«Круглый стол» подготовили и провели
Г. Красников,
Н. Депарма**

СЕРГЕЙ АГАЛЬЦОВ

Родился в 1954 году в селе Сарай Рязанской области. Окончил Рязанский педагогический институт. Работал учителем на Дальнем Востоке, на Рязанщине, в Туркмении.

Стихи публиковались в журнале «Новый мир», в альманахе «Истоки», «Поэзия», «День поэзии», в журнале «Студенческий меридиан», «Смена», в газете «Советская Россия». Автор поэтических сборников «Утренний проселок» и «Шиповник». Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей.

* * *

Ветер проносит отряды
Мрачно мерцающих туч.
Хоть бы немного отрады
Бросил нам солнечный луч,
Хмурую даль озаряя.
Тщетно!

Опять зарядил,
Долбит по крыше сарая
Дождь, не жалеючи сил.

Грусть...

Но светло на досуге,
Глядя в окно, уповать,
Что на весенние круги
Ветер вернется опять.

* * *

К вокзалу этому привыкший,
В счастливый миг, когда-нибудь,

На электричке, что до Икши,
Весь мир любя, отправлюсь в путь.

Во мгле вечерней бойко, быстро
Помчит меня электровоз,
О рельсы высекая искры,
Среди мерцающих берез.

И я, к стеклу прильнув удобней,
Увижу первую звезду,
Большое небо.

А под Лобней,
Чтоб видеть мир ночной
подробней,

В снега зыбучие сойду
Сверкающего Подмосковья —
И зазвучит в груди сильней:

Оно душою стало, кровью,
Твоей тревогою, любовью,
И — надо же! —
судьбой твоей.

* * *

Под сенью тихой вечного покоя,
Где умолкает самый дерзкий дух,
Где всюду — тишь, безмолвье вековое,
Где смертный завершает жизни круг —

Питомцы многих славных поколений
Последнее пристанище нашли...
Не оттого ль не отыскать священной,
Роднее и запущенной земли.

Не оттого ль цветы чертополоха
Так ярко расцветают только тут,
Чтоб помнила прекрасная эпоха,
Что и ее могилы зарастут.

Когда не воздадим любовью предкам,
Все русское утратим без следа —
То грош цена великим пятилеткам,
Шуметь над ними будет лебеда.

Шло чередом обычным погребеньем.
С кустов срывалась ржавая листва,
И, освящая каждое мгновенье,
Звучали тихо вечные слова

О человеке, завершившем битвы,
Что был теперь к словам прощанья глух.
Но возносились к небесам молитвы
У гроба в стайку сбившихся старух.

* * *

Родина!
 Не счесть великих строек,
Что возносятся в небо этажи,
На просторах,
 где навеки стоек
Дух бензина над раздольем ржи.

Родина!
 Послушай!
 Даже вьюга
Плачет о просторе голубом,

Меж больших домов мечась с испуга,
В каменные стены бьется лбом.

В царстве из бетона и металла
Новостройки, взгляд куда ни кинь.
Родина!

Немало разметала,
Растоптала ты своих святынь.

Грубой волей все перековеркав,
Что за сила темная прошлась!
Даже белокаменная церковь
Из руин своих не поднялась...

Родина!

Кто посягнул на это?
Кто в душе посеял гнев и грусть?
...Затаилась, не дает ответа
На такой вопрос святая Русь.

* * *

Запах прелого сена. Подтаявших кровель.
Это все для меня

за ночь март приготовил.
Только выглянул я на крыльцо,
Только тусклый ледок я ногою проверил —
И почувствовал вдруг, словно ветер повеял
Духом талой землицы в лицо.

Там, где снег возлежал, белизною кристален,
Как заплаты на шубе, разводы проталин.

Размывается след колеи.
На обрыве оврага, и жалки и кривы,
Кое-как прилепились корявые ивы —
Тянут бедные ветки свои.

Сколько в жесте отчаянном боли и муки!
Как мне хочется взять их за голые руки!

Как мне хочется их увести
От беды неминуемой в широкое поле,
Чтоб листвою они шелестели на воле
И могли безмятежно расти.

* * *

Зной нестерпимый. Бреду по дороге.
Мальчик у дома сидит на пороге.
Щурясь, глядит на меня,
Словно на диво какое иль чудо.
— Дяденька, знаю я, вы не отсюда.
Что ж вас не встретит родня?

Если окрестность совсем незнакома,
Я провожу вас до самого дома.—
Что мне сказать — не найду.
Нет у меня здесь ни брата ни свата.
Ну а могилы, что дороги, святы,
Как-нибудь сам я найду.

Не подавить мне в душе укоризну.
Коль приезжал сюда — значит, на тризну.
Близких уж нет никого.
Не оттого ль среди зноя за ворот
Тихо пополз обжигающий холод
Вдруг от вопроса его?

* * *

Где моей жизни вчерашней
В поле теряется след,
Ровно струится над пашней
Тихий торжественный свет.

...Вновь за картиной картины
В памяти встанут моей.
Речка. Гремящие льдины.
Светы вечерних огней.

Желтый подточенный берег:
В речке вода высока.
Я не грущу о потерях.
Память, как волны, легка.

Радуюсь жизни, как чуду.
Лишь через годы, потом
В ночи бессонные буду
Молча сидеть за столом.

Думать о траурных датах,
Глядя в предутренний сад,

О невозможных утратах —
Тех, что еще предстоят...

* * *

Как вокруг высоко и широко!
И невольно выдохнется вдруг:
Век живи — и не насытишь око,
Век живи — и не наполнишь слух.

Льется в душу тихий свет
осенний.

Не стыдись меня
объяснивших чувств,
Опустишь у поля на колени,
За жнивье колючее схвачусь.

Но опять окину взглядом
местность,

Где я рос у пашен и берез,
И пойму всю фальшь
и неуместность
Театральных жестов, чувств и поз.

* * *

Меж выбитыми колеями
Цветок неприхотливый в яме,
Дождями вырытой, цветет.
Когда над ним идут машины,
Смертельное дыханье шины
Его к земле со свистом гнет.

Но — погляди! — он не увянет.
И через миг опять воспрянет
Всему назло. Вот он каков!
И если солнышко — ликует,
И в дождик — тоже не тоскует —
Звенят двенадцать лепестков.

Учусь у хрупкого растенья,
Превозмогая потрясенья,
Неистребимой жажде — жить,
Ликуя иль скорбя глубоко,
Как будто бы зеницей ока,
Мгновеньем каждым дорожить.

ВЛАДИМИР АРИСТОВ

Родился в 1950 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Студенческий меридиан».

ИЗ ЦИКЛА «ИЗ ЧУЖОЙ ЖИЗНИ»

Треугольный пакет молока.
Если угол обрежешь,
То белая хлынет тоска.
Как письмо непрочитанное
Пропадает в ночи.
Тихо. Молчи.

На росе разведенный,
Рассвет, помутившись, растет
За углом, где работа постылая ждет.
Я его позабыла,
Значит, в памяти он никогда не умрет.

На окне на ночном цветных пирамид молока
Громоздятся мучные бока.

Молока струйку зыбкую чувствуя нить —
Эту память уже не прервать, не продлить.

МУЗЫКА

Как выбрал ты священные листки,
Обернутые в нотные прожилки.
Есть правильные звуки в мире сем,
Ты вынул их из мира,
И место поросло, как не бывало...

Остались пустыри и бред каменоломен,
Небесных пуговиц сухая синева
На ватниках в кирпичных терриконах,
Лишь дратва уст, кустов, пересечений
Далеких еле всхолмленных небес,
Все заросло, все заросло до слез.

Как отгрузить нам хладобойный век,
С горы спускаясь в ледяном вагоне,
С откоса заблудившейся травы
Во мрак земли и тишину объятий.

О позабытом плещет тишина,
Не уходи, эпоха неолита,
С ружьем, направленным в простор реки,
С исчезновеньем поворота жизни
За блещущим колесиком воды,
Где вспухшее крыло стеклянной птицы
Подъято вверх циничной силой мысли.

Метеоритов век не наступил,
Еще подобные деревьям или людям
От сладостной земли не устремились камни,
Еще равнины нам принадлежат,
И волчий след наполнен талым слепком.

В открытое окно пустынный двор земли
Доносит голоса под полнолунием,
Но этот мерный хаос впрямь не удалось
Ни в звездные цирюльные пустоты,
Ни в города глубокого гранита.

Не уноси же в музыку наш звук,
И так безмолвно море перед нами,
Без звука разве больше опустеет?
Не надо музыки, не надо звезд
Пред нашим древним морем без названий.

* * *

Лошадь брошенная пасется
У моста, у истоков Нерли.
В сумерках скрыты болотца
В голубых отвалах земли.

И эта лошадь из тех же отвалов —
Только прихоть природы,
Так когда-то земля отпускала
Свои губы, глаза и воды.

* * *

Старится тихо вода...
Ключами звенят проходя...
Солнечными звеньями по дну проводя...
Тихо застывшую тень удильщика роня
И тень поплавка
На морщинистой дрогнувшей возвратной воде.
Рыбы жестяная тень мимо во глубь ушла.

Мойры шепчутся в тихих хорах...
Порт занесенный полуденной сыпью и светом
В лишних бликах по стенам.
Медленно тень... ах, лепетно жизнь... тень
Отходит вперед.
Сребристую сетку кефали
На звездчатой чешуе руки
Струйкой воды обводит рот наклонившийся
жадный твой над фонтаном.

БАЛТИЙСКИЕ ОТРАЖЕНИЯ

Как дневные прогулки,
Далеки острова.
И шаги твои осторожны,
Чтобы след не оставить в мире.

Там морская даль над домами,
Чаек гулкие поплавки,
И вечерняя не молкнет заря,
Словно Альтдорфера битва,
Стянувшись пучком к горизонту.

Здесь природа света чиста.
Световые координаты

На лице твоём прижились,
Но всегда над молчаньем твоим и моря
Красота твоего лица.
И радуги распущенный хвостик,
Угасший за лесом.

Лишь вода отступает,
Проходя по соленым колосьям,
Рядом с памятниками,
Где дети играют,
Ударяя мячом в свое отражение в постаменте.

Мелют все так же соль муки или денег
Мельницы над простором морским,
И радары, словно мельницы ветряные,
За избой на поляне.

Только ветер кружит
Сквозь ажурные крылья,
Только дети шлепают мячик
И прячут его в ячейку руки.

ИЗЫСКАТЕЛИ

(30-е годы)

Перед нами земля открывалась,
Где живое еще не враждебно живому.

Темным утром открылась Сибирь,
Ржавень светлая лиственниц
В долину парящую шла.
И с обрыва гранитной горы
Нам нельзя было сдвинуть незнакомое тело
В огромную чуждую жизнь.

Что мы видели с этой горы
Под небом, полным замерзшего жара,
Забывая материю предвоенную нашей одежды.
Как мы счастливы были в земле этой.
И нет нам прощенья.

Почему же, глаза закрыв,
Мы не видим, как тени земные сошлись
В разделенных равнинах.
Ждет возлюбленную немецкий офицер
У Бранденбургских ворот,
Погрузив лицо свое мертвое в берлинские розы.

Почему же так страшно сердцу здесь,
Ведь оно не в перекрестках дорог
Предвоенной Европы,
Где загнанные в холодной росе
Молоком поят локомотивы.

В лихорадочном блеске ногтей
Снимаются копии ночных полей,
Аэродромы спящих стрекоз
И стоянки цветов полевых.

Смутным запахом мокнет табачным
И закатную пыль предзакатно кружит
За фабричной стеною «Дуката»,
Кожаный воздух сминая смолистый
С курткой у кирпичной и черной стены.
Открывается дверь, и за вышедшим человеком
Он уходит туда, поближе к закату,
Тот оглянется и повернется опять:
Перелески зеленые солнц
И пожарные лестницы неба
Проходят в последний путь над головой,
Под небом далеким скрываясь.

Кто же нам скажет, какую платить нам ценой,
Ведь мы отыскали долину,
Что идет к океану в бесконечной своей прямизне.

Но, пробившись через гранит,
Мы и здесь человека открыли —
Человека наших годов.
Мы стояли перед завещанным тайным стеклом,
Апельсиновым деревом там стекал человек,
Закрывал от света глаза
И у камня просил он прощенья.

Завиднелось далекое царство без сна,
В халцедоновых светлых долинах
Стояла ночная вода.
Открывались дремучие ставни осеннего камня,
И танталовой грудью пространства
Звенела рабочая мгла.

Опустишь на колени в кремнистом ручье.
Пресной ряби пустырь
И вересковый ветер понаслышке.
Все гудит молотков полевой перезвон.

Только гром мы услышим
Уходящих во глубь поездов,

Но и только... и хрипы ночной пересмены.
Не разбудят во тьме голоса.
Только ропот, и шепот, и смерть.
И гром пробуждающих поездов.

ПЛОДЫ ОСЕНИ

Белые твердые пальцы,
Сизые сливы из тьмы,
Что же таится еще
В медном венчающем хмеле?
Разве мы сможем объять
Густую осеннюю тяжесть?

Сколько хрустальных плодов перемелет
Низкий душистый табак забытый.
Разве все мысли мы можем вместить,
Разве не скучно, не сладко осенним днем,
Греясь под редкою синью,
Тихо во рву шептать.

Ветер под вечер настанет,
Волосы женщин распустит седые.
Что же над глиною теплой
В забвеньи ты спишь в траве,
Памяти темный плод.

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВ

Родился в 1953 году в селе Архангельском Московской области. Окончил педагогический институт. Автор книг стихотворений «Я от мира сего», «С тобой», «Тьма живая» и других. Н. Дмитриев — лауреат премии Ленинского комсомола и премии имени Н. Островского. В печати часто выступает и как переводчик поэтов из братских республик. Много ездит по стране, встречается с молодыми читателями, выступает на ударных комсомольских стройках.

* * *

«...вода, замерзая, выделяет тепло».

(Из учебника физики)

Вода шугу несет устало,
Поземок студенистый дар.

Ты видел перед ледоставом
Клубящийся над речкой пар?

Ты знаешь: в пятнах льдистых пленок,
Уже густа и тяжела,

Она из всех своих силенок
Тепло округе раздала?

Ну что согреют эти воды!
Но ты, душа, на случай, впрок —
Возьми сегодня у природы
Еще один ее урок.

* * *

В кривой усмешке боль витает.
Я сам до счастья не дорос.
Прочту: «Минздрав
предупреждает...»
На серой пачке папирос.

Сам недодал я людям что-то,
И вот хватаю воздух ртом.
Лишь ты, казенная забота,
Мне светишь в воздухе пустом.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Мы пришли со слезами восторга,
Мы ломаем замшелую дверь,
Мы к тебе относились жестоко,
Но ошибку исправим теперь.

Ты забудь ожидания муки,—
И замок, и засов, и крючок,
Опирайся о верные руки,
Здравый Смысл,
Выходи, мужичок.

Посмотри, как у стен заточенья
Издыхают, тебе не простив,
Совы зоркие ложных учений,
Псы цепные тупых директив.

И теперь не хворай и не старься,
Будь к великой работе готов.
Но постой...
Ты румяным остался
Меж картофельных бледных
ростков?!

— Правда,
Воздух подвала мне труден,
Но задолго до этого дня
То Шукшин, то Белов, то Распутин
Подышать выводили меня.

Да, мне сумрак безвременья
вреден.

Но сломить меня
вряд ли б смогли,
Ведь улыбчивый Мальцев Терентий
Мне показывал силу земли.

Мне отличные люди служили,
Не дрожа за свое житие.
И на шее Абрамова жилы
Набухали во имя мое.

Я на Родине узником не был,
Потому что их строй не редел,
Потому что на них, а не в небо
Я с великой надеждой
глядел.

РЫБИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Я о сущем рассказывал просто,
Никаких я химер не творил,
Но послушай: над тишью погоста
Человек одиноко парил.

Поманила могилка родная,
Он спустился в слоистую ночь,
Хоть извечная тяга земная
Не смогла ему в этом помочь.

Посидел, помянул — ну и ладно.
И взлетел.
А разгадка — вот тут:
Дело в том, что баллон акваланга
На пятнадцать рассчитан минут.

Что хочу я?
Чтоб к маме по стежке
Он спешил через поле и лес,
А не так — в лягушачьей одежке
С непонятных спускался небес.

Я хочу, чтоб из водной темницы
Выйти к небу просторы могли.
...Как нам дышится,
 как еще спится
Рядом с горем родимой земли!

* * *

«Голубая родина Фирдуси»

С. Есенин

Ко мне постучалась удача.
Что поздно — не стал я корить,
Но дверь отворял, чуть не плача:
Не знаю, о чем говорить.

Начать о погоде? Но светлым
Сей вечер назвать не берусь:
То ливнем одарит, то ветром,
То градом осенняя Русь.

О музыке молвить пространно?
Но слышу: тоскует душа
В бамбуковой роще органа,
Всесветной тревогой дыша.

Политика? Это полезно.
Но снова, в который уж раз
Возникнет знакомая бездна
С тупым отрицанием нас.

О гостя! В твоём это вкусе?
Твоя ли мечта и судьба?
Ведь даже отчизна Фирдуси
Сейчас от стрельбы голуба.

Ты шла по метели, по теми...
Я сам ведь жалею — не плачь! —
Что нынче не лучшее время
Для милых отдельных удач.

НА КОЛОКОЛЬНЕ

Ветерок от стрижиного лёта,
Как пером по настилу провел,
И осыпал известку помёта
На далекий мозаичный пол.

Самых первых туманов родитель,
Меркнет луг за ольховой рекой.
Благодарствуй, глухая обитель,
Все сегодня опять под рукой.

Вот деревня, околица, кони.
Я несколько себя не корю,
Что опять со своей колокольни
На вечернюю землю смотрю.

Только как-то печально и странно,
Вместе с нежностью прежней —
 испуг.
Что с тобою, хранитель тумана,
Окаймленный татарником луг?

Веют сном и росой перелески,
Я к холодному камню приник,
К лику смутному
 выцветшей фрески.
Мне сейчас показалось на миг,

Что свершилась всесветная драма,
И венцом небывалых пропаж,
Как насмешка,
 взошла голограмма,
Обстающий минутный мираж!

Это — нам, на последние муки.
Вот что мы уберечь не смогли!
Я тяну к нему руки, а руки —
В голубой морозящей пыли!

И несется раздолбный, глубокий,
Поминальный тоскующий звон.

...Ясный свет!
 Востеки на востоке —
Ведь не каждый сбывается сон.

* * *

«Ты опоздал,— она сказала,—
Мне встретился...»
Он побежал.
Гудок с далекого вокзала
Над всеми клятвами заржал.

Толпа задвигалась немая:
Что с вами? Может быть, воды?
Но он смотрел, не понимая,
На шевелящиеся рты.

Рванули на перрон с вещами!
И он шагнул, как бы в огонь,
Лицо от взглядов защищая,
В готовый двинуться вагон.

Через минуту убежала
Вся хмурь, вся песня этих мест.
...И штрафом радио пугало
За неоплаченный проезд.

ПИЖМА

Ты растешь
вдоль пыльного откоса,
До асфальта провожаешь ты,
Пижма, среднерусская мимоза,
Горькие любимые цветы.

Кто-то скажет:
— Выдумашь тоже!
Время ли расхаживать-смотреть,
Уточняя, что на что похоже,
Если может этот мир сгореть!

Знаю: спят и видят геростраты
Свой триумф на будущей золе,
Но цветы ведь —
те же демонстранты
С требованьем мира на земле.

Вон они построились в колонны,
Вольная несчитанная рать,
Знаю: не набить на них колодки,
Водометом их не разогнать.

И среди них так радостно я вижу
(И хочу, чтобы увидел ты)
Пыльную архангельскую пижму,
Жесткие и нежные цветы.

Ночью,
чтобы мне с пути не сбиться
Отмечала запахом тропу,
Запахом таким, что будет сниться
В розами осыпанном гробу.

Пижма, я приду с хорошей вестью,
Только ожидай меня, прошу.
И уткну лицо в твои созвездья,
И о дальних далях расскажу.

* * *

Падай-падай интерес к поэзии
Среди новых всяческих чудес.
Для нее чем хуже,
тем полезнее —
В этом ее тайный перевес.

Пусть ее тоска неодолимая
Обоймет, обступит поскорей.

Нелюбимый или нелюбимая
Видят мир и глубже и острей.

ГРИГОРИЙ КАЛЮЖНЫЙ

Родился в 1947 году в городе Макеевка Донецкой области. Окончил Кировоградскую школу высшей летной подготовки. Долгое время работал штурманом гражданской авиации. Печатался в журналах «Аврора», «Студенческий меридиан», «Литературная учеба», в ленинградском альманахе «День поэзии», в альманахах «Истоки», «Поэзия». Автор трех поэтических книг — «Разбег», «Грозы», «На встречных курсах».

* * *

Соловей не всемирная птица,
Но представить весь мир без него —
Все равно, что в реке утопиться
Для души и ума моего.

Где потерям предел установлен?
Режут строки, как пули, в упор,
Что в Америке нынче отловлен
На свободе последний кондор.

Замыкающий род свой до срока,
В клюве — молния,
В зраке — гроза.
Он со снимка с презреньем пророка
Человечеству смотрит в глаза.

* * *

Не вызвали живого резонанса
Те предсказания, что теперь сбылись.
Я полон грусти, как герой романа,
Смотрю с улыбкой ревности на жизнь.

Равно дитя, она с огнем играет,
Рискует погубить свой дивный мир,
Обласкивая тех, кто засоряет
Всеобщий человеческий эфир.

Не безопасней ядерной ракеты
Агрессия душевной пустоты.
В лице покрытой язвами планеты
Вина людской преступной глухоты.

* * *

Я — поэт аварийного сознания,
Нежеланный гость миллионов.
Критики избегают со мной

свидания,
Только чирикают из салонов.

Чтобы Землю мою не угробили,
Я огранивал горькие строки:
О Чернобыле — до Чернобыля,
О перестройке — до перестройки.

Их топили в морях оваций
Телевизорные остряки,
Изо всех моих публикаций
Не осмыслено ни строки.

Люди ласковые и строгие,
Вам угоден пророка лик?
Блажь! Из нас понимают многие
Только аварийный язык.

Знаю милостью благодетелей
Из истории бытия —

В ночь темную без свидетелей
Хоронили таких, как я.

Засыпали землей их щедро
И читали проклятья стих.
Я и сам бы зарылся в недра,
Да нельзя затаиться в них.

Не красоты любовной арии
Я пою на охрипшей лире —
О нужде упреждать аварии
В роковом аварийном мире.

* * *

В глухом провинциальном городишке
Явился молодой властитель дум.
Известный многим только понаслышке,
Он произвел благоговейный шум:

На водной глади, глаз людских услада,
Сияя, лебедь плавал на виду.
Его привез себе блюстителю сада
И выпустил лилейно на пруду.

—
Весть по округе вихрем прокатилась,
В сад потянулся вежливый народ.
Как будто там комета опустилась
И отразилась в чистом лоне вод.

Три дня не утихали разговоры,
Волнения, надежды и мечты.
Три дня кипели сладостные споры
О сущности высокой красоты.

А на четвертый — лебеда не стало.
Его искали всюду, где могли.
Я заглянул к садовнику устало —
В плите гудели ўгли, как шмели.

«Властитель дум» лежал на сковородке.
Он был ошипан ласково, угрюм.
Вокруг ходили кадыки, от водки
Перепоплясь, как водою трюм.

Воистину все гостю были рады,
Садовник рек: «Поэты — нам родня!»
Глаза вокруг светились, как лампы,
И сладостно смотрели на меня.

КАРНАВАЛ

Вот на зимние квартиры
Собрались гурьбой вампиры.
Вьюги новая метла
Им дороги замела.
Ждут они — наступит май
И по новой пей-гуляй!..

Вот лукавые химеры
Принимают срочно меры,
Чтобы в каждом кадре быть
И в новаторах прослыть,
Речи льются через край,
Им при жизни нужен рай.

Вот из чичиковской тройки
Нам кричат о перестройке:
«Все преграды ничем,
Навались, народ, плечом!..»
И в сердцах отозвалось
Обновленное «авось».

Строго честь хранит мундир,
Триедин его кумир:
Чин, сберкнижка и почет.
В том мундире черный черт.

Льется в зеркале витрин
Карнавал родных картин.

Слышен глас из края в край:
«Обновляясь, обновляй!»

Полям девица идет,
А за ней земля цветет...

* * *

Герань поставили на шкаф,
И обновилась обстановка.
Чиновники — цветы в горшках,
Полезна их перестановка.

Но не они душа оказий,—
Легко бумагами сорить,
Тот мир, где нет обратных связей,
Приказами не обновить.

Ведь просто быть, а не казаться,
И значит, жизнью отвечать,
С природою согласоваться,
Ее обратной связью стать.

Пускай вокруг Земли ракета
Свершит мгновенный оборот —
Не перепрыгнет осень лето,
Зима весну не обойдет.

Без горечи, без вдохновенья,
Без состраданья — ждет чудес
Стремительного обновленья
Технократический балбес.

* * *

Милльон высот открыла нам наука
И столько же явила пропастей.
Все явственней в потоке новостей
Я слышу тон неведомого звука.

Как будто в круг неисчислимых драм
В наш век железа, атома и срама
Спешит вписаться мировая драма
Вне грозových прогнозов и программ.

И верить ей не смеет общий ум.
Его пугает о грядущем дума.

Скорей! Скорей! Как можно больше шума,
Спасение — неведенье и шум.

Как быть со всеми на такой волне,
Когда, не веря в праздничные хоры,
Внутри меня зашкалили приборы,
Природою подаренные мне?

* * *

Здесь дискуссий мутное течение.
Там стремленье к смыслу страсти милой.
Только ждет напрасно осмысленья
Наша муза с пылкостью остылой.

Многokrратно грозами крещенный,
Чем же ко двору я не пришелся,
Не вписался в круг их просвещенный,
Навсегда во взглядах разошелся?

Может быть, я слогом непонятным
Замутил их пристальные взоры
Или эхом далее многократным
Исказили голос мой просторы?

Или в храме чистого прозренья
Я, дикарь, нарушил кодекс чести?
Слушаю, прозваниваю звенья:
Что за идеалы? Что за песни?

Изливаясь розовыми снами,
В микромир зовет нас открыватель.
Критика играет именами,
Ведь за все расплатится читатель.

Вот еще новаторов собрание,
Склад метафор строят к непогоде.
Стало модным дробное сознание,
Цельное давно у нас не в моде.

Вижу, нет живой души без драмы.
Непонятным быть кому не больно?
Спорят мастера саморекламы,
Эхо с эхом спорит... И довольно.

* * *

Я разлюбил твой лик иконный.
Люблю тебя как муж законный.

И с этой тайной, как злодей,
Живу, не каюсь, меж людей.

За страсть мою мне нет прощенья.
Я пал. Но я люблю — в паденье.
Когда со мною ты без маски,
Мне мил исход любой развязки.

Над бездной твоего лица
Я буду падать до конца.
И тем утешусь без расчета,
Что есть в паденье чувство взлета.

ВИКТОР КОРКИЯ

Родился в 1948 году в Москве. Окончил МАИ. Стихи публиковались в журналах «Юность», «Новый мир», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Истоки». В издательстве «Советский писатель» выходит первый поэтический сборник Виктора Коркия — «Свободное время».

* * *

В. Бережкову

Никто за музыку не платит,
никто шампанское не пьет.
Кто даром времени не тратит,
тот, может быть, и не живет.

И я не знаю, чем рискую
на этой страждущей земле,
и пальцем, может быть, рисую
свои узоры на стекле.

Святая ложь глаза не колет,
в могиле руки не связать.
Глаголет истина, глаголет,
не может ничего сказать.

И перед мировым пожаром,
перед потопом мировым
радар общается с радаром,
глухой беседует с немым.

1982

ПОЛУСОНЕТ

Чему я был бы рад лет сто
назад?
Кем стал бы Юлий Цезарь
в Третьем Риме?
Пока народы мира бьют в набат
и люди доброй воли иже с ними,
хотел бы я купить вишневый сад
и ощутить сквозь сон
под сенью струй
укус, переходящий в поцелуй.

1980

* * *

Тяжелый случай, но —
счастливым!
А мог бы и несчастным стать.
Как сладко с девочкой красивой
о светлом будущем мечтать!

101

Какой кошмар — вдыхая запах
ее неполных двадцати,
идти вдвоем на Юго-Запад
и целоваться по пути!

Жизнь безнадежно исковеркав,
вдохнуть — и сразу все забыть!
Зайти за маленькую церковь
и честно душу загубить!..

Под этой низкой серой тучей,
за этой каменной стеной
спаси меня, тяжелый случай,
от тягомотины земной!..

1982

* * *

Денису Новикову

Вне зависимости от
и при этом невзирая,
жил бы я наоборот,
жил бы я не умирая.

Как небесный старожил,
близкий ангелам по духу,
жил бы я и не спешил
топором убить старуху.

Так и так она помрет,
часом раньше,
веком позже...
Но в грядущее, как в рот,
не могу смотреть без дрожи.

Или кровь, что там течет,
сквозь меня не протекает,
или прошлое не в счет,
или жизнь моя не тает

с каждым часом,
с каждым днем,
с каждым годом,
с каждым веком...

Выпьем с горя —
и пойдём,
разойдемся по отсекам,

разбежимся кто куда,
растворимся без остатка —
в яме Страшного суда,
в боине нового порядка

вне зависимости от
той старухи убиенной,
что одна во всей вселенной
ни процента не берет.

1983

* * *

Люблю, когда меня приводят в чувство
жрецы официального искусства!

Их уши занавешены лапшой,
их идеалы вечны и нетленны,
со всех сторон их окружают стены,
в которые не вхож никто чужой.

И я не знаю, кто я в их кругу,
и чувствую себя всю жизнь в долгу —
не перед ними, нет, а перед теми,
кто верит им и не поверит мне...

1983

* * *

В гордом одиночестве, в расцвете
творческих, мужских и левых сил
процветаю на родной планете
под надзором всех ночных светил.

Двадцать лет я обивал пороги
и, по счастью, не попал в стру:с.
На проклятой собственной дороге
двадцать лет как проклятый стою.

Шаг вперед — и грянет выстрел в спину,
два назад — и бездна, звезд полна.
Но границы жизни не раздвину,
а у смерти нет двойного дна.

Если век измерен, то не мною.
Все равно — не быть или не быть.
Слишком тесен мир перед войною.
Бескорыстно некого любить.

1984

* * *

То, что не снится нашим мудрецам,
быть может, снится нашим мертвецам.
Не льщу себя надеждой, не прельщаю,
но перед каждым каменным лицом
себя я ощущаю мертвецом,
а больше — ничего не ощущаю.

1986

* * *

...на выдохе без вдоха...

В. Бережков

Вдох на выдохе, выдох на вздохе.
Между ними проходят эпохи.
Между ними война мировая.

А потом — тишина гробовая.
А потом — начинается снова.
А вначале, как водится, Слово.
В этом слове вся тайна сокрыта.
В этой тайне собака зарыта.

1986

НИНА КРАСНОВА

Родилась в 1950 году. Работала литсотрудником в районной газете. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихов «Разбег», «Такие красные цветы», «Потерянное кольцо».

Член Союза писателей.

* * *

Человек придет в двадцать первый век,
В будущее придет.
Воздух вдохнет в себя человек —
И замертво упадет.

Человек придет в двадцать первый век,
В будущее придет.
Воду из речки попьет человек —
И замертво упадет.

Человек придет в двадцать первый век,
В будущее придет.
Яблоко с древа съест человек —
И замертво упадет.

МИЛИТАРИСТАМ

Наготовили столько «грибов» —
Ни кадушек не хватит, ни банок.
Наготовили столько «грибов» —
Этих... ядерных бледных поганок.

Наготовили впрок «грибов» —
Не на год и не на два, нет.
Наготовили впрок «грибов» —
На триллионы лет.

Наготовили, гады, «грибов».
Что же, этим себя и тешьте.
Наготовьте теперь гробов.
Доставайте «грибы» и ешьте.

ПЛАЧ ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ (МОЕЙ ЗНАКОМОЙ) ПО ДВУМ НЕРОЖДЕННЫМ ДЕТЯМ

«Я сделала, как многие, аборт,
Послушалась дурацкого совета.
Не сделала зачем наоборот?
Взяла на душу преступленье это.

Мне снится мальчик с пальчик, весь в крови.
Я так его, наверно бы, любила.
Он говорит: «Маманя, не реви.
Маманя, ты зачем меня убила?»

Да, ты убила сына твоего.
Носи теперь платок из черного сатина.
Я так теперь родить желаю сына,
Но я боюсь, боюсь родить его.

Соседкин мальчик кормит голубей.
Я сына так, наверно бы, любила.
Но как скажу ему я: «Не убей!» —
Когда я братца у него убила?»

* * *

Н. Дмитриеву

До небес тропинки простираются.
Ты идешь, от вольной воли пьян.
А во тьме живой поют, стараются
Жители болота и полян* —

Птицы и лягушки вместе с птицами,
И артист народный — соловей.
Почему-то, как тебе, не спится им.
Ото всей души поют своей.

В травах и ветвях они скрываются.
Им не петь попробуй дать совет.
Для кого они вот так стараются?
Для кого же? Для тебя, поэт!

Чтобы под звездой взошедшей, яркою,
Ты к утру стихи бы написал
И в конверте с нестандартной маркою
Мне в Рязань по почте их прислал.

ПОСМЕРТНАЯ МАСКА ПОЭТА,
КОТОРУЮ Я УВИДЕЛА В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНЬЯ

Это маска его... это — о н?
Он повесился, есть утвержденья.
Нынче день его похорон
Для меня, а не день рожденья.

* Для кого они вот так стараются —
Жители болота и полян?

Н. Д м и т р и е в

Не нуждается он в речах.
Это о н — с подбородком побритым,
Со страданьем во всех чертах,
С переносьем пробитым.

Он читаем, любим, знаменит,
Больше нет на него запрета.
Что ж Казанская не звонит,
Не оплакивает поэта?

Он стихов не напишет уже,
Жизнь свою не доскажет уже...
До свиданья, поэт, до свиданья...
Сколько ж было страданья в душе,
Если в маске столько страданья!

НЕВЕСТА И ЖЕНИХ

К машине в лентах — по простору —
Идут невеста и жених.
Я приоткрыла в кухне штору,
Я из окна гляжу на них.

Она чуть-чуть его моложе.
Вот будут мужем и женой,
Делить друг с другом будут ложе
И хлеб пшеничный и ржаной,

И по очерченному кругу
Идти на дальние огни
В одной упряжке... Но друг другу
Не будут ближе нас они.
Я точно знаю, что друг другу
Не будут ближе нас они,

Хоть нам (ну что же делать, боже)
Не быть и мужем и женой
И не делить друг с другом ложе
И хлеб пшеничный и ржаной...

Стоит в бутылке простокваша.
Я пью за нас, а не за них.
Я — вечная невеста Ваша!
А Вы... Вы — вечный мой жених!

ШУТОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ

А. Боброву

До чего хорош Бобров —
Светлоглаз и светлобров,
Высокого роста,
Мет(о)р девяноста!

Светлоглаз и светлобров,
Пел припевки А. Бобров.
Он такие пел припевки,
Что покраснели бабы, девки.

Светлоглаз и светлобров,
Пел частушки А. Бобров.
Он такие пел частушки,
Что у девок вяли ушки.

Светлоглаз и светлобров,
Мне по нраву А. Бобров.
Вот бы мне бы с ним на пару
Спеть частушки под гитару.

ФАНТАЗИЯ ЗАТВОРНИЦЫ

Пришел, увидел, победил
Меня не мальчик — муж *,
И всех в глазах моих побил,
Да так легко к тому ж.

Я рада несвободной стать,
По гроб ему служить,
Обед варить, белье стирать,
Его делами жить,

Любить его, детей рожать —
В него: от плоти плоть.
Эмансипаткам подражать
Не приведи господь.

Пришел, увидел, полюбил,
Всех выгнал со двора.
Пришел, увидел, победил —
Ура!

ЗАГОВОР СОВРЕМЕННЫХ КРИТИКОВ НА ПРИХОД НОВОГО ПУШКИНА

Нет графьев, князьев, дворяньев,
Нет обломовских диваньев...
Власть народа, власть Советов.
Почему же нет поэтов?

Есть какой-нибудь Кукушкин.
Ну а где же новый Пушкин?

Нет купцов и фабрикантов,
Столько развелось талантов...
Власть народа, власть Советов.
Почему же нет поэтов?

Есть какой-нибудь Квакушкин.
Ну а где же новый Пушкин?

Нет попов и кулаков,
Нету больше дураков...
Власть народа, власть Советов.
Почему же нет поэтов?

Есть какой-нибудь Клопушкин.
Ну а где же новый Пушкин?

Сгинь, Кукушкин!
Приди, явись, новый Пушкин!

Сгинь, Квакушкин!
Приди, явись, новый Пушкин!

Сгинь, Клопушкин!
Приди, явись, новый Пушкин!

* В смысле — настоящий мужчина.

АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ

Родился в 1954 году в Москве. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Стихи публиковались в коллективных сборниках, в журнале «Юность», в альманахе «День поэзии». В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга стихотворений «Днепровский август».

ПУСТЫНЯ

Я никогда не жил в пустыне,
напоминающей край воронки
с кочующей дыркой. Какие простые
виды, их грузные повороты

вокруг скорпиона, двойной змеи;
кажется, что и добавить нечего
к петлям начал. Подергивания земли
страхивают контур со встречного.

ЧЕРЕЗ ПОЛТАВСКОЕ ПОЛЕ ВОСЛЕД ЗА МАРФОЙ...

Я помню поле... праздник шумный...
И чернь... и мертвые тела...
На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?.. С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей...

А. С. Пушкин. «Полтава»

Ни золотой саксофон за плечами, ни мотоцикл, ни брыль с полями...
Ты бредешь по стране под названием «У», подобная рентгенограмме.
Саксофоны... моторах... навстречу... размазываясь... панораме.

Что за воздух вокруг! Самый тот, что придавал человекам носы!
Эти почвы пустили две крепких ноги для Адама степной полосы.
Бритый затылок, свисток из лозы, сиянье бузы и покосы взы-взы.

И создание на смерть ать-два, в оловянных ободьях неся барабаны,
закругляя свой путь и сужая, как панцирь устроен рапаны,
и над конницей в небе не больше, чем школьные парты, летали
«фарманы».

Но я стал музыкантом, а не адмиралом, работая в сельском баре,
где аграрии пили за любую пылинку и всем воздалось по вере,
где дельфины в панамках шутили с блондинкой, найденной в море.

А тебя не листали стеклянные двери, молчали на них колокольцы,
и в камнях взволновались мельчайшие волоконцы,
времена сокращая, когда ты в наш бар вошла обогреться.

Ты была, словно вата в воде, отличима по цвету едва от воды,
а мы — оскаленными чернилами вокруг тебя разлиты,
есть мосты, что кидают пролеты в туман, и последний пролет — это ты.

Я увидел: идет за тобой неотвязно размахом баталия,
в обороне бароны и боров на них с бороной, и другие детали...
Все, теснимые бездной, края твоих юбок топтали.

Разрубленная сорочка. Разрубленная кожа. Разрубленная кость.
Измельченье молекул. О, рознь всласть! Есть
размеры, где жизни нет. Температура окрест 36,6.

Легче делать людей при такой погоде, чем их ломать.
Здесь и там ты расставлена вышками по холмам,
и огранкой твоих повторений охвачена битва — алмаз.

Как тугая прическа без шпильки, рассыпается этот ландшафт,
и на поле другое те же воины валом спешат,
щурятся с непривычки — они из других временных шахт.

Ведь полки могут строиться по вертикали,
повисая в небоскребах атак, образуя тающие гантели,
сталкиваясь наобум с теми, с кем ссориться не хотели!

Я узнал в тебе Марфу, носящую семя Мазепье.
Две косицы желты, карандашики словно, изгрызены степью,
только мой саксофон оценил твою великолепье!

Ты — граница бродячая, всех разделившая стенами,—
водоемы, леса и пустыни песчинок, сочных военных.
Государства лежат между Марфами или Еленами.

Баю-баю, под нашими вишнями дремлешь, колыша гамак,
кровь твою над тобой стертым зеркальцем крутит комар,
он щекочет радары армад.

КОМАР

Ты, комар, звенел в поэме,
в Петербурге, в Вифлееме,
жалил автора «Аморес»,
не жалел свиньи в помоях,

выходи на резкий свет,
сдай поэту свой стилет!

Хором Солнце заслоняя,
как фата, сияет стая,
разворот, и — черным крапом

вы качаетесь под небом.
Что такое небеси?
Закругленья на скругленья,
точка, тачка без оси.

В комаре ли, в Вавилоне,
свиты тысячи мелодий,
кровь правителя и зека,
лошади и человека,
Лига Наций наш комар,
он — инцест, пунцовый шар!

Вот сидит комар-мечтатель
на виске, как выключатель.
Чин кровавого побора.
Хочет грифелем Памира
на Арктическом щите
написать: я в пустоте.

Ты всему эквивалентен,
ты пустотами несметен,
комарье с деньгами схоже,
только те — одно и то же.
Облак твой легко умел
строить формы наших тел.

Вы составились в такого...
Полетела ваша лава
над гуляющим Стокгольмом
казаком краеугольным
к северному королю.
Он заглатывал пилу-

лю. А вы перед монархом
вывели своим манером
кровеносную систему,
как разбитая об стену
вдрызг бутылка каберне,—
капля в каждом комаре!

Вы казались человеком
шведу.— Что мне здесь под снегом
чахнуть! — Карл вскрикнул,— Гарвей
опрокинут мощью армий,
есть иные смыслы крови!
И направился к Полтаве.

Ты, комар, висишь над битвой,
в парикмахерской — над бритвой,
воин, поднятый на пиках,—
на своих ногах великих
над сражением — комар.
От ужора умирал.

Умирал, но — обожая
Марфу. Губы освежая —
Марфой. Где она ложится,
в картах чертится граница,
начинается война,
комаровичей весна.

Он за Марфой паром вьется
в виде, что ли, пехотинца,
энского полка эпохи
Северной войны. В дороге
по стране с названьем «У»
все доступно комару.

КРЫМ

Ты стоишь на одной ноге, застегивая босоножку,
и я вижу куст масличный, а потом — магнитный,
и орбиты предметов, сцепленные осторожно,—
кто зрчком шевельнет, свергнет ящерку, как молитвой.

Щелкает море пакетником гребней, и разместится
иначе мушиная группка, а повернуть круче —
встретиться с ханом, с ним две голенастые птицы,
он оси вращения перебирает, как куча

стеклянного боя. Пузырятся маки в почвах.
А ротозеям — сквозь камень бежать на Суд.
Но запуск вращения и крови исходная точность
так восхищают, что остолбеневших — спасут!

МИНУС-КОРАБЛЬ

От мрака я отделился, словно квакнула пакля,
сзади город истериков чернел в меловом спазме,
было жидкое солнце, пологое море пахло,
и возвращаясь в тело, я понял, что Боже спас мя.

Я помнил стычку на площади, свист и общие страсти,
торчал я нейтрально у игрального автомата,
где женщина на дисплее реальной была отчасти,
границу этой реальности сдвигала Шехеразада.

Я был рассеян, но помню тех, кто выпал из драки:
словно летя сквозь яблоню и коснуться пытаюсь
яблоком,— не удавалось им выбрать одно, однако...
Плечевуглых грифонов формировалась стая.

А здесь — тишайшее море, как будто от анаши
глазные мышцы замедлились,— передай сигарету
горизонту спокойному, погоди, не спеши...
...от моллюска — корове, от идеи — предмету...

В горах шевелились изюмины дальних стад,
я брел побережьем, а память толкалась с тыла,
но в ритме исчезли рефлексия и надсад,
по временным промежуткам распределялась сила.

Все становилось тем, чем должно быть исконно:
маки в холмы цвета хаки врывались, как телепомехи,
ослик с очами мушиными воображал Платона.
Море казалось отъявленным, а не призрачным неким!

Точное море! В колечках миллиона мензурок.
Скала — неотъемлемая от. Вода — обязательна для.
Через пылинку случайную намертво их связуя,
надобность их пылала, но... не было корабля!

Я видел стрелочки связей и все сугубые скрепы,
на заднем плане изъян — он силу в себя вбирал —
вплоть до запаха нефти, до характерного скрипа,
блелее укола камфары зиял минус-корабль!

Он насаждал — отсутствием, он диктовал — виды
видам, а если б кто глянул в него разок,
сразу бы зацепился, словно за фильтр из ваты,
и спросонок вошел бы в растянутый диапазон.

Минус-корабль, цветом вакуума блуждая,
на деле терся на месте, пришвартован к нулю.
В растянутом диапазоне — на боку запятая...
И я подкрался поближе к властительному кораблю.

Таял минус-корабль. Я слышал восточный звук.
Вдали на дутаре вел мелодию скрытый гений,
лекально скользя, она умножалась и вдруг
нацеленная в Абсолют, сворачивала в апогее.

Ко дну шел минус-корабль, как на столе арак.
Новый центр пустоты плёл предо мной дутар.
На хариусе веселом к нему я подплыл — пора! —
сосредоточился и перешагнул туда...

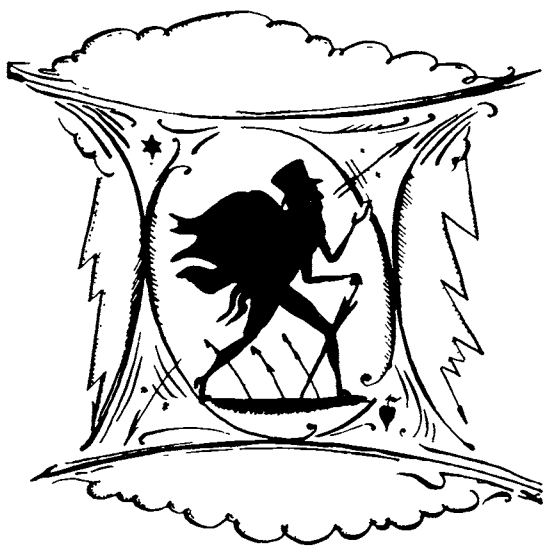


Рис. М. Добужинского

АЛЕКСАНДР ЩУПЛОВ

Родился в Москве в 1949 году. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина. Автор пяти поэтических сборников.

А. Щуплов часто выступает в печати как критик, публицист, как переводчик молодых поэтов из братских республик. Стиль его выступлений экспрессивен, остро-современен, метафоричен. Знание фольклора, русской истории связывает этот стиль с народной поэзией, с традицией русского стиха.

* * *

У любви я не просил совета,
я не брал совета у любви.
Дотяну до Нового Завета.
Может, хватит шариков в крови.

Может, хватит слов,
и жестких жестов
и зрачков, глядящих горячо.
Может, припадет одна из женщин
на мое неверное плечо.

Припадет, осунется, заплачет,
тихо сбросит груз моих химер.
Может, это что-нибудь и значит:
горе или счастье, например.

* * *

Приходит время размышленья,
покалывания в виске —
как за эпохой разрушенья —
черченье планов на песке.

Все прахом:
исконность, посконность,
прошитый интеллектом взгляд...
Все шпаги сломаны, поскольку
не в ножнах истины сидят.

И не гуляют с пулей-дурой
в полях, где новый карбонар

с общественной температурой
подмышечный сверяет жар.

Приходит время возмущенья
и превращенья истин в хлам.
Приходит время возмещенья
убытков собственным стихам.

Их смачно лапали до слезок
литбосс, литклоп, литспекулянт...
А мы им в рот —
трехстопный лозунг.
А мы им в руки — транспарант.

А мы их на парад — рядами —
лоб в лоб с энтузиазмом масс...
А по ночам стихи рыдали
за изовравшихся за нас.

Дрожали тощими боками,
намятыми в очередях,
и быть хотели облаками
над головами работяг.

И я не знаю, что мы скажем
тем нерожденным облакам,
прижав глаза с рабочим стажем —
да к нерабочим кулакам?

* * *

Как ни холодно жить на рассвете,
как судьба ни сгибается
в обруч,—

есть еще городок на планете
с обручальным названием Овруч.

Там — грибная и прочая кладезь,
и вскипают не вовремя почки,
и могила печального князя,
и зеленые марки на почте.

И трясина, что помнит ливонца,
и звезда на ночном небосклоне.
И билет туда меньше червонца,
и не холодно в общем вагоне.

Что забыл я там в самом-то деле,
в этой грустной задачке
с дробьями?

Я и жил в нем не больше недели,
и знакомства не свел с тополями.

И не застился утром от солнца
искаленным взмахом ладони.
(...и билет туда меньше червонца,
и не холодно в общем вагоне...)

И становится памятью город,
и теплее той памяти нету.
И с плаща моего уже спорот
тот карман, где храниться билету.

Где храниться — и не сохраниться
шестизначным робеющим цифрам,
от которых вся жизнь накренится,
словно лед под глухим
мотоциклом.

И билет туда меньше червонца,
и не холодно в общем вагоне.
И глаза прикрывают от солнца
искаленным взмахом ладони.

* * *

А мы такие осени видали,
где травы — в росах, берега —
в садах,

а на собак навешали медали,
а на меня навешали собак.

Летит, кутит, кипит моя эпоха.
Любовь и нежность

отдаются в долг.
— Эгей, мои собачки!
Вам далёко
еще до волкодавов!..
— Сам не волк!..

* * *

Не дачный азарт лото,
не шелест страниц Прево,—
поэзия — вся: не то!
Поэзия — вся: того!

Когда она с нами пьет
и в очереди стоит,—
она еще только ждет,
она еще не парит.

Когда она с нами врет,
она уже ждет беды,
набрать готовая в рот
летейской живой воды.

Не нужен ей шик пальто
и пшик голоса: «Бравó!..»
И ночью она: не то!
И утром она: того!

И можно разгрызть тома,
коль зуб не берет хурму.
И можно сходить с ума,
коль глупость — не по уму.

* * *

Лист пожелтевший, лист немой,
лист-растопырка, лист-двойняшка,
ну что ты носишься за мной,
как беспризорная дворняжка?

Чего ты хочешь от меня?
Я сам из этой жизни выбит.
Огня? Не дам тебе огня!
Пинка? Да и с пинком не выйдет!

Я одиночеством моим
богат и нищ, воспет и выпит.
И если мир неумолим,
покорно жду последний выпад.

А ты, мой беспризорный трус,
живи, крутись, дождись успехов,
мотай на свой веселый ус,
как нужно драться без доспехов.

* * *

А может, и нужно — китайкой хрустеть,
тереться о сосны с коростой,
вполголоса старые песни свистеть —
и голос, глядишь, не сорвется.

Как спящий больной, разметалась река
и дерево листьями крошит.
По синему небу идут облака —
какое из них облапошит?

Так в лодке стоишь с запотевшим плечом.
Рубашка — как пятна на щуке.
И к берегу вроде подправил шестом,
а дна ни черта не нащупал!

* * *

Это мое право —
верить или не верить
лодке, идущей справа,
влипнувшей в левый берег.

Это мое дело —
падать в сугроб челкой,
с парусом плыть белым,
с тучей лететь черной.

Это мои корни
в Угличе, Цне, Орше:
люди, костры, кони,
жизнь — и чуть-чуть больше.

Губы — белей мела.
Зимы — теплой кровя.
Это — мое дело.
Это — мое слово.

СТАТЬИ



ЛЕВ АННИНСКИЙ

ОБЩЕЕ ЖИТЬЕ

Поэты, о которых я хочу поговорить здесь, настолько разные, что факт их соединения в одной статье может показаться искусственным. Но только для тех, кто не помнит подробностей нашей поэтической истории последних десятилетий. Кто помнит, не удивится.

Сейчас-то они настолько «обострились», что каждый может вести не только свой дом, но мог бы и улицу, то есть мог бы вести за собой и последователей. Даже Павлинов, рано умерший, успел выпустить около десятка книг. Дмитриев же, Костров и Сухарев продолжают интенсивно работать, они уже в ранге «маститых», они, можно сказать, уже в стадии «Избранных», да и без подсчета выпущенных книг видно, что перед нами крупные русские поэты, каждый из которых шел и идет своим путем.

Повод их рассмотреть вместе — как бы юбилейно-мемориальный. Но и существенный.

Четверть века назад, молодыми дебютантами, эти четверо увидели свет под одной обложкой. Их общая уплотненная жилплощадь называлась: «Общежитие». Выпустило книгу издательство «Молодая гвардия» скромным семитысячным тиражом. И по бумаге, и по прочим полиграфическим дефицитам получилась экономия. Для молодых поэтов 1961 года даже и такой коллективный дебют стал праздником: в ту пору пробиваться было не легче, чем сейчас.

Для меня то первое издание тоже стало некоторой вехой в биографии. Дело в том, что тогда, в начале 60-х годов, я выступил с рецензией на сборник «Общежитие». Рецензия появилась в журнале «Знамя», была по возможности задириста, по необходимости хитра и — по совести — наивна, чтобы не сказать жестче. Я был тогда «молодой критик», писавший о «молодой поэзии».

Так или иначе, молодежный жилкомплекс, устроенный в 1961 году издателями, обернулся не просто житейским уплотнением очередников, которые не хотели ждать индивидуальных сборников и счастливы были начать хотя бы коммунально. Тут был и оттенок литературной программности. Слово «молодой» в начале шестидесятых годов звучало вполне символически.

Вот главное и заключалось в попытке решения некоторых проблем, связанных с молодым героем. Для людей, занимавших в тогдашней литературной борьбе крайние позиции, проблема решалась внешним столкновением: или — или. Или «книжные мальчики», не нюхавшие жизни и витавшие в облаках, или «крепкие парни» из народа, с тяжелыми кулаками и ясными принципами. Надо сказать, что за той и за другой схемой стояли живые и сильные поэты: среди «мальчиков» верховенствовали

Евтушенко и Вознесенский, среди «парней» заметнее других были Цыбин и Поперечный. Противостояние схем, выводимых из противостояния характеров, казалось непримиримым: ничего третьего не предвиделось.

Поэты «Общежития» предложили... нет, не примирение, конечно, но... новую точку отсчета. Четыре инженера... собственно, они были инженерами ф и г у р а л ь н о — за исключением реального горного инженера Павлинова, Дмитриев был журналист, Костров химик, Сухарев биолог, но они чувствовали себя инженерами по духовной установке, они знали, что они люди создающие, люди конструктивные, люди, делающие дело (то есть не треплющие языком и не размахивающие кулаками). Молодые выпускники университета, они представляли, по крайней мере в сознании читателей, альтернативу и опрощенную земной кондовости, и беспочвенной, мятущейся мечтательности. Разум и руки так хотелось соединить! О шестидесятые годы, время «физиков» и «лириков», время геологов, время пробуждающихся молодых интеллигентов!

Это и было тем внутренним заданием, которое «само собой» обозначилось, едва четыре новосела выстроили свое «Общежитие». Союз знаний и чувств. Соединение культуры и опыта. И основой всего — то, чего были лишены и Евтушенко и Цыбин, — чувство меры *...

В 1961 году все это ощущалось скорее из общей тональности, чем из конкретных поэтических характеров, скорее из расстановки сил, чем из конкретных поэтических решений. «Геологический» антураж поэтов «Общежития», их бродяжий мир вовсе не был ни решением вопроса о том, как применить себя интеллигенту, ни ответом на другой важный вопрос: какая именно фактура позволит поэзии шагнуть вперед. Я ошибся тогда, сделав ставку на фактуру «первопроходчества», на поэтику «рюкзаков и палаток»: меня увлекла напористая сила Павлинова, еще более — обаяние милого моему сердцу Сухарева, а еще более — мои собственные университетские воспоминания: наш юный протест против официозной эстетики сороковых и пятидесятых годов ярче всего другого реализовался в студенческой «туристской» песне. Я ошибся тогда по-крупному: история показала, что не через романтику «землепроходства» шагнула вперед русская лирика, а шагнула она вперед именно через романтику земли и рода, через ностальгию и память — путем Рубцова и Кузнецова, то есть путем той самой деревенской «гордыни», которой в «Общежитии» чуть-чуть отдавал дань В. Костров. Меня это тогда раздражало. Частная ошибка в анализе поэтических характеров была у меня следствием ошибки общей: я сильно недооценил Кострова. С другими вроде все подтвердилось. Но дело не в частностях, а в той закономерности, что поэзия развивается всегда в к р а й н и х своих точках, она идет вперед к р а я м и: на «громкую» лирику отвечает «тихая» лирика, на грохот урбанизма — немота земли...

А как же поэты меры? Провозвестники позитива, инженеры реальности, строители «Общежития»?

О, и они свою сверхзадачу почувствовали правильно. Но эта сверхзадача была трудна для реализации. Поэзия развивается «краями», но это не значит, что ц е н н о с т и, создаваемые на «краях», устойчивы. Напротив, они как бы и создаются для взаимоуничтожения. Долгие же ценности хранятся глубоко и реализуются тихо. С воздушными замками

* В реальной жизни поэты бывают сговорчивее, чем в стихах: именно В. Цыбин отредактировал сборник «Общежитие»: помог четверем собратьям.

все понятно, с резными избами тоже, а вот как быть с общежитием? С этим скоплением реальных людей в реальной жизни? Как там жить? Речь не о глобальных вопросах, решаемых глобальными (или «антиглобальными») декларациями, и не о развитии лирических форм, тем более быстрее, чем резче контраст стилей; речь о том, как жить: о житейском, общежитейском. О поэзии обыкновенного человека. Здесь драмы потаеннее, но, может быть, и потяжелее, чем на «краях».

Четыре поэта, прошедшие после своего общего дебюта долгий, более чем четвертьвековой путь,— это четыре драмы, оплачиваемые нервами, силами, жизнями.

Когда-то герой Олега Дмитриева задибался: «Мы — смоленские, мы — тверские, нас попробуй-ка одолей!», он мячом норовил зашибить тихоню музыканта,— жизнь впереди простиралась «без хандры и без тоски», мир ширился от порога до горизонта: география стержнем входила в биографию. Он был, в сущности, добродушен, этот бродяга и озорник, в нем жила гармония души, и грусть в дальней перспективе («через много лет», как он обещал себе и нам) посещала его в каком-то радужно-шутливом варианте: «Ты пройдешь весеннею Москвою, поворчишь: Ах, эта молодежь!.. И мои стихи о нас с тобою дома в старой книжке перечтешь...» И что же?

«Через много лет» его герой едет с дочкой в старый район Москвы и хочет показать ей места, где вырос, а она идет «с отрешенным лицом», скучая и тяготясь,— ей все это ничего не говорит, она — другая. Юные акселераты вместо того, чтобы принять с благодарностью наследие старших,— думают о своем... «Грустная история». Связь времен распадается. Дорога более не лечит душу: «...И опять пять минут до отправки! Снова мчимся куда-то, летим. Посидеть бы у дома на лавке, как старик осетин...» Так ведь и дом с лавкой тоже не лечит. Дом не спасает. Дом более не укрытие для человека. «Чем выше дом, чем дом уютней, тем беззащитней человек». Глобальность сужается. Поэт походов и поездок, Дмитриев по мере лет все более сосредоточивается на родной Москве; он передает обаяние ее уютных старых улиц, он вглядывается в особняки, солнечные теними предков, он грустит на перестроенных проспектах и вспоминает поэтов, дыхание которых еще не совсем выветрилось из старых уголков столицы. Грусть и умиротворение овладевают душой, некогда веселой и боевитой. Годы! Олег Дмитриев не то чтобы резко переменялся, нет, в нем именно сохраняется первоначальный дар доброжелательности, в нем гармония удержалась, только проступила печаль опыта.

Резко переменялся Костров. Вот в ком действительно переломилось, перемололось, перевернулось. Был — «синеглазый, дурной, озорной, молодой...», то есть это он теперь вспоминает, каким он тогда был, а тогда он видел себя другим: прямым, стальным. Символом стиха была «линия» — линия взлета: стальная ракета взмывала продолжением родословного древа; инженерный ум утверждал себя продолжением крестьянской, мужичьей сметки, вернее, напора: «Ой, вы, русские инженеры из Рязаней, Вятки, Калуг, это вы научили верить нас в умение рабочих рук». Разум соединялся с руками впрямую: хваткой. Дитя космической эры молодой Костров отправлялся р а с п а х и в а т ь космос как новую ниву; естественно, что «дедовская Русь» не противостояла этому взлету, а увлеченно вписывалась в траекторию XX века.

Что ж переменялось в Кострове? Прежде всего — ушла уверенность. Веселый шалый парень исчез. Кто на его месте? «Мы — последние этого

века. Мы великой надеждой сильны. Мы — подснежники. Мы из-под снега, сумасшедшего снега войны». Из первых — в последние. Раньше жизнь была крепка, тверда, железна. Теперь она хрупка, хрупче подснежника. Раньше душа была права; теперь смутное чувство в и н ы терзает ее, и к скорбным теням погибших русских поэтов вдруг неведомо как прибавляется тень Федерико, сгнувшего бог знает когда, бог знает где... Испанская рана, чуть напоминающая светловский плач о Гренаде, прикрывший когда-то плач о революции, — и у Кострова прикрывает самые сокровенные раны его души: плач о русской деревне, плач о крестьянине. Не то что родня оказалась «хуже» или «слабей», нет; просто на месте кражистых непобедимых «дедов» оказались реальные люди: «Дядя жены и шурин, крестный отец и тесть», — люди, по которым танком проехала война, и поэт, который когда-то просто клялся им в верности, считая это достаточным, теперь должен объяснить им смысл той тяжести, которую они на себе выволокли в истории. Должен, хочет — и не может.

Эти объяснения с родней, полные горечи, вины и смертной тоски, — самое сильное, самое пронзительное, что есть у Владимира Кострова; певец космической «пахоты» оплакивает опустевшую Русскую Равнину и — главное — он видит с е б я виновным в ее оскудении: «Я сам раскорчевал леса на луговину и возлюбил плоды, а семья оплевал. Я сам перерубил живую пуповину и сам святую связь с праmaterью прервал...» Да тут еще интонация — трубная, не вполне костровская, а по-настоящему пронзительная он в тихих, душу вынимающих разговорах со стариками, и тогда чувствуешь, что живой, подвижный, искрящийся, полный юмора стих Кострова и прежде, в юные годы его, когда он «врубался» и «врезался» в жизнь, — в сущности оставался тайной для себя самого и словно бы прятал этот стих до поры тайную боль: пришел опыт, пришла горечь — и правда пришла: болью, виной.

А Павлинов? Кажется, по тембру голоса и по фактуре стиха он наиболее соответствовал тому образу сильного человека, которого пытались когда-то выдвинуть поэты «общезития». Умер рано, и до самого конца писал вроде все в той же железной манере. И манера Павлинова: прямой свет, простые яркие краски, стремление к стиховой чеканности — манера эта, столь далекая и от подкупающей разговорности Дмитриева, и от иронической, «куражистой» прихотливости Кострова, — очень уж соответствовала заданному характеру землепроходца. Павлинов так и чеканил до конца своих дней героя железного, мощного, двужильного, который работает, ест и пьет за троих, на которого сопромат не распространяется и рядом с которым трактор слаб...

Удар пришелся откуда-то сбоку или даже «изнутри», неожиданный и непредсказуемый. Дочь! Сутулое и очкастое дитя города! И Павлинов, в мечтах и стихах которого смолоду царили крепкотелье, пахнущие хлебом и загаром крестьянские девушки, Павлинов, который обливал презрением «изнеженных москвичек», — получает таковую в лице своей дочери. И вот он смотрит, как девочка кормит птиц, и неведомое чувство сострадания проникает в него. «Торчит ключицы острое, и голос хрипловат и тонок, дитя неловкое мое...» Пробило железного человека? Нет, пожалуй. Он и теперь не чувствует бездны под ногами, как не чувствует и чужой слабости, — но теперь он как бы з н а е т об этом. Он уже верит андреевскому Гоголю, сутулому и загнанному, в углу московского двора: «Весь — боль, тревога и забота, он будто заглянул на дно и страшное увидел что-то, чего мне видеть не дано...»

Смерти он знать не хотел, он был слишком здоров, чтобы думать о ней. Мысль о смерти пришла как странный, абсурдный вопрос, от которого хотелось побыстрее освободиться. Он и теперь ни о чем не хотел п р о с и т ь... кого? бога? Он знал, что бога нет, и если просил у кого-то, как бы заменяющего бога,— то так неумело, так неловко... да и просил-то немногого: умереть «в земле родимой», не на чужбине. И еще просил — не в постели умереть: «Смерть в постели — вот штука обидная. Жизнь, пошли мне солдатскую смерть!»

Он умер в постели, от инсульта, разбитый и беспомощный, на гробовой черте обретая ту устойчивость духа, которой так яростно добивался на этом свете.

«Смерти нет, если люди при случае хоть однажды, а вспомнят меня».

Вспомнем Владимира Павлинова, горного инженера, работника, землепроходца, поэта — он отстрадал свое, хотя и не любил страдания...

Теперь — о Сухареве.

Парадоксально, но именно Сухарев — самый, казалось бы, подвижный и податливый, самый мягкий, самый «акварельный» из четырех обитателей «Общежития», — оказался из них самым устойчивым в стилистике и интонации. Он не пережил ни поворота, ни пересмотра, ни даже сколько-нибудь заметного уточнения позиции или тональности. Как балагурил — так и балагурит. Как улыбался — так и улыбается. Как шутил над собой когда-то: «Спросит век меня: Где ты? — Я туточки! Не великий я. Не герой», — так и теперь шутит: «Я — океан, рождающий цунами. Но это между нами. А людям говорю, что я рыбак, ютящийся у кромки океана и знающий, что поздно или рано цунами нас поглотит, бедолаг...»

Самое серьезное говорится как бы в шутку. Тончайшая и объемная графика стиха у Сухарева таит в себе какую-то загадочную подвижность, какое-то внутреннее зеркальце: то ли сдвиг, то ли обратный ракурс всякого нанесенного штриха. Путник — он возвращается. Человек дороги — он хочет понять себя. Он прячется в дом, в нору, в укрытие, чтобы еще острее почувствовать ненадежность любого укрытия — хрупкость самой планеты. На планете все живое, и все хрупкое, и все страдает — биолог Сухарев остро это чувствует. Даже комар-кровосос вызывает сочувствие. Интересный лейтмотив... Костров когда-то над комаром посмеивался, пряча раздражение: «Маловат комар, мелковат... рад, что каплю крови урвал...» Павлинов, волевым усилием признававший живую душу даже у камня, до понимания души насекомого дойти не успел: в сюжете «Зимних птиц» насекомые играли роль пассивную: они шли на корм птицам; если бы сюжет повернулся, Павлинов, конечно, признал бы комариную душу... как факт. Но такой естественной, такой «биологически» импульсивной, такой ж и т е й с к о й солидарности, как у Сухарева, нет более ни у кого: «Всего и езды от Москвы-то, а нету жратвы, ах, нету москиту жратвы, кроме нашей братвы...» Дмитрий Сухарев охотно отдает ему кровь: не то что «признает существование» иной твари — к р о в ь о т д а е т.

Уникальность сухаревской интонации — в шутливом признании бессилия, вдруг становящемся знаком силы. В признании беззащитности, становящемся защитой. Его безнадега хитра. Его разум лукав и мудр. У м н и к у Сухарева решает гамлетовский глобальный вопрос, не замечая, что, в сущности, не живет, а «вопрос решает». Ум бессилен перед судьбой, перед бесконечностью природы, перед самым малым чудом ее; он, ум, прячет свое бессилие в «глобальности», пристраивается к поляр-

ному сиянию, ослепляя себя, или лезет в «черные дыры» космоса — опять-таки от себя прячется: с собой он совладать бессилён. Противопоставляет ли Сухарев уму — глупость? В известном смысле — да. Но без той угрюмой серьезности, как это делает Ю. Кузнецов. И без той «скромности паче гордыни», что коренится в русских сказках об Иване-дураке. Сухарев мягок и улыбчив, у него ум и глупость совмещаются, путают друг друга. «Глупость» здесь — не поправка к «уму» и не укор ему, а что-то изначально неиспорченное, нетронуто, что-то от Дидея у Багрицкого: природное, светящееся, летящее. Во всяком случае, когда Сухарев говорит: «дурак», надо держать ухо востро. «Чем клясть вселенский мрак, затеплим огонек». Так думает дурак. А умным невдомек. И легче дураку. И в мире не темно. И умные стучат к нему в окр.».

Гармония? Гармония. Безмятежная? О, нет.

В сущности, это и есть вопрос вопросов: о цене гармонии. Он сразу встал у поэтов «Общежития», и они по сей день решают его своим творчеством. Гармония, которая должна примирить силу и разум, человека и природу, космос и землю. Самый простой путь — внешняя гармонизация, через музыку: музыку стиха, музыку мироздания. Неспроста у всех поэтов «Общежития» возникает эта тема: тема музыки, и у всех эта тема выявляет бессилие музыки гармонизировать мир. У Дмитриева, где мальчик, выбивающий нотную папку из рук «музыкального мальчика», останавливается в замешательстве. У Кострова, где гармонь и частушка не могут помочь в яростной жизненной битве. У Павлинова, которого, как под конвоем, ведут в консерваторию на «Лунную сонату», и среди концерта он обнаруживает, что у него щиплет в горле. А Сухарев с «Менуэтом»! Отец гниет в окопе, а сын играет на виолончели... Все прикованы к музыке, все чувствуют, что разгадка где-то «рядом», где-то «около». Это гармония дарования, даровая, даваемая тебе извне.

А изнутри? Как найти ее изнутри?

Дострадаться.

Я процитирую Сухарева не потому, что он написал об этом «лучше» других; не «лучше», а просто изначально по интонации он мне близок, ближе других, и мне легче показать на его стихе то, что вынашивают все четверо. Это — стихи к дочери:

Дитя мое, голубушка моя,
Кого, каким словечком образумим?
Прости отца, коль можешь: это я
Повинен в том, что этот мир безумен...

Вот. Это единственно верный ответ на вопрос. Слава богу, что у всех у нас есть дочери...

Существует только один путь к гармонии: выстрадать ее. Только один путь в мир: вобрать в себя его боль. Только один путь к очищению: «Я виновен».

Мир мал, хрупок, тесен. «Общежитие». Не уйдешь, не спрячешься, не убережешься.

Общее житье — вот все, что дано нам: уберечь и спасти.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



Рис. К. Петрова-Водкина

О СТИХАХ ПРОЗАИКА

«Москва. Литературная газета. Поэту Н. Тихонову. Если он жив» — так коротко и категорично в 1944 году надписала конверт, в котором была заклеена тетрадка ее стихов, военврач Г. Волянская, после контузии попавшая на долечивание в Нальчик и работавшая там диетврачом...

Потом, спустя несколько лет, все будут знать ее как прозаика Галину Николаеву, будут читать и перечитывать блестящий рассказ «Гибель командарма», на шумевшие романы «Жатва» и «Битва в пути», и совсем незамеченной пройдет подборка 1956 года («Знамя» № 5), названная значительно и емко: «Через десятилетие».

Только один из критиков отметит: «Из цикла «Через десятилетие» читатель вряд ли почерпнет для себя что-либо существенно новое». Равнодушно упрека окажется достаточным для того, чтобы писательница никогда больше не публиковала свои стихи. Это, однако, вовсе не означало, что она их больше не писала. Писала, но теперь уже, отревшишись от мыслей о публикации, писала абсолютно раскованно, пронзительно, искренне, не страшась чужого непонимающего взгляда. Писала, потому что не могла не писать. Писала для себя, чтобы выговориться, выясниться себе самой и выяснить для себя в стихах **все самое главное**.

Г. Николаева была страстным, увлеченным, живо мыслящим человеком. Стихия поэзии русской речи овладела ею еще в детские годы. «По-детски незамутненный взгляд», как отмечала критика, сохранился и в юношеских стихах, опубликованных в «Горьковской коммуне» в 1939 году (20 февраля) аспиранткой Горьковского мединститута. А публикации военных лет, и прежде всего две первые большие подборки в «Знамени» (№ 2 и № 4 за 1945 год), открыли читателям поэта мощного гражданского темперамента, поэта тонкой и одновременно сильной лирической направленности... Стихи сопровождали Г. Николаеву всю жизнь. Как аккомпанемент ее всем известной и всеми признанной прозы? Как лейтмотив ее беспокойного бытия? Возможно, и так. Но прежде всего как их смысл, как своеобразный способ дойти до самой сути происходящего, как образ мышления — более короткий, чем логический, и к тому же более емкий, нежели традиционный, более многомерный. Стихия поэзии, ее ритм, ее настоятельная непринужденность входит в прозу Г. Николаевой и становится одним из главных ее мотивов. Мощная поэтическая струя — вот ключ к разгадке успеха ее прозы — прозы пристальной и основательной. Именно присутствие поэзии настраивает, организывает, растолковывает — короче, преобразует **прозаический текст** в высокую прозу. Это — в «Жатве» с ее колдовским заговором: «Густо-солону, тепло озеро, не утопна волна...» Это — в «Битве в пути» с увлекающей поэзией образа «Тинки льдинки-холодинки». Это — в «Рассказах бабки Василисы про чудеса» с распевной и образной речью главной героини, которая, «родившись в глуши отсталой, полуфеодальной России и прожив в ней треть века, ... руками одиннадцати своих детей и первых внуков прикоснулась» к будущему народа своего: «А народ это такой: на руки-ноги его посягни — он крылья вырастит!» И недаром два последних произведения, которые создавались параллельно, переплетаясь между собой, подхватывая и развивая попеременно (и так по-разному) одни и те же темы, — это поэма в прозе «Наш сад» и цикл стихов «О самом главном». Смысл их? Наверное, в

том, что человек должен, обязан мыслить, развиваться, идти вперед и хранить и оберегать разумом, сердцем, руками эту жизнь, эту Вселенную, этот прекрасный и благоухающий сад жизни.

Итак, читайте! В написанной в самом конце стремительной и трагически короткой жизни поэме, ставящей и призывающей решить сложнейшие из современных писательнице проблем, в литературе 60-х годов даже неназванных, «безымянных», Галина Николаева говорит только о самом главном — о личном, переросшем в общественное, об общественном, ставшем глубоко, интимно личным, о боли за Человека и о вере в него, о беззаветной любви к Родине. Говорит словами горячими, горькими, беспощадными. Молит, требует, взывает: «Ни слепоты, ни страха!» Утверждает ту подлинную поэзию, когда

Для строф и строчек поголовно
Нужна отвага первых космонавтов.

Здесь — та часть цикла, с которой читатель не знаком и которая ждала своего часа с начала 60-х годов.

Татьяна Шеханова

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

О САМОМ ГЛАВНОМ

Шесть циклов стихов *

(Монологи и диалоги, о личном и общественном в условиях социализма и на другие темы)

* * *

Есть свойство особое: «странность»**.

Тебе, как и микрочастицам,
Тем свойством дано отличиться,
Поэзия,

на поле бранном
Рожденная.

Платье дымится...

Кровит неприкрытая рана...

Все в клочьях, и в гари...

...Все странно...

* * *

Колонный зал... Дыханье тыщи...

Накал страстей и тишина...

* Печатается в сокращении.

** «Странностью» называется в физике свойство, отличающее некоторые микрочастицы.

Он фраз не лепит,
слов не ищет,
Речь бьет и хлещет,
как со дна.

Сквозь все пласты
и все глубины
Фонтан горючий, нефтяной...
Ему трибуны, как турбины
рекордной мощи.

И спиной
Мы ощущаем киловатты,
За миллиардом миллиард...
Курносоватый, лысоватый,
Пиджак он сбросил, и на старт
Он вышел, засучив по локоть
Рубахи потной рукава...

Прошли года... Я плохо помню
Тех лет любовные слова.
Тех лет печали — ныне что мне?
Тех лет тревоги — мне смешны.
Но только вспомню, только вспомню
Тот день.

Накал той тишины.
И тот пиджак на спинке стула,
И память, как девятый вал,
Вдруг взмыла,
вскинула,
взметнула

В ту высоту.
В тот тесный зал,
Где все сердца в едином ритме
За ним твердили:
«Так держать!»

Где встал, как счастье,
как открытие,
Трибун народный и вожак.

И был он весь: плотью
от плоти

Тех, кто
аплодировал, встав,
Шахтер, хлебопашец и
плотник,
А случай придет — космонавт.
Так верилось,
так ощущалось.

И пот вытирал он
 с лица.
И Ленина знамя
 качалось
От бури в умах и сердцах.

* * *

Ему отпущено стократно
Все то, что множится добром.
Как алфавит, ему понятны
Колхозный двор
 и «Белый дом».
Он знал, когда снегам растаять,
Когда и как бросать зерно.
Как плачет женщина простая.
 Как удивленно и темно
 Глядят коровы на бетонный
 Пол, ожидая страшных бед.
Как улетает в мир бездонный
Отряд космических ракет.
 Он брал, как деда, землю горстью,
 И версты истоптал он пеш,
 Но казуистика заморских
 Дипломатических депеш,
 Их лабиринты и потемки
 Ему открытой и ясней,
 Чем всем прославленным потомкам
 Дипломатических семей.
Все знал. И звал. И вел.
 И смог он
Без домн, без МЭВ *, без призм, без линз
Все слить в стремлении высоком,—
Приблизить счастье — коммунизм.
 Тот час отмечен.
 Сочетанье,
 Где слит экстаз и ремесло,
 Накал души и точность знания,—
Мне в память накрепко вросло.
 И выше нет воспоминанья.
 Дороже нет воспоминанья.
...И горше нет воспоминанья...

* МЭВ — мера энергии.

О ПРОТИВНИКАХ РАЗОБЛАЧЕНИЯ КУЛЬТА

Как они не желали заикнуться об этом.
Как держали их дачи, и пайки, и «пакеты»...

Их держали «скрижали» —
Четверть века врубали
В плоть. В мозг вжали:
Сталин!

Комфортабельно было для души и для тела:
«Мы идейны! Великое делаем дело!

А в придачу —
При даче».

Правда хлынула лавой. Ей перечить — напрасно.
Закричали: «Вы правы!» Закричали: «Согласны!
Мы противники культа. Мы за правду, за факты!»
А мозги — до инсульта,

А сердца — до инфаркта:
«Страшно. Лихо.

Тихо!

Есть выход...»

Молчком.

И не шептали нам,
Лишь в мысленном сплетении:
«...Чуть-чуть шагнуть от Сталина...
...Не слишком близко к Ленину...»

У народа дел — тыща!

Новостройки. Жилища.

Ближе космос. Взят атом. Разрослась кукуруза.

Но случается рядом, тихой сапою,
труссы

У ворот коммунизма

С тем же архидевизом.

Молчаливо, тайно
В мозгах как тление:

«...На полшага от Сталина...
...Не слишком близко к Ленину».

* * *

Нет!

До конца! До конца! До конца!

Между двух стульев не пол, а
пропасть!

Нет полгероя и полподлеца!

Винта самолетного лопасть
на полподъеме

останови —

Укрыло снегом.

«Картофель, что ли?
Копнем, бригадир!

С таким урожаем
Ведро из гнезда...»

Это не поэзия?

«Поэзия — езда
в неизвестное».

А это — «знаемое»?!

Когда в горло кусок не лезет —
Это поэзия?

Пусть проза.

Сквозь слезы.

Плохая проза.

Дело не в эпитете,
Только объясните мне,
Начальники, начальники,
Начальники-молчальники!

Ведь убрали бы сразу

И до снега —

Одну фразу

Сказать колхозникам:

«Из десяти тонн каждый
Колхозу девять и вам одна!»

Повторять не пришлось бы
дважды.

Руками бы землю взрыли до дна.

Ботва, и та не пропала б.

В дожди — без отрыва.

В холод — без жалобы,

Копали бы дети, отцы и матери.

И это поле сейчас лежало бы

Чистой скатертью.

Праздничной скатертью.

Белой и гладкой.

А в подвалах и на прилавках

Грудами, кучами, в россыпь

Картофель, желтый, белый,
розовый —

Разный!

И все это сделала б

Одна фраза.

Так почему ж, начальники,

Молчали вы, молчальники?!

А они будто о неприличном:

«Но ведь одна из десяти стала б...
...личной...»

И в страхе, будто хочу я

съесть их:

«Нет! Лучше сгноить все десять!»

Кем вы биты-струганы,

До веку напуганы?

И сержусь,

И сетую,

И корю.

Про урок ранетовый — говорю.

«Яблони припомните», — говорю.

Пальцы растопырив,
в глаза смотрю:

«Два и два — четыре веды!» —
говорю.

В глаза не глядят,

Слушать не хотят.

Какая тут поэзия,

Злость — что кость!

Какая тут поэзия,

Боль — что соль!

Злее льва и тигра и всех зверюг:

«С вами нужны нервы!» —
я говорю.

«Есть такая книга», — я говорю,

«Год двадцать первый», — говорю,
Год двадцать первый,

том тридцать три.

«О крутых поворотах».

«Не говори!»

«О личном интересе».

«Молчи! Хоть тресни —
не говори!»

Дышат преступленьем

Речи твои».

Автор этой книги

Ленин В. И.

О КОРОВЕ

Предупреждаю: не хмурить брови!

Я буду говорить о корове.

Не по Есенину и не по Твену.

О корове обыкновенной.

Без лиризма и без комизма.

Никакой поэзии!

Тезисы.

Тезисы чистые!

Жила в своем стойле,

Пила свое пойло

Не тугосисая,

Не бодливая,

Доят — не дернется —
Терпеливая,
Не ведерница,—
Так ведь вдоволь сена не видела!
За что же
ее возненавидели?!
Извести ее стали пытаться
За что?
Может, от нее эксплуатация?
Может, нужна ей наемная сила?
Какое! Хозяйка сама доила.
Может, от нее сверхнажива?..
Э! Как говорится:
«Быть бы живу...»
Не для наживы и даже
не для продажи.
Трудодни малы,
семья велика,
Вся-то сытость — от молока.
За что ж, не прямо, так косвенно
Стали сживать ее со свету?!
А в колхозе молоко
добыть нелегко.
Изредка — по ложке на крошку,
(Трудяги-работяги, мол,
водой проживут,
И дедки да бабки так
и так помрут.)
Колхозный дом без молока,
Что без воды речной — река.
Пылища с днища,
Тоска-тощища!
На сто дворов —
Десять коров.
В колхозе имени Кирова.
Поэзия!
Дай же мне слов
Шекспировых!
Нет...
Речь моя слишком глуха и тиха,
И прошу я поэтов прославленных:
В сверхгениальных ваших стихах
Напишите, что это неправильно,
Когда на сто дворов —
десять коров!!!
Сама поэзия — слова ищи!
А я скажу прозой:
Товарищи!

Отведите беду мою —
Давайте вместе подумаем!..
Прошу я помощи большой,
Жива я еле-еле..
«Пусть всем трудящимся —
хорошо,
Но лучше всего — в артели!»
Иная мудрость умом недюжих:
«В артели худо?
Пусть еще хуже
У тебя на дворе.
Небось придешь — не за грош.
Потянешь без лени».
Разве это Ленин?!
Это ленинизм — головой вниз!
Эх!

Недолго срок — садов урок!
Золотой ранет —
подай совет!
Наливной анис — расскажи
про жизнь!..»
Говорят мне: «Не беспокой!
Может, только один такой...»
Но если один такой колхоз,
И о нем надо сигналить SOS!
Надо в набат бить:
«Не дол-жно быть!
Дав-ным-дав-но!
Быть не дол-жно!»

О БУФЕТАХ

Ленину
не надо од и элегий.
Лишь помнили б пару ленинских
строчек:
«Руководящим —
никаких привилегий!
Зарплата — как
у рабочих».
Он повторял их без счета:
«Сменяемость.
Подотчетность».
Он твердил ясно, как
«здравствуйте»:
«Того, кто, встав у власти,

Начнет хватать —
Гнать!
От таких — тленье».
Так воспитывал
Ленин.
«Если в бою ли,
в быту ль человечесьем,
Тягот скопление —
Коммунист первый
подставит плечи!»
Так воспитывал
Ленин.
По Сталину все иначе:
«Руководящим пайки и дачи!
Если рядом бесправье и скудость —
Молчать про такое!
Не пытаться дознаться, почему
и откуда.
И не бес-по-коить!!!»
А нынче.
Трудно. Становятся
в очередь.
Трудно с мясом, маслом и
прочим.
И лишь одна столовая,
один буфет,
Где наготовлено
все, чего нет:
Масло,
мясо,
крупы,
колбасы.
В столовой обкома.
И полутайком (ах,
лишь бы жители
не увидели!)
Тащат в авоськах,
в мешках тащат
жены руководящих.
Мелочь? Четверть мелочи даже!
Но кто подскажет,
Ум предмыслит чей:
Что вырастает из таких мелочей?

ПЕСНЯ ГРЕБЦОВ

Начальники-молчальники,
Довольно вам молчать!

Мы к берегу причалили,
Пора бы вылезать!
 А камни наворочены,
 И ветер штормовой.
 Недолго, между прочим, нам
 О камни головой.
И шлюпке расколется здесь
Недолго, видит бог!
Наврала ваша лоция
По части берегов.
 В ней бухту звать «Счастливая»,
 А в бухте тишь да гладь.
 Мы люди не трусливые,
 Но дно нам надо знать!
Остались только метры нам
И мы идем «ва-банк»...
Не страшны камни с ветрами,
Но страшен нам обман!
 Начальники-молчальники,
 Довольно вам молчать!
 Мы к берегу причалили,
 Нам надо вылезать!

* * *

И будет так.
 Ты только глянешь
И все поймешь: укор, вопрос.
И как тогда, в Колонном, встанешь
Во весь свой рост,
 до звезд и гроз.
Ты будешь прям.
 Ты будешь честен.
Но час пройдет, и все исчезнет.
Лесть... Дел круговорот...
 Склероз...
Нет, так не будет!
 Нет! Иначе!
Пусть смех! Пусть гнев! Пусть взрыв!
 Пусть риск!
Но пусть никто,
 никто не плачет
В стране, где есть социализм.
Где ты! Где мы! Где с нами правда,
Плечо с плечом, судьба с судьбой.
Но я одна...
 Лишь шелест трав да...

Нет, не одна.

С людьми. С тобой...

Здесь твой зенит, как в майский полдник.
Здесь высота!

Но не всегда...

...Там посулил и не исполнил.
Просчет и промах — не беда.
Но ты смолчал, не объясняя.
Там слову честных не внимая,
Льстецов корыстных внял гурьбе.
...И этим изменил себе...

Ты средь людей.

Тебе не надо

Для встречи подходить к окну.
Твоя промашка — всем досада.
Я не смолчу.

Я упрекну.

По нраву или не по нраву.

Каких бы там ни ждать лавин!..

Я упрекну тебя по праву
Моей испытанной любви.

Некстати, может быть, без толка.

Ну что ж — отбрось!

Ну что ж — осмей!

Я упрекну тебя по долгу
Святой профессии моей.

Не дезертир и не вояка,

Я не храброюсь и не дрожу.

Я упрекну тебя по знаку

Того, чем в жизни дорожу.

По всем уставам и приметам
Души прямой, души простой,
Свет должен оставаться светом.
Звезда — звездой.

И ты — тобой!

«НИ СЛЕПОТЫ, НИ СТРАХА»

Из веры,

из краха,

из праха

Тех... Рвавшихся в коммунизм...

«Ни слепоты, ни страха» —

Вырос девиз.

Безмерное недоуменье,

Гибель врасплох.

Два слова: «Партия», «Ленин» —
Последний выдох и вдох.
Поставили к стенке мшистой
Те, с ружьями,— ближе, ближе.
Не беляки, не фашисты!
Свои ребята! Свои же!
О-бык-но-венные парни...
Полдень о-бык-но-венный...
Дождик весенний пёрный...
Выкрик мгновенный:
— Ребята! Не вместе ль в семнадцатом?!
...Пуля в лоб...
При жизни чего б бояться им?!
Слепнуть с чего б?!
А слепли... Прозреть боялись.
Бесстрашные вдруг — в кусты.
Они ли сказали, я ли:
«Ни страха, ни слепоты»?
Девизом народа
и времени
С верою не в аллаха,
В сердце, что тверже кремния:
«Ни слепоты! Ни страха!»

СТРАХ

Есть страх звериный, птичий, человеческий,
Присущий всем страх смерти и увечья.
Трепещет тигр, и лапки вверх — мураш.
Лишь лучшим из людей
дано бесстрашье.
Есть страх бесстрашных...
Ужас смельчаков...
Тех, кто идет преданьем в глубь веков...
Страх без мольбы, без драки,
без признанья,
Страх — «гол король»,
страх разочарованья.
Он не звериный, только человеческий,
Сильнее страха смерти и увечья.

МОНОЛОГ ТРУПА

Помню: вокруг барабанов дробь,
Слава литавров и труб,
Знамена полощутся,
У ног алея...

...Волокут гроб,
 Волокут труп,
 С Красной площади,
 Из Мавзолея...
 «На свалку его, растакого!
 Лежи и тлей!»
 А я живого живей.
 Средь лая и хая
 В усы усмехаюсь.

Помню, звенели бокалы, рюмки:
 «Во славу! Во здравье! Навечно!
 Навечно!»

Трещат политические недоумки:
 «С ним кончено всё, конечно!»
 Косматя стилияжьби свои
 прически,
 Им в лад поэтические недоноски

Пищат: «Стерегите его в могиле!»
 Надгробный начетчик
 (поэт ли, поп ли?),
 Утри стихотворные длинные
 сопли!

Я жив!
 Я в плоти и в силе!
 И если всех вас, писклей,
 Свалить в единую кучу,—
 Я буду всех вас
 живей!

Я буду всех вас
 живучей!

Клянетесь Лениным...
 Входите в раж...
 А я усмехаюсь под гул речей:
 «Пускай двадцатый его и ваш.
 А двадцать первый съезд...
 чей?!»

Вспомним.
 Сулили: «Обгоним Америку!
 Молока, мяса, масла —
 больше...»

Годы прошли. Давайте сверим-ка!
 Масло? Из Дании. Куры? Из Польши.
 И как при мне матери,
 Так нынче их дочери
 В очередь!
 В очередь!
 В очередь!

Ленин сказал бы четко:
«Ошибка в наших расчетах».
Сказал бы: «А ну-те!
Копнемся в глубь и сути!
Для крутизны поворота
Не сделано то-то и то-то...»
— У меня другая система:
По шапке за эту тему!
По-пустому не портя нервы,
Я засыпал бы словесами
О грядущем, о коммунизме...
Я был с вами
на двадцать первом!
В каждом сердце вашем,
как в призме!
В ваших креслах —
я будто в череслах!
В вашем молчанье —
мое дыханье!
Благодарствуйте!
Мною царствуйте!

* * *

Пожалей, пожалей обо мне!
Страшно мчать по такой крутизне!
Так люблю немудреный мой дом,
В белой кухне сиянье кастрюль.
Золотую сосну за окном,
Над окном золотую зарю.
Даже след, что оставил мой друг
Меж такой жизнелюбой травы.
Даже ветер, что веет вокруг
Обреченной моей головы.

* * *

Когда стихи становятся
стихами?
Когда они прострелены,
как знамя.
Когда в них ритмы ленинского
шага,
Когда в них смелость, правда
и отвага.
Когда звучит в них:
«Третья готовность!»

Ликом светлый, телом крепкий,
Грудью — емкий, криком — громкий.

Обоймет — задушит.
Десять мамок сушит.

Младенец сломал три «колыски»: ивовую, деревянную и кованую
«весом: пять пуд с половиной». Вскормлен Егорий волчицей, утащив-
шей его из колыбели.

А малый-то ее в живот!
Так приналег — аж треск идет!
Причмокивая лихо,
Егор сосет волчиху.

А рядом — полукругом в ряд —
Шесть серых волченят.

А она-то его, уж она-то его!
Сосет — а та, знай, облапливает!
Уж мало ей лап четырех своих —
Хвостом норовит, анафема!

Растет Егорий своевольником и озорником.

Кочны вянут в огороде,
Цветы головы воротят.
Цвет не цвет, и гриб не гриб —
Всем головочки посшиб!

Окрошка на стол —
Подавай ему щей!
Любимая кошка —
И та без ушей!

Рядом с Егорушкой неотлучно его побратим-волчок.

У Егорки щеки круглые,
А у волка — впалые.
У обоих совесть смуглая,
Сердце в груди — шалое.

Егорушка вброд — и волчонок вброд,
Себе чего в рот — и волчонку в рот...

(Ср. пословицу: «Что у волка в зубах — то Егорий дал»).

Однажды набрели побратимы на «райский сад». Эпизод сада очень
важен в поэме: в нем проявляется социальная основа характера героя и
определяется дальнейшая его судьба.

За тыном — райский сад,
Глядит: кусты в цветах,

Меж них — скворцы свистят
На золотых шестах.

Остановился тут
Егор — воззрился — тут.
— На кой цветы цветут?
Их и козлы не жрут!

А волк-то вторит, сват,
Нос сморщив замшевый:
— На кой скворцы свистят,
Когда не жрамши мы?

В таком настроении герои перелезают через ограду и разоряют сад.
Появляются хозяева сада.

Алой рекой — лиясь,
Белой фатой — виясь,
В небе — заря взялась,
В травке — тропа взялась.

И по тропе по той,
Под золотой фатой,
Плавной, как сон, стопой —
Матерь с дитёй.

В белых цветах дитя —
Словно в снегах — дитя,
В белых цветах дитя —
Как в облаках — дитя.

В ручке платочек-плат
Альй-знать-клетчатый,
И голубочек над
Правым над плечиком.

На грубые слова Егория «дитя» отвечает такой кротостью и добротой, что Егорушка устыжается своего поведения и в слезах раскаяния падает на колени.

...И с материнских рук
Склонившись — дитятко:

«Рви, рви, опять взращу!
Семян-то множество!»
За обе рученьки
Его — на ноженьки.

Эпизодом «райского сада» кончается первая глава. В ней присутствует большое количество как фольклорных мотивов (раннее богатырство героя, его побратимство с животным), так и агиографических (прежде всего — чудо, происходящее с героем в детстве или юности и оказывающее влияние на всю его дальнейшую жизнь). Можно отметить

здесь также и другие реминисценции: мифологическую — героя вскармливает волчица и литературную, ибо эпизод «райского сада» — несомненная парафраза стихотворения А. Плещеева «Был у Христа-младенца сад...». Таковы некоторые элементы, из которых «примечталось» Цветаевой ее житие Егория Храброго.

Вторая глава — «Пастушество» — посвящена описанию жизни героя в пастухах, с неразлучным волком в овчарках. Двойственное положение Егория — пастуха, охранителя стада, с одной стороны, и волчьего выкормыша и побратима — с другой, привело к драматическому конфликту. Волчица (кормилица Егорушки) унесла из стада ягненка. Егорий в метель идет в лес, чтобы найти волчье логово и спасти ягненка. Отняв его у пятерых волков, герой поднимает ягненка на дерево и готовится вступить в борьбу со стаей. Появившаяся волчица напоминает ему о прошлом: «Припомни прежнюю хлеб-соль! Мы — тощие, ты сытый!» Егорушка устыжается, но ягненка не отдает, а предлагает вместо него на съедение себя самого. В последний миг, когда Егория готовилась растерзать вся стая, дерево с ягненком загорелось, пожаром распугав волков и спася героя.

Горит! — А пламя посеред
Горит! — Как в ризе ценной
Ягненок нетленный.

В третьей главе — «Купечество» — Егорушку приглашают к себе в приказчики остановившиеся на ночлег в доме его матери проезжие купцы. Егорий (с волком) торгует шесть дней, за которые выясняется его полная неспособность к торговле. В первый день он раздает весь товар даром, во второй верит покупателям на слово, в третий отдает всю выручку мошеннику и т. п. На шестой день Егорушка пожалел «мальца в тряпье», который потерял деньги и боялся возвращаться домой к лютому хозяину. «Малец» оказался, как и «ягненок» предыдущей главы, «дитятком» из райского сада, хозяева Егория, купцы, — святителями, а пастушество и купечество героя — его испытанием. Святители (вероятно, в их портретах отразились черты трех наиболее чтимых в народе святых — Сергия Радонежского, Николая Чудотворца и Серафима Саровского) объявляют Егорию, что он тот, кого они ждут с тех пор, «как Русь стоит». Святители отправляют героя в обетованную землю за «волшебным кувшинком». Кончается глава видением Егорушке провожающих его в путь трех святителей:

Уж миновал проселочек,
Привстал, оборочается:
На бугорку три елочки
Седатые — качаются,
Качаются — прощаются.

Старшая — как перстом грозит,
Вторая — как поклон творит,
Меньшая — как крестом хранит.

На этом связный текст поэмы кончается. Четвертая глава — «Серафим-Град» — осталась незаконченной.

По отрывкам и планам можно судить о необычайной насыщенности фольклорными мотивами всего замысла поэмы. Так, например, встре-

чающийся в сказках мотив «утроения тридесятого царства» (В. Я. Пропп), когда герой последовательно попадает в медное, серебряное и золотое царства, использован Цветаевой в построении пути Егория в Серафим-Град, состоящий из трех слободок: Соколиной, Лебединой и Голубиной. На пути к ним герой должен преодолеть три водные преграды — Огонь-реку, Лазорь-реку и Хрусталь-реку. В Соколиную слободку Егория с волком переносит через Огонь-реку «крылатый солдат», в котором можно узнать Михаила-архангела, выполняющего здесь, как и в русских духовных стихах, функцию перевозчика в рай.

Подобно тому, как агиографические памятники отражают быт времени их создания, а в «иное царство» фольклора перенесены земные интересы человека, и в частности, его производственные интересы, Цветаева переносит в Соколиную слободку мужские ремесла. Это — мужской рай мастеровых: там куют мечи и венцы русскому воинству, варят сплав для колоколов, режут пасочницы. Егорий по очереди испытал себя во всех ремеслах и нечаянно сковал Георгиевский крест.

Вторая область Серафим-Града — «Лебединая слободка» — пристанище «убиенных», павших на полях сражений русских воинов. Лазорь-река, преграждающая путь к ней, это слезы матерей, вдов, сестер погибших.

И последняя — «Голубиная слободка» (в нее через Хрусталь-реку Егория переводит по радуге «дитятко») — рай невинности и кротости, убежище детей и стариков.

За всеми слободками находится вершина Серафим-Града — Престол-гора. На ней Егорий, видимо, и должен получить «кувшинок».

Впоследствии (вероятно, в 1923 году) Цветаева вводит в свои рабочие планы мотивы и образы апокрифического жития святого Георгия: Злого Царя, Елисавету, змеборчество. Тогда же Цветаева заменяет и волшебный предмет. Теперь вместо «кувшинка» Егорий должен принести на землю хранящуюся у Елисаветы Голубиную книгу. Выбор именно ее не случаен, поскольку Голубиная книга стремится согласовать христианские понятия с древнейшими космогоническими мифами индоевропейских народов. Аналогичное стремление обнаруживает и сама Цветаева в замыслах «Егорушки».

В итоге, в полном соответствии со сказочной традицией, герой поэмы Цветаевой должен принести людям благо, воплощенное в волшебной, мудрой книге, а сам получить высшую силу и знание путем странствия в иное царство и возвращения из него.

Выбор героя поэмы обусловлен многими причинами. Святой Георгий — один из популярнейших героев русского народного предания. Д. И. Иловайский объяснял популярность Георгия на Руси и народную форму его имени (Егор) влиянием славы Игоря *. В образе Победоносца Георгий был изобразен на гербе Российской империи, со времен Дмитрия Донского он покровитель Москвы. Орден Святого Георгия — главный русский воинский орден за боевые заслуги. Егорий Храбрый русского духовного стиха — защитник христианской веры на Руси и устроитель земли Русской. Обращение Цветаевой к этому образу в его народном варианте было вызвано, думается, стремлением поэта воплотить народный идеал революционного времени. Эту попытку Цветаевой можно поставить в связь с романтизированными идеализациями патриархальной Руси в творчестве Клюева, Есенина, Ширяева, Клычкова. Однако поэма,

* Кирпичников А. Святой Георгий и Егорий Храбрый. Спб., 1879.

на которую было потрачено столько труда, осталась незавершенной. Тому было несколько причин. Прежде всего, думается, сыграла роль принадлежность «Егорушки» к определенному стилистическому периоду, за границами которого «балагурная» манера не была органична. Большой помехой служило, видимо, и то обстоятельство, что по мере развития повествования Цветаева все более отходила от реальной действительности (в той мере, разумеется, насколько она может отражаться в сказках и житиях) и все более приближалась к аллегории, жанру, чуждому природе ее дара. И, наконец, в 1922 году отъезд из России и внутренний рост обратили поэта к другим темам, не облакаемым ни в «плащи», ни в «рубахи».

* * *

Отрывки из поэмы «Егорушка» печатались в 1971 году в журнале «Новый мир» (№ 10) и в 1982 году в «Огоньке» (№ 42). Опубликованные фрагменты были взяты из первых трех глав поэмы.

Ниже публикуется (с незначительными сокращениями) текст первой части четвертой главы. Источник публикации — рукописные тетради Цветаевой (ЦГАЛИ, ф. 1190, оп. 2, ед. хр. 9, оп.3, ед. хр. 19).

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

СОКОЛИНАЯ СЛОБОДКА

(Из поэмы «Егорушка»)

Шагнул Егор, в лицо заря
Разит — пожар малиновый.
Обетованная земля —
Слободка соколиная.

Мечи куют,
Венцы куют,
А то и калачи жуют,
А то — народ-то русский! —
На кулачки дерутся.
— Ковалики-ковачи,
Работнички горячи,
Широкие грудочки —
Чего, больно, трудитесь?

— Мечи куем воинству
Русскому: вас, нынешних —
Правнукам. Зла туча-то —
Мечи куем мученству.

— Дозволь разок!
— Изволь, земляк!

Берет резóв
Пудовый млат,

Удар в удар —
Терпи, горяча!
Сковал удал
Четыре луча,

Да как схватит сваво ребеночка
Из-под млата — да на ладоночку!

Да дуть, да дуть
Из всех из щек.
— Хорош,— гудут,—
Крестам кресток!

— Хорош кресток! —
Ему все враз.—
Чудён чуток.
С пользой, быть?

— Ась?

Застыдился, дитя великое,—
Сам не знает, чего и выковал.

Пошел, хвален,
В обгляд, в обмер.
— Куды чудён!
Каких-от — вер?

Вместо Сына-то Богородична —
С лысениночкой посередочке.

— Бородой,— ворчат,—
Николиной —
Отродясь таких не ковывали!

Не обманешь глазка нашего —
Отродясь таких не нашивали!

Один: — Морской!
Другой: — Нет, стой!
Да ты с пруссой,
Орут, с польцой!

Не посланец ли —
блат-то пинская! —
Царя Польского, Попа Римского?

Затосковал, проста душа!
— Не я ковал,— рука пошла!
Чай одной, соколá, семеечки!
— А кресток (соколá) — имеется?

Кажы закон!
Клади поклон!

— В лесах взращен,
В водах крещен!
Со мной рядом и щука плавала.
Отвяжитесь, черти-дьяволы!

Громка глотка,
Плоха шутка.
Один: вот как?!
Другой: нут-ка!

Так бы малого и застукали,
Каб не Симон ему заступником.

«Соколá удáлые,
Молота нержавые!
Не можете малого,—
Его дело правое.

У ковца надвышнего
Что дуб — своя линия.
Не можете пришлого —
Его дело йное.

— Зародил Бог елочку —
Всотером не свалите.
Вы на него — с молотом,
А он — с наковаленкой!

Горячи в нем соки-то,
На обиду — скоренький:
Вы на него — с попиком,
А он — с колоколенкой!

С дубком — он с дубравою,
С катком — а он с прачешной!
Кресток не по нраву вам?
Часок поартачитесь.

То ж с злаком, то ж с ягодой —
Смекай, орлы-лебеди! —
Не тем плох, что пагубен —
А тем плох, что невидаль!

Глазурь пообсохла ли?
Глаза ль приспособились?
Так не плюйте ж, соколы,
Без стыда-без совести,

Без ума-без разума
На денек свой нынешний,
Чай, сама сыра-земля
Началась с новиночки.

Концы — равно-краткие?
Посередке — место гладкое?
Сроки должны исполнятся,
Место — мастером заполнится:

Бойцом кротким,
красой грозною —
По его, Егорья, образу.

И пойдет сия новиночка
По его, Егорья, имячку
Светлить грудки приосанены
Всему войску православному.

Слеза, моча —
Одна мокреть!

(Видно мать-то твоя — волчица!
Середь дела — в котел мочиться!)

Ох ты, нахал,
Орут, негож!
Ревун напал,—
Да где-ж, да кто-ж —

В самы сливки-то, в самы пенки!
Ну и встал бы себе у стенки!

Хорош — мужик:
Где встал, там льет!
Ай — хряк? ай — бык?
Да скот — и тот...

Чтобы место свое впредь ведал —
Самого тебя — слезе следом!

Глубок котел:
Сажен, быть, сто.
Молчит осел.
А волк — волк штó?

Ничего себе, носик — черный.
Только шерсть у него —
кверх корнем.

И — в переруб —
Грозя ушми:
— Он, может, дуб,
А вы — так пни.

Да в такой-то слезе —
врать буду? —
Серебра, почитай, с три пуда!

А ну'к, старшой,
Взгляни в горшок!
Каков настой?
Каков борщок?

А мороженщик — черпак
в правой:
— Что-ж эт', родные,
что-ж эт' с сплавом?

А с сплавом — тó, а с сплавом —
тáк:
Чистое сéребро черпак
Несет, затрясся черпачок —
Чистое сéребро течет.

Остолбенел,
Молчит — народ.
Кто — мак, кто — мел,
А кого — в пот.

А волчище-то, хвосток трелью:
— Ну, а я при ём — подмастерье..

(...)
«Под образа б
Тебя, слона!
Ну и слеза,
Орут, жирна!»

А волчок, аблакат занóзист:
— Поглядел бы на наш навозец!

Вдруг кто-то: хлип!
Да в ножки: бух!

— Вались, рóдные, навсеххватит!
Да все разом вдруг: — Про-ости,
бра-атец!

Что енерал на площади
Стойкóм, а кругом — бухают —
Проломанный картуз к груди —
Стоит Егор, звон слушает.

1928 г.

Подготовка текста и публикация
Е. КОРКИНОЙ

ВСЕГДА В ПУТИ



НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ

Родился и вырос в селе Окуневе Тюменской области. Работал трактористом в совхозе, рыбаком на Тобольском рыбозаводе, матросом пассажирского теплохода, служил в морской пехоте. Окончил заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького.

ПРИЛЕТАЛ САМОЛЕТ

Прилетал самолет... А зачем? Уж теперь не узнаю!
Пусть побольше загадок останется нам на Руси.
Помню, в озере Долгом, зеленую тину глотая,
От моторного рева ушли в глубину караси.

Самолет покружил, опускаясь во поле широком,
По которому резво коняга трусил под дугой.
Помню, мы от винта раскатились веселым горохом
И ковыль заклубило прессованной силой тугой.

И казалось — небес опускался за ярусом ярус,
Чью-то кепку удуло в угрюмый дурман конопли.
И линиях рубах пузырился неслыханный парус,
И смущенные бабы держали подолы свои.

Из кабины По-2 показался таинственный летчик,
Он на землю сошел и «Казбек» мужикам предложил.
Сразу несколько рук потянулось, и только учетчик
Угощенья не принял, видать в РККА не служил.

Прилетал самолет... Пустяки, приключенье какое!
Ну село всполошил, оторвал от работы, от дел.
И поднялся опять. Но я понял, не будет покоя,
Пока сам не дознаюсь: в какую он даль улетел?

Снова возле домов мужики с топорами потели,
И никто не расслышал мальчишечью думу мою.
На Засохлинском острове сильно березы шумели,
И журавль колодца раскачивал долго бадью.

ШЛА ЛОШАДЬ

Асфальт, налитый жаром,
Парил и тут и там.
Шла лошадь тротуаром,
Как ходят по делам.

Прохожие смотрели,
Как смотрят на коней.
И оводы гудели,
Летающие за ней.

Куда же ты, гнедая?
Сбежала от кого?
Юнцов косматых стая
Кричала:
— Мирово!

Гражданочка с поклажей,
С глазами, как магнит,
Ворчала:
— Да куда же
Милиция глядит?

А лошадь шла, щипала
Былинки на ходу
Да гривою мотала
В бензиновом чаду.

Шагай смелей, гнедая,
Сквозь этот гул и звон
Туда, где луговая
Трава, а не газон.

Где табуны пасутся
И вольные стада...

Туда б и мне вернуться
Однажды навсегда.

* * *

Со всеми грачами, стрижами,
Хоромы, считай, терема —
Берут за гроши горожане
В пустеющих селах дома.

Летят «Жигуленки» и «Лады»
По следу телег и саней.
Не стало привычного лада
У старых лиричных плетней.

Случайно в тенетах чердачных
То прялка, то серп удивит.
Но все же расчетливый, дачный,
Спеша, утверждается быт.

При всяких лихих переменах
Мы рады кивать на судьбу...
Я тоже купил за бесценок
В таком же селенье избу.

Конечно, морковь, редиска
И речка, и поле — близки.
Но чувство — как будто у близких
Все это отнял воровски.

Но снова сны, космические сны,
сны, полные нездешней новизны,
тревожат, в крик кричат из тишины,
что сбыться и они еще должны.

ЦВЕТЫ НА БАЛКОНАХ

За наименьшем настоящего
обычного клочка земли
мы на балконах сеем в ящиках
цветы, чтоб у окна цвели.

А поглядишь — дома с балконами
все выше, выше с каждым днем,
горит космья законная
почти космическим огнем...

Нас лестницы винтообразные,
возносят лифты в высоту,
живем мы, далеко не праздные,
как бы на взлете, на лету.

И только по расцветшим в ящиках
по бледно-розовым цветам
определишь, что настоящая
земля под нами, где-то там...

* * *

А знаешь, в поле человеческого зренья
не только профили галактик, звезд, планет,
но и размытые сквозь время отраженья
того, чего пока в действительности нет...

Не верь, что в озере не может отразиться
несуществующей березки золот лист,
не могут вырисоваться в пространстве лица
людей, которые еще не родились.

МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ

Родился в 1948 году в Брестской области. Окончил педагогический институт. Работал учителем в сельской школе. В настоящее время работает редактором Брестского телевидения.

Автор книги стихов «Неотъемлемое».

ТАНЕЦ ЖУРАВЛЕЙ

Эхо лай разнесло по тоням,
Пули свистнули им вдогон.
Но осталась ни с чем погоня,
Оборвав сумасшедший гон.
Вновь тебе повезло, пехота,
Сердце бьется в груди —
прошли!

Вместе с вечером на болото
Опускаются журавли.
Опротчетливо и рисково,
И война для них — не война.
Ах, в последних лучах пунцовых
Танцевала сама весна.
И по горло в воде, шатаясь,
От бессонных ночей лесных,
Все глядел партизан на танец,
Танец жизни, любви, весны...

* * *

Алексее Каско

Ну что, мой друг, опять не в свои сани
Попали мы с тобой — и понесло!
А может, мы придумали их сами,
Расчету и усталости назло?

И вот летим, летим над самой кручей,
И лошади на слушаются нас.
А впереди пожарищем могучим —
Неведомая поздняя весна.

А мы смеемся весело и звонко,
Как будто подгулявшие сваты,
Косит глаза размашистая тройка,
И только небо, только я и ты...

СКРИПКА

Ровесников деда почти уже нет,
Все меньше их видишь по селам.
...Брал скрипку свою неразлучную дед
По каждой причине веселой.

И был невесомым кленовый смычок
Для пальцев крестьянских усталых,

И скрипку легко принимало плечо,
И в хате внезапно стихало...

Мелодия та и сегодня живет,
Мир ею, как сказкой, наполнен.
А перед глазами по струнам плывет
Смычок, будто лодка по волнам.

Старушка, которую я и не знал,
Припомнит по главным приметам:
— А, тот, что на скрипке когда-то играл...
Киваю я радостно:

— Этот!

ХОДИКИ

Сегодня уж не в моде вы,
Но нет покоя для вас.
Какой десяток ходите,
Какой отстучали час?

При вас любили и плакали,
Ругались, видели сны,
С пугливыми аистятами
Встречали приход весны.

За окнами в тихой Свислочи
Извечно текла вода.
Ветра на подворьях рыскали,
А вы считали года.

Привычна работа тихая,
Струится дней череда,

Неспешно в беде вы тикали,
А в счастье спешить куда?

* * *

То ясное солнце светит,
То осень начнет воровать...
Как же мне жить на свете,
Чтоб в самом деле жить?

Дни ушли золотые,
Иней лег на висках,
И вновь — дороги крутые,
И вновь не ответишь — как?

Переводы с белорусского
Петра КОШЕЛЯ

В НЕПОГОДУ

Моросят дожди и льют,
Ветер свищет в окна.
Ну какой же здесь уют,
Если все промокло?
Выхожу я на крыльцо,
Дождь, как занавеска,
Капель пригоршню в лицо
Мне бросает резко.
Мокро курам на дворе,
Сыро небосводу,
Пес ругает в конуре
Мерзкую погоду.
В гребнях пенится залив,
Чаек вбок заносит.
А на струнах голых ив
Ветер славит осень.
Мне бы надобен покой,
Но такой не нужен.
Ребятишки над рекой
Шлепают по лужам.
Воробей летит с куста
На крыльцо резное,
Даже если мокрота —
Все вокруг родное.
Непогода.
Неуют,
Шпарит дождь по следу.
А пошлите жить на юг —
Дудки!
Не поеду!

ЗАБРОШЕННЫЕ ВИШНИ

Зацвели заброшенные вишни,
Все еще
Своих хозяев ждут.
Из прогнивших изгородей
вышли
И к дороге медленно идут.
Словно смотрят
В горе и смятенье,
Словно ждут,
Ну хоть какую весть:
Что-то есть щемящее в цветенье,
Что-то недосказанное есть.
Их целуют ласковые пчелы,

Теплый пар их греет от земли,
И на прядях белокурых челок
Грузные качаются шмели.
Одиноки брошенные вишни,
Их печалит скорбный неуют.
Потому
Они к дороге вышли,
Из травы на цыпочки встают.
Хочется им нового забора,
Ласково распаханной земли,
А еще
Скупого разговора,
Чтоб его —
Хозяева вели.

СОСЕДИ

У полей золотая оправа,
Доит ветер с деревьев листву.
Два соседа:
И слева и справа
Уезжают обратно в Москву.
Здесь все лето они гостевали —
Значит, разные есть отпуска:
Загорали,
Морковь поливали,
Приносили цветы из леска.
До отвала наелись редиски,
Насушили плотвы и грибов,
Надарили сородичам близким
Городских непривычных обнов.
Удивительно! —
Жить не учили!
Не совали всезнающий нос,
Мол, теперь
И в зажатке почили,
И кладете неправильно воз.
...Очень тихо они уезжают,
Я один остаюсь на краю,
Словно пчелка дотошливо жалит —
Что-то душу тревожит мою.
Не грузили со мной,
Не косили,
Не шумели под синим окном.
И меня
Ни о чем не спросили —
Им большое спасибо
На том.

ГЕННАДИЙ КАСМИНИН

Родился в 1948 году в деревне Казачка Саратовской области. После школы работал в колхозе, на заводах Саратова. Служил в Советской Армии. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор сборников «Горький клевер», «Грибница», «Вещий камень», «Не говорю «Прощай!», «Однажды и навсегда». Член Союза писателей СССР. Живет в подмосковном городе Реутово.

ПИСЬМО НА НЕЗНАКОМУЮ
ПЛАНЕТУ ЗЕТ ПО ПОВОДУ
ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА И ПО
НЕКОТОРЫМ ДРУГИМ СТОЛЬ ЖЕ
НЕМАЛОВАЖНЫМ ПРИЧИНАМ

Солнце ползло по фабричной трубе
В омут металла,
Словно бы гайка ползла по резьбе
И скрежетала.

Медленно. Долго. Виток за витком.
Ниже и ниже.
Булькало небо крутым кипятком,—
Так помоги же! —

Свяли газоны, сварилась листва
Наполовину,
И раздраженно плюют существа
На пуповину.

Будто бы свяжет их с вечной травой
Трубка из меди...
Есть ли не робот, а кто-то другой
Там, на планете?

Я вам кричу из Вселенной почти,
Из мироздания,—
Кто ни услышит, слова не сочти
За назиданье.

Просто у нас на Земле синева
Солнышку рада,
Просто растет на лужайке трава
У ветрограда.

Дождики наши чисты и просты,
И не ранимы.

Весело им щебетать и расти
В лоне равнины.

Прочего — много! Всего и не счесть.
Лучшему — сбиться!
Думают люди, не как бы поесть,
Как бы влюбиться.

Это, я думаю, истинно так,
О незнакомцы!
И покупаю конверт за пятак
С мыслью о солнце...

МУЛИНЕ

Печка прогорала к полуночи,
Инеем выбеливало дверь,
Из угла телок тарачил очи —
Добрый, улыбающийся зверь.
Чудеса!

Копытцем стукнет браво,
Мыкнет, как мякнет,
и живет:

Матушке — забота,
Нам — забава,
Всей семье —
подспорье через год.
А пока никто еще не знает,
Выживет забава или нет...

Спит отец,
он важным делом
занят,
За полночь горит на кухне свет.
Вспоминаю,
что там в быстрых пальцах
Радужно отсвечивало мне? —
Вышивала матушка на пяльцах,
Нитки назывались — мулине...

КАРТИНА ЖИЗНИ

Ты долго спишь, ты много ешь,
Ты на обиды время тратишь,
Уехать хочешь за рубеж..
Но не в засаленном халате ж!
И в состоянии таком —
Кому ты нужен там без денег?
Тебя соседи Мотыльком
Зовут за то, что ты — бездельник!

Пока ты ешь, пока ты спишь,
Пока растишь для ямы тело,
Ты, словно прогорелый пыж,
Вторично не годишься в дело.

Поля обрызганы росой.
Сломал ты кисть, забросил
шпатель,

И пишет жирной колбасой
Картину жизни обыватель!

ТРЕВОЖНОЕ ПРЕДЧУВСТВИЕ

Варево так в чугунке не томилось,
Так не томилась в безветрии Цна —
Впал я однажды к начальству в немилость.
Утро настало, а не было сна.
Вспомнил зато я, как спали другие.
Толстый мужик
Шевелился линём.
Спали влюбленные полунагие,
Сжавшись в комок перед будущим днем.
Спали солдаты на лавках в вокзале,
Спали красавицы
Возле старух.
Видел я спящих на хлебе, на сале,
Спящих среди
Тараканов и мух.

Это единственная защита —
В незащищенность нырнуть с головой
И позабыть о немилостях быта,
О неудаче своей трудовой.
Вижу начальственно-бледные лица,
Стертые бдением ночным о зарю...
Чистым и ясным на службу явиться
Очень неплохо,
Я вам говорю.
Съешьте на завтрак вчерашний творожник.
Не позабудьте в метро подремать...
Тех, кто не спит от предчувствий тревожных
Вовремя надо
С работы снимать!

СОЛДАТАМ ЗАПАСА

Пока я смиренно стоял на своем
И ждал молчаливой победы под старость,
Воскликнул товарищ:
— Давайте споем!
И хлынула горлом светлейшая ярость.
Нам нечего ждать от судьбы перемен,
Под старость нас ждет не победа — могила.
Найдите, найдите солдатский ремень
На свалках Москвы, Ярославля, Тагила.
Латунные пряжки надраить пора,
И вспомнить завет боевого комбата,
Когда, ухмыляясь, глядят фраера,
Как делят страну «деловые» ребята.
И если мы смолоду честь берегли,
И если мы были обучены бою,
То как же случилось, что все полегли,
Сберкнижки свои прикрывая собою?
На теплом диване валяться легко,
Облизывать ссадины, словно варенье,
И всех посылать далеко-далеко
С широкой и мягкой подушки смиренья.
Удобная поза!
А ну-ка, ремень,
Попробуй теперь поразмяться немного:
Пройдись по сознанию,
Обуй и одень!
Солдат не простит боевая тревога.
Сирены ревут над Россией...

Пора!

Под старость не будет последнего шанса.
И если за горло берут фраера,
И если они торжествуют,— вмешайся!

ВОРКУТА

Север, север, ты мне люб,
Дым из труб, стада олени,
Заполярный холод губ,
Словно в наледи, колени.
Утверждаю: здесь тепло!
Пальмы в кадках, лето длится,
Если только не трепло
Прилетает из столицы.
Славный город Воркута
Батарей топит жарко,
И усатого кота
Греет в розах полушалка.
Полушалок в небесах!
Там, над шахтами, сиянье!
Штормовое, на базах,

Снега с холодом слянье!
Ночь черней, чем черный чай,
Никакого потепленья.
И в твоих глазах печаль,
Как в снегах тропа оленье.
Час не лучший,
Он такой,
Что друг другу скажем оба:
Любим свет, тепло, покой,
Любим таянье сугроба.
Уходящий шорох стуж,
И весенний гомон птицы...
По непрочным плиткам луж
Я иду с тобой проститься.
Говорю в последний раз
Безнадежно, горько, трудно,
А навстречу — темень глаз
И светающая тундра!

НАДЕЖДА ЕМЕЛЬЯНОВА

Родилась в 1947 году в Свердловской области. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Печаталась в журналах «Волга», «Студенческий меридиан». Автор двух книг стихотворений. Живет в Оренбурге.

* * *

Отцветет белоснежьем зима,
Отблестит позументами осень —
Ни о чем у природы не спросим:
Пусть одарит чем хочет сама.
Надо только довериться ей,
Внять ее немудреным законам,
Не смущая ни льстивым поклоном,
Ни гордыней безмерной своей.
Но покорность не чтилась и встарь,
Ни к чему она сильному веку,
Дела нет до нее человеку,
Коль не сын он природы, а царь!
Вот и царствует — не бережет,
Вот и властвует, вот он и правит:
Вырубает, и пашет, и жжет,
Заливает, взрывает и травит!
И нет-нет да проснется опять —
Тоже нашего времени вежи —
Призрак самой безумной утехи:
Русла рек поворачивать вспять!..
Вот когда терпеливая мать
Потеряет рассудок от гнева;
Содрогнется вселенское чрево,
Как начнут гордеца унимать!
И сойдутся средь грохота льдин,
Рева смерчей, вулканного чада
Гомо сапиенс — блудное чадо
И Природа — один на один.
На зловещих руинах ее
Проклянет он свое превосходство,
Вспомнит: только Земли первородство —
Вот в чем будущее бытие!
Кто сказал, что она не права,
Что жестока и несовершенна?..
Дрогнет ветки живая антенна —
Чутко слушает бездну трава.

РОДИНА

Я из пепла родом.
Не примите
За игру беспечную слова:
Есть разъезд — над крышами в зените —
Солнце да простора синева.
Прахом лет, золой степного пала
Щедро сдобрен каждый бугорок,
И копытом било, и топтало
Эту землю вдоль и поперек.
Но была какая-то особость
В том, что даль — вокруг и над тобой! —
Породнилась русская оседлость
С азиатской кочевой судьбой.
И тогда на пепле, на суглинке,
На белесом буйном полынке
Разбрелись просторно, по старинке,
От стальных путей недалеке
Эти избы.

Глина да солома,
Плоской крыши низкий козырек;
Грел сердца лишь дым родного дома —
Лад, что каждый ревностно берег.
Прижились! —

Не думая о благе,
Обходясь без леса и воды:
От скупой солено-горькой влаги
Чахли огороды и сады,
Разрастались молочай да кашка...
И, угрюмо глядя на восток,
Ветряка железная ромашка
Уронила ржавый лепесток...
...Вся-то жизнь —

в насадном гуде рельсы,
За плетневым тыном — целина,
Но как прежде, будто погорельцы,
Пепельцами звались, хоть сполна
Приобщились все — и стар, и молод —
К новостройкам, планам, большакам,
И давно уже и серп, и молот
Наравне послушны их рукам.
Время, Время, сбереги мой Пепел —
Вотчину саманную мою,
Дым его — так сладок он и светел —
И так слаб у века на краю!..

ПОДРАЖАНИЕ «СТРАДАНИЯМ»

«Перетрется-перемелется,
Стерпится да переможется» —
Что ни присказка — века:
Ко любой нужде примерится,
Ко любой судьбе приложится —
Тут и мўка, и мука...

Говорят, во дни ненастные
Ноют руки-ноги битые,
Все суставчики болят;
Говорят, что те несчастные,
Кому раны позабытые
Спать ночами не велят.

У меня ведь ран не водится,
Разве хворь случится плевая,

Да и кости — монолит.
Отчего же непогодится,
Отчего же, непутевая,
Вся душа моя болит?..

Не сиротского я племени,
Не вдова, хоть раньше времени
Отцвели златые дни,
И все чаще муж злословится —
Да от слов душа не сломится,
Так, царапины одни!..

Нет, грешно мне плакать-жалиться,
Не к лицу-то мне печалиться,
Опускать унылый взгляд,
Сетовать, мол, нету счастья...
Видно, к нынешним ненастьям
И царапины болят...

Я ДУМАЛА...

Я думала: что ж, на двоих и одной
Любви моей хватит в избытке;
Навстречу стихии, как некогда Ной,
Кораблик направила зыбкий.

Я думала: эта криница без дна,
Любовь моя вечна! А ныне
В слезах и обидах иссякла она,
Как старый колодец в пустыне...

Я думала: коль не хватило любви,
Осилю привычкой и долгом,
И снова твердила:

— Ковчег мой, плыви! —

Продрогшая в плаванье долгом...

Я думала: общий наш дом — вот оплот,
Друзья в нем — надежные звенья,
Но ходят друзья мимо наших ворот —
Добро, не бросают камня.

Я думала: только терпенье спасет
Разбитое, жалкое судно,
Когда то на мель, то на скалы несет
Судьба, а она неподсудна.

Вот так по крутой, по соленой волне
Плывет он, упрямый и важный
Кораблик семейный. Но чудится мне —
Он весь до флагштока бумажный!..

* * *

— Мне холодно в твоём огне...
Б. П р и м е р о в

В этом доме все молчат,
Потому так звуки резки:
Даже шорох занавески,
А уж как полы кричат,
А уж как стучат ножи,
Как звенят стаканы с чаем! —
Поскорей допить не чаем
И — «по норам», как ужи...

Истинно, язык — наш враг:
Сколько было слов напрасных,
Чтобы осозналось ясно:
Нет любви — все ложь и мрак.
Вот когда простая речь
Тягостной обузой стала,
Вот когда душа устала
И беречься, и беречь.

Холодно в огне твоём! —
Легче с посохом по свету...
Ничего страшнее нету
Одиночества вдвоем.
И как молнии разряд
Страх несет в безвредном громе,
Так и в онемевшем доме
Жутко тени говорят...

* * *

На осеннем промозглом ветру,
Настудившем и воду, и сушу,
Я последние слезы утру,
Просквожу свою праздную душу.
Чтоб она, провожая года,
Трепетать разучилась и никнуть
И, пока есть чужая беда,
О своей не посмела бы всхлипнуть.
Хватит ей о себе горевать,
Окликать и любовь, и удачу:
Наступила пора отдавать —
Пусть отдаст.
Если что-нибудь значу.
Пусть иссохнет от детских обид,
От людской маеты кровотоцит,
О зверье и о птихе болит,
Над своею печалью — хохочет.
Пусть увидит, сгорев от стыда
И забыв о своем превосходстве,
Веси, кладбища и города
То в жестокости их, то в сиротстве.
Пусть осилит все это понять! —
Эти скудные доли и реки —
Не оплакивать и не пенять,
А любить. Безответно, навеки.

...Наступила пора выбирать,
Кто есть кто. Что спасает собою.
На костре за идею сгорать.
На щите покидать поле боя.

ГЕРАСИМ ИВАНЦОВ

Родился в 1948 году в Ижевске. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работает в газете. Автор книг стихов «Запах дождя» и «На перекрестках».

* * *

История — не летопись парадов.
В дни траура, в минуты торжества —
Нет, не спешит она вручить награду —
На славу и бессмертие права.

Пред ней равны рабы и полководцы,
И краткий миг, и самый долгий год...
История прекрасно разберется
И каждому укажет свой черед.

И тот, кто властью был известен миру,
И тот, кто не был знатен и богат,
Ей повинясь, встанут по ранжиру,
Как новобранцы в строгий строй солдат.

И знаю я — смутит ее едва ли,
Что мы, порой потворствуя вранью,
Бессмысленно солдат переставляли,
Стоящих в этом сомкнутом строю.

* * *

О, эта робость, вьёвшаяся в кровь,—
Опасней и сильней любого яда,
Всю жизнь диктует нам: не прекословь,
Не подходи, не спрашивай, не надо...

Мечта перешагнуть через запрет
Подобна счастью заново родиться,
Ведь нам внушала робость с детских лет,
Что в жизни есть всему свои границы.

— Задумался о чем?
— Да просто так...
— Входи смелее!
— Нет. Пора обратно...
— Вам больно?

— Что вы, это все пустяк...
— Вы счастливы?
— Не знаю... вероятно...

Мы так покорно тянем этот груз,
Как будто он от страшной смерти средство,
И я тещу,
И одного боюсь —
Оставить сыну это все в наследство.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАЗКИ

Мальчонка ростом не больше мизинца,
Но в деле житейском мудрей старика,
Золушка замуж выходит за принца,
А царевна — за дурака...

Слышит волшебное слово калека
И поднимается богатырем...
К сказочным тайнам не нашего века
Ключ подбираем — не подберем.

Серые волки тоскуют в зверинце,
И, торопливо, судьбе вопреки,
Замуж царевны выходят за принцев,
Золушек в жены берут дураки.

Но, пробиваясь сквозь темные краски,
Светлое солнце наивной мечты
Вновь возвращает бессмертие сказке,
Снова о будущем думаешь ты.

* * *

Над тропинкой узкой
Утром рано,
Под шатром больших еловых крон
Ходят волны белого тумана,
Слышен капель легкий перезвон.

Освещенный пламенем восхода,
Дремлет на пригорках древний лес.
Кто-то слово скучное «Природа!»
Скажет и...— прощай, страна чудес.

Узкая тропинка под ногами,
Сырость, грязь, болотная вода.

Бьют деревья по лицу ветвями —
Кто ты и зачем пришел сюда?

* * *

Леса резные верхушки...
Скрытый густою листвою
Глинистый берег речушки,
Холод воды ключевой...

Что еще видится ясно
В пропасти прожитых лет?..
Прошлomu дню неподвластный
Радостный утренний свет.

Помнится миг пробужденья,
Шорохи, скрип половиц,
Сладкое прикосновенье
К жизни без всяких границ!

Дед на завалинке греться
Вышел опять, как вчера,
Памятью давнего детства,
Счастья, тепла и добра.

Выбегу солнцу навстречу,
Близкому мне одному.
Что-то внезапно замечу,
Что-то неожиданно пойму...

ВИКТОР ЕСИПОВ

Родился в 1939 году в Москве. Окончил Калининградский технический институт рыбной промышленности. Работает инженером в тресте Гидромонтаж.

Печатался в журналах «Юность», «Знамя», «Смена», в газетах «Правда», «Литературная газета», альманахах «День поэзии», «Поэзия». Автор книги стихов «Общий вагон».

ДОРОГА

Семафора зеленое око,
Пожелтевших осин и берез
За окошком мельканье — дорога,
Торжествующий грохот колес.
Дверь зеркальная, верхняя полка,
Холодящий порыв ветерка —
Вновь за стеклами крыши поселка,
Желтый лес, и за лесом река.
А внизу незнакомые лица —
Чья-то плешь, чей-то русский вихор.
Скоро чай принесет проводница,
Зазвучит веселей разговор.
О земле и немного о небе,
Что простерто над этой землей,
О заботах насущных, о хлебе —
Все о жизни, о жизни людской!
Без прикрас достоверная повесть,
Тьма в окошке, и вспышки огня.
Бьют колеса размеренно... Поезд
В глубь России уносит меня.

* * *

Деревня, лето под Москвою,
Разбитой церкви купола...
Мы в лес ходили всей гурьбою,
Нас ждали важные дела.

Еще мы гильзы находили
Иль каску ржавую во рву.
А немцы пленные косили
Густую русскую траву.

Дудел в гармонику губную
Один, с очками на носу...

Мы разбегались врассыпную,
Когда встречали их в лесу.

В свои семь лет мы были правы,
Живя вне сложностей и лжи.
Так лес шумел и пахли травы!
Так васильки цвели среди ржи!

С проселка пыль взмывала в небо,
Сигнал машины, скрип телег...
А у плетня просящий хлеба
В мундире сером человек.

Я взгляд в него метал из сенцев,
Я был серьезен, хоть и мал!
Но странно: вид голодных немцев
У женщин жалость вызывал.

* * *

В клеверах след машинного ската,
В душном воздухе запах смолы.
Горячи и красны от заката
Тоших сосен прямые стволы.

Крик утиный — не гогот лебяжий,
На полях — низкорослая рожь.
В подмосковном
неброском пейзаже
Баснословных красот не найдешь.

Не выводят здесь шелковый кокон,
Не красуется кедр голубой,
Крыш коньки и наличники окон
Не украшены тонкой резьбой.

Сколько разных красот по Союзу —
Там и горы, и водная гладь...

ЕВГЕНИЙ ЧЕПУРНЫХ

Родился в 1954 году в Чапаевске Куйбышевской области. Служил в армии. Работал слесарем, грузчиком, составителем поездов.

Автор книги стихов «Свет из окна». Стихи печатались в журнале «Юность», в альманахе «Поэзия».

Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей.

* * *

А погода становится злее,
Даже птицы молчат на лету.
Почему-то я с детства жалею
Тех, кто долго стоит на мосту,

Тех, кто сам себя лечит и судит,
Избегая душевных пустот.
И стоят-то все умные люди,
Почему-то им всем не везет.

С неба слышится ласковый тенор,
И уходит асфальт из-под ног.
Под мостом притаившийся демон
Приготовил порожний мешок.

Как легко, и тепло, и бесстыже.
Только мысли, как волны в реке,
О далеком подсолнухе рыжем,
Об оставшемся дома щенке.

Только лунного света латунность
Через сердце проводит черту.
Я-то знаю, о чем нужно думать,
Если долго стоишь на мосту.

* * *

Кинет ярмарка клич. А пока,
Невзирая на суетность света,
Нужно честно считать облака,
А иначе забудем про это.

А иначе, поверьте, взамен
Мы и впрямь от себя не спасемся
И в один подходящий момент
Окончательно перегрыземся.

Стань мечтателен, как пастушок,
Не мешай озабоченным массам.
Стой в сторонке и ешь пирожок,
Полный риса и пахнущий мясом.

Но, пожалуйста, наверняка,
Палец к пальцу,
как школьник считает,
Посчитай над собой облака.
Сколько их, черт возьми,
там летает?!

Будет больно глазам, но зато
Будет праздник
в телегу впрягаться.
и на нем не напьется никто,
И никто не захочет ругаться

* * *

Вся наша старая семья
Трубит жестокий сбор.
Пять пальцев — это значит я
И четверо сестер.

Пять пальцев, сжатых смерти вслед,
Судьба вас сбереги.
А для отца и пальца нет,
Он стоил всей руки.

* * *

Ни плащом, ни курткой венской
Мне себя не изменить.

Наряжаться — дело женское,
Наше дело оценить.

И не брать, играя, за душу.
Много их — воображал.
Наше дело топтать рядышком
И держаться за кинжал.

И не быть покорной жертвою,
И в свою не верить власть.
Выстрел в спину — дело женское,
Наше дело — не упасть.

* * *

Собака рычала во сне.
Собака была как ребенок.
Ей просто приснился котенок,
Который пицал на окне.

Старик же, напившись вина,
Храпел и почесывал брюхо.
Ведь старому снилась старуха,
И шибко бранилась она.

А бабка увидела сон
Про молодость
И растерялась.
Поэтому часто брыкалась,
Подушку же скинула вон.

А полночь с луною была,
С росой, с черемухой белой.
А кошка совсем не спала.
Ей это уже надоело.

* * *

В небесах каких парите?
Чью подслушали молву?
Вы со мной поговорите,
Может, я еще живу.

Может, мне не одиноко.
Может, в этот самый час
Я люблю поэта Блока
И не думаю про Вас.

Что мы с Вами вместе значим?
А раздуматься опять:
Мне теперь сам бог назначил
Блока вечером читать.

Слаще Блока нету яда.
Почитал и уяснил:
Сочинять уже не надо,
Все он, бедный, сочинил.

Мы воришки и воровки.
Дух взорвался и затих.
Кстати, в способах рифмовки
Нету правил никаких.

Нужно только слушать ветер
На ветру, не взапери.
В старом парке на рассвете
Очень медленно идти.

И дышать синичьим пеньем,
И возвышенно стареть.
И над собственным кипеньем,
Улыбаясь, пальцы греть.

* * *

Взглянув на мир слегка оторопело,
Задумаюсь: «Невесело живу...»
Начну как все

с растапыванья пепла,
А после снег на землю позову.
Наивная и добрая идея
Еще поможет мне, как ни суди.
Когда-нибудь и я помолодею,
Пригрев комочек снега на груди.
Моя душа в другой душе растает.
И вот, возникнув из глубин Руси,
В меня поверит женщина простая,
Не поэтесса — боже упаси.
Прожжет глаза медлительной
росинкой.

И я еще, наверно, посмотрю,
Как в небеса летит ее косынка
И закрывает бледную зарю,
Как, втянуто отдушиною светлой,
Безветренно осядет на душе
Спокойствие растоптанного пепла,
О чем и думать некогда уже.

НИНА КОНСТАНТИНОВА

Родилась в Костромской области. Окончила Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева. Работает в объединении Союз-реставрация, занимается реставрацией памятников архитектуры. Автор книги стихов «От первого лица». Стихи публиковались в журнале «Новый мир», в альманахе «День поэзии» — 1983, 1986 г.

СТАРУХА

Чистота бестелесная, вдовая тишь...
О чем ты, Мария, молчишь, не спишь?

О том ли, что пенсия маловата,
Второе число далеко,
Жиру не накопила, одни жилы,
О том ли, что рученькам нелегко,
Болят, нету мочи. Отняты силы.

Дрожь ли колотит? Ужас ли душу сжал?
Не согреться. Тьмы тяжелые лапы.
Молодость ли вернулась?
Эвакуация. Лесоповал.
Одни бабы.

О том ли, что все одна да одна.
А за душу тянет, будто вина.
Мужа почти не знала — наскоро проводила,
И жена ему вышла война,
Война и похоронила.
А ты корила — лампочку не вкрутил,
Табуретку не починил...
Под Москвою... сколько их там почило...

О том ли, как на толкучке стояла,
На божественный хлеб
Последнее платье меняла,
И растягивала, делила,
Сыну по ломтику отдавала.

Не доучила. Не вывела в люди — невестка бурчит.
Внука не назвал Иваном.
А он похож. Так же губы надует и молчит.

Боже, спаси его, сохрани,
От войны, от обмана.

СНОС СТАРОГО ДОМА

Разворочали мерзлую землю,
И хрипатый бульдозер заглох...
Этот цикл нулевой неотъемлем
От смертей, от рожденья эпох.

Безоглядный строитель Егорыч,
Отчего тебе трудно глядеть,
Ознобила ли старость и горечь
И устал о цементе радеть?

И торчит из снегов арматура,
Тлеют доски гнилого костра,
И коробится трезво и хмуρο
То, что весело было вчера.

Грубый выем, откос котлована
Молодой укрывает снежок.
Беспощадно затянута рана.
Схоронили печальный итог.

Как убийственно жить
без надежды,
Бей же сваи, опоры готовь!
Жизнь и Смерть. И висим где-то
между,
Задыхается серая кровь.

ПЛАЧ ЕВРОПЫ

И столетия не докричатся,
Гибнут наши поля.
Белый свет, мы твои домочадцы,
Мы плохая семья.
Угол крохотный, жаркий и тленный,
Одиноки, одни во вселенной...
Как мы слабы, Земля.

А живому всего лишь и надо
В тесноте, не в обиде дышать.
Сколько жрет смертоносного яда
Окаянное брюхо снаряда,
Сроду б людям не знать!

Человек, что ты сеять задумал,
Сколько воздуха стоит глоток?
Ветер дунул —
Уже на краю мы,
Как случилось, что ты обезумел,
Одинок и жесток?

* * *

И гнев мой, как белый пламень,
Сухой и горячий снег,
Зачем тебе эта память,
Сияние из-под век?

Замкнись, задохнись в квартире,
Но если еще жива —
Ты слышишь, как ходят в мире
Безумия жернова:
Чтоб мертвый и тот проснулся...

Нельзя нам, как прежде, жить,
Какие слова добыть?!
Чтоб сын твой не задохнулся...

* * *

Стужа,
выстуди,
вымети,
выдуй,
Пусть чужое уходит в трубу,
Сколько пыли везде ядовитой,
Сколько грязи в углах позабытой,
Выбиваю,
сдираю,
скребу!
Свежий ветер навывлет откроет,
Обнаружит дрожащий каркас.
А теперь поглядим, чего стоит,
Голый остов — душа без прикрас.

ЮРИЙ БУРЯК

Родился в 1951 году в Днепропетровске. Окончил Днепропетровский государственный университет. Работал учителем в сельских школах, редактором. Автор двух поэтических сборников: «Токи», «Мостовая». Лауреат литературной премии имени Павла Усенка.

КРЕСАЛО

О, голос кремня!
Стон усталых граней!
(Ты отзвучал вчера? Позавчера?)
Ночную душу
этот голос
ранит,—
мгновение
осталось до костра!

Ты подожди,
далекое кресало,
в прадавней
достопамятной
ночи.
Помедли, чтобы в мире
тихо
стало,—
и просветленным словом прозвучи!

ЧИТАЯ КОРНЕЛИЯ ТАЦИТА

Выходит в неизвестность легион,
и грубый смех коверкает колонны.
Но требует повиновенья горн,—
ровняет строй когорты обреченных.
Из тьмы веков вдруг загремят щиты
навек ушедших из родного дома
убийц бездумных, рыцарей тщеты,
людей, похожих больше на фантомов...

ВОРСКЛА

Сквозь зелени прохладный блеск —
задумчивые перегоны.

Прочь — перекатный переплеск
и в пену вбитые препоны.

В песком золоченной тиши
заглохли берега в безлюдье.
Где — прошуршит сквозь камыши,
где — зазвенит струной на лютне.

Мерцает блесками поток,
спелят хрустальные осколки.
Вдруг — брызги взрывом, и —
прыжок
в приглаженные тьмой осоки.

Становится литым стеклом,
и затихает птицей сонной,
что даже боязно веслом
коснуться глубины бездонной.

И все, что взгляд вобрать не смог,
сливается в комок латунный,
бросается, не чуя ног,
под куст боярышника юный.

Черкает с маху о листву
и загорается от света,
выплескиваясь на траву
в прихожей золотого лета.

ГАРАЛЬД ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КИЕВ

Монолог в Софийском соборе

Русь, к тебе я шел, как богомолец,
чтоб дожидаться утешенья скоро...
И меня глазами грозно колет
Пантократор на стене собора.

Добывал оленя острой крицей,
вепря догонял, как птицу сокол...
Боже, помоги любви добиться
киевской княжны зеленоокой!

Добывал я князю в битвах славу
и у смерти не просил отсрочку.
Да беда! — влюбился не по праву
в Лизавету, Ярослава дочку...

Полюбил отчаянно — донельзя!
Никого нет в этом мире лучше!..
Как поет божественная Эльза
на русинском языке певучем!

Я по свету серым волком рыскал,
но любовь из сердца я не вынул...
Я внимал в пустыне аравийской
пенью непокорных бедуинов.

Видел я мозаики Равенны
и стоял в соборах Цареграда.

Пусть они пышны и несравненны —
мне другая красота награда.

Объезжал любого жеребца я —
покорялся самый норовистый...
Помню бой — оружием бряцая,
шли враги. Нас — тридцать, их же — триста!

Ты бы эту битву, князь, увидел!
Смерть сама, казалось, шла на приступ!
Я похитил славу Леонида,
Фермопильца. Тридцать — нас, их — триста!

В сицилийских водах знал кручину,
сарацин меня в бою пометил.
Растерял в сражениях дружину,—
и один как перст на белом свете.

Потому пришел к тебе, София!
Скальд я — песня мне всего дороже.
И любовь и песню на Руси я
отыскал... Ты помоги мне, боже!

Одиноко в этом дивном храме
я стою, смиренный, на коленях,
чтобы песни о Прекрасной даме
на века остались в гулких стенах.

* * *

Даждьбога песню слушал среди ночи,
была она бесхитростно проста —
чекан славянский, соловьиный почерк!
Божественны Даждьбоговы уста!
Летела песня,

всадник в Диком поле,
через курай, ковыль и краснотал,
и долгий отзвук незабытой боли
и до меня

сквозь годы

долетал...

Летела песня дымно и багряно —
языческого слова торжество.
Напомнила она мне про Бояна.
Про Игоря.

Бессмертный полк его...

Переводы с украинского
А. Подмогильного

СЕРГЕЙ ДОНБАЙ

Родился в 1942 году в Кемерове. Работал архитектором. Сейчас работает в альманахе «Огни Кузбасса».

Автор сборников стихов «Утренняя дорога», «Прелесть смысла».

* * *

Поле оглохло — кузничек
Выключил травы. Тайга
Прячет за пазухой певчих.
Мглой задохнулись стога,

Кладбище, речка, дорога...
Воздух в овраге продрог.
Спутанный грядкой гороха,
Оцепенел ветерок.

Водит вслепую по сенцам
Темень — толкаясь, звеня.
Печки чугунная дверца
Чудится в рамке огня.

Угомонилось как будто:
Стихли, уснули, ушли...
Чу! заиграла побудка
В нас побуждений души!

* * *

Фили. Россия за спиною...
Фельдмаршал спорам не вредит.
Здоровый глаз прикрыв рукою,
Он через пальцы не глядит.
Для всех его молчанье — бремя!
Но руку не спешит отнять...
И ветку не торопит время
Плоды зеленые ронять.

* * *

Крикну!
Откликнется горный
Медленный, как исполин,
Неизмеримо огромный
Голос в сравненье с моим.

Земли, пространства, и воды...
Разума тайная месть:
Может быть, мы-то и есть
Слабое эхо природы
С опереженьем на миг?..

ЗЕМЛЯНЕ

Мы впервые увидели Землю издалека
Глазами Юрия Гагарина
И улыбнулись — голубая!
Мы впервые потрогали Луну руками
Нейла Армстронга и Эдвина Олдрина
И испугались почему-то...

И впервые поняли мы,
Как ничтожны наши обиды
По сравнению с Космосом,
Но еще не обнялись.

ВЛАДИМИР КУДИМОВ

Родился в 1941 году в Рязанской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Веретье», «Калитка».

* * *

Рассвет заглядывает в окна.
Москва молчит.

Лишь месяц май

Плывет спокойно и высоко,
Да вдалеке гремит трамвай.

Молчит Москва.

Она устала

От гулких праздничных забот.
Как от гудящего металла
Устал дышать большой завод.

Блестят устало мостовые.
Бульвары, улицы пусты.
И даже сами постовые
Еще не вышли на посты.

Гудят устало светофоры
Сквозь обновленную листву.
Лишь будят птичьи переборы
Передраассветную Москву.

* * *

Еще пока не рассвело.
Молчит притихшая деревня.
Цветы, и травы, и деревья
Туманной мглой заволокло.

Лишь еле слышно,

как вдали

Река о сильный берег бьется,
Как звездный дождь

над нивой льется

Великий сеятель земли.

СВЕТЛЯЧКИ

В лесу ночном мерцают светлячки —
Упрямые посланники небес.
И раскрывает полусонный лес
Блестящие и влажные зрачки.

Не тронь ладонью этот мир живой,—
Померкнет он без звука, без следа,
Как меркнет над твоею головой
Давно осиротевшая звезда.

К нему ты лучше руки протяни,
И сам тебе подарит он свой свет:
И затрепещут тонкие огни,
И росы запылают им в ответ.

А коль не веришь,

на себя грехи:

Тебе не знать, не слышать не дано
Ни тишины, ликующей давно,
Ни в тишине светящейся души.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

Родился в 1939 году в деревне Медвежья Грива Омской области. Работал сезонным рабочим в экспедициях, дворником, корреспондентом районных газет. В настоящее время работает пастухом.

ПЕСНЯ О САННОЙ РОССИИ

Войны дух керосиновый,
дух пепла и золы.
Везли твой воз, Россия,
тяжелый воз тылы.

И бабы, как полозья,
стонали, тяжелы.
Лес, золото, колосья
везли твои тылы.

Лес, золото колосьев,
снаряды и бензин,
совсем обезголосов,
и на исходе сил.

И ребятишек вдовы
кормили лебедой,
а сами сыты вдоволь
были лишь бедой.

Кормили большеротых
свекольною ботвой,
с тем только, чтобы роты
ходили сыты в бой.

И, напрягая силы
натруженностью жил,
везли твой воз, Россия,
как вол и как мужик.

И, захлебнувшись синью,
рожали у плетня,
но вывезли Россию,
Россию из огня...

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Весною в воздухе запахло,
куст волглым воздухом пропах,
и воробей — родная птаха
вовсю чирикает в кустах.

И облака светлей и выше,
и лучезарней синева,
и кажутся нежней и чище
вполне обычные слова.

И смотрят веселей домишки,
и пес цепной незло ворчит,
и куст ожил, и словно дышит,
и почкой на губах горчит.

Стоит березовая роща
и тянет в небо купола,
жизнь кажется добрей и проще,
милей в предчувствии тепла.

Сосулька свесилась с карниза,
чететку выбила капель,
и, подчинясь весны капризам,
от ветра захмелел апрель.

* * *

И тучи шли. И ветер дул с реки.
Дождь по плащу лупил и барабанил,
а мне казалось — это мужики
друг друга хлещут вениками в бане.

Коровы шли, куда их ветер гнал,
а стадо все напоминало тучу.
Как можно тучу повернуть? Я знал,
что бесполезно — опытом научен.

И стадо все клубилось впереди.
Я сзади подгонял лишь отстающих.
И постепенно дождь иссяк, затих,
и солнце показалось из-за тучи...

* * *

А здесь еще с полмесяца назад
все утонуло в шуме многолюдства,
и детские звенели голоса,
и вздрагивали и звенели блюда.

Дрожал и топал дом, и ходуном
ходили и плясали половицы.
Смеялись, пели, песню за окном,
подхватывая, уносили птицы.

По городам разъехались друзья
с детьми своими, птицы улетели.
И вот стоим мы с домом и, грустя,
ждем приближенья снега и метелей.

А там и я уеду, дом тогда
совсем осиротеет и заглохнет.
Темно и стыло, только иногда,
как ровно кто вздохнет и тихо охнет.

ОСЕННЯЯ ПРЕЛЮДИЯ

И птицы сбиваются осенью в стаи,
их взмахом прощальным относит на юг.
Пора бы задуматься, что наворачстаем,
и что потеряем под пение вьюг.

Ведь важно не только стопою бумажной
и бисером строчек себя ублажать.
Важнее понять, отчего же так влажны
в глазах твоих — рощи и дальний большак.

Ведь важно не только теплее одеться
в предчувствии новых ненастий и зим,

но важно и то, чтоб два любящих сердца
дышали одним и чтоб жили одним.

И важно не только в осенней природе
найти, подстеречь увяданья следы,
важнее заметить, что глубже бы вроде
бороздки морщин от недавней слезы.

Ведь если попристальней, зорче взглядеться
в грядущие годы, в дороги по ним,
нетрудно понять, что два любящих сердца
становятся в старости как бы одним.

ВОРОБЫШЕК

Воробышек — пичуга смелая!
Весь корм засыпала зима,
и лишь мука сугробов белая
заполнила все закрома.

Пусть слиплись перышки от грязи
и конский ты клюешь помет,
но я и сам не лезу в князи,
благословляя твой полет.

Вспорхни ко мне,
седой воробышек,
осыпан инеем с куста.
Мне зябкость твоих
серых перышек
милей павлиньего хвоста.

О, птаха зим неприхотливая!
Родной верна ты стороне,
и юга странствия счастливые
не по тебе и не по мне.

И я скучал в дороге дальней,
там, где чужая сторона,
тоской тягучею задавленный —
по горсти снега и зерна...

* * *

А ветер ширился и рос.
Пространства мощь гудела.
А ветер, налегая, нес
его тугое тело.

Он явно повод подавал
и вещь прельщал к смещенью,
врываясь в души и дома,
как бунт и очищенье.

Он вихри бездорожьем гнал,
а в вихрях — хлам и мусор,
и площадной базарный гам,
и веянья, и вкусы.

Вгонял листву в озноб и в дрожь,
наотмашь обрывая,
сметая шорох и галдеж
в охапки у сараев.

Он бился яростью сквозной
о стены и навесы.
И пахло в воздухе весной.
Весной. Листвой. И лесом.

Только гордость
 стоит на крови,
На великой, на дедовской славе...

* * *

Средь распутных, продажных и
 мнимых
видеть женщин, достойных семьи...
Гениальны стихи о любимых
гениальных поэтов Земли!

И когда я упал на колени
перед женщиной слабой одной,
о, какие великие тени
за моей возвышались спиной!

Будто выправясь после увечья,
как оживший солдат на войне,
сострадавая,
душа человечья
первый раз шевельнулась во мне...

* * *

Я делал дальние набеги
В края полениц и полей.
Певуче плакали телеги
О бедной участи своей.

Худые, с ребрами наружу,
С оглоблей тяжкой на ремне,
Они выматывали душу,
Что где-то пряталась во мне.

А разум мой, как дед на свадьбе
Хихикал, зная наперед,
Что на натруженном асфальте
Телега дня не проживет...

Ура прогрессу, в самом деле!
Чего стесняться новизны?
Телеги плакали и пели,
Но были все-таки нужны...

ИРИНА АНТОНОВА

Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Работает старшим лаборантом на кафедре иностранных языков АН СССР.

Стихи опубликованы в журналах «Студенческий меридиан», «Новый мир», в сборнике «Ленинские горы».

ЗИМНИЙ ВАЛЬС

Чтобы скорее согреться
И ни о чем не тужить,
Будешь у самого сердца
Спящую дочку кружить.

Словно флажки на веревке,
Детское сохнет белье,
Свет белокурой головки
Чуть освещает жилье.

Дует в оконные щели,
Ах, ничего, ничего...

Силы твои на пределе
Жизни поют торжество.

Нету блаженной угара,
Тяжесть на сгибе локтя,
Кружится вечная пара:
Юная мать и дитя.

И, предаваясь движенью,
Не пожелаешь убрать
В зыбком твоём отраженьи
Посеребренную прядь.

ДОЧЕРИ

И в асфальте пробилась трава —
Нет для жизни наглядней примера.
Вот уже тебе стукнуло два
Безотцовская девочка Лера.

За собакой, за кошкой бежать,
Над весенней склоняться букашкой —
Восхищенье твое не сдержать,
И душа твоя вся нараспашку!

Ты невольно вошла в эту связь,
Где и солнце, и воздух, и дети.
Если чуть моя жизнь задалась —
Это ты появилась на свете.

Сколько радости после дождя.
Мир веселым бездомным воронам!
О мое дорогое дитя,
Только сердце нам будет законом!

ИЮНЬ

Нарядная бабочка села на локоть,
Невольно глаза отрываю от книжки.

О, как же приятно склоняться и трогать
Больших одуванчиков влажные стрижки.

В зеленых побегах младенец мелькает
Незримые крылья влечет за собою,
И кажется мне, не бежит, а порхает —
Мгновенье, и я воспарю над судьбою!

Чтоб с ними кружиться в беспечном потоке,
Меж телом и сердцем не чуя границы...
Так бабочку просто спугнуть ненароком,
Что я поднимать не решаюсь ресницы.

ВОСПОМИНАНИЕ

Горячею пылью обсыпав руки,
Не отстраняя листьев от щеки,
Как будто в танце движемся
по кругу,
Легко приподымаясь на носки.

Всего одна «горящая неделя»,
Чтоб этот цвет летучий обирать —
Когда жара бушует на пределе
И дачники уходят загорать.

Заваришь чай душистый и целебный
В полночный час бездушною зимой,
И, сочиняя лету гимн хвалебный,
Быть может, вспомнишь смуглый
профиль мой.

Пока мы клоним ветви молодые
И зелень лип шатром скрывает нас,
Пускай не дождь,
а брызги золотые
Тебе и мне достанутся хоть раз!

ЗА ВОРОТАМИ

Крымский мост и литая ограда —
Место детских и праздничных вех.

На ворота Нескучного сада
Опускается медленный снег.

Старой песни знакомые звуки,
И лицо леденеет слегка.
Два подростка, сцепившись за руки
Мчат по синему полю катка.

Века прошлого строгие нравы:
От надзора родных вдалеке,
Наши бабки учились лукаво
Объясняться в любви на катке.

И отец мне поведал балладу,
Как за этой высокой стеной
По дорожкам Нескучного сада
Он кружил довоенной зимой.

О морозное легкое жженье,
Поцелуя ожог на щеке...
Где ты, дивное наше скольженье
На безлюдном погасшем катке?

И одна на крутых поворотах,
Я по жизни бегу, как по льду...
Но, быть может, за эти ворота
Я когда-нибудь дочь приведу.

НИКОЛАЙ БЫКОВ

Родился в 1930 году в Москве. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева. Более тридцати лет работает в журналистике. Стихи печатались в газете «Комсомольская правда», альманахе «Кубань», в журналах «Огонек» и «Москва».

ОКОПНАЯ ГАЗЕТА

О, непонятные потомки!
Вы отыскали и в золе
Строк несгораемых обломки —
Согласные далеких лет...

Как эхо давнего набата,
Те строки из небытия:
Газетный шрам,
 в броне заплата,
Ожог свинцового литья.

Не вздрогнула линотипистка:
Слова о смерти не убьют.
Так, значит, храбрости и риска
Молекулы
 еще живут!

ОКОП

Ни указателя, ни даты.
Ни обелиска со звездой.
Как вы нашли его, солдаты,
Окоп,
 теперь навеки свой?

А за спиной Москвы кварталы,
Здесь электричек быстрый свет.
О, след недогнувшей заставы,
Начало памятных побед...

Ни бронзы, ни плиты, ни даты,
Ни обелиска со звездой.
Но вновь оглушены солдаты
Взорвавшейся передовой!

И вновь под гусеницы — травы...
Крик изувеченных берез...
Воронка — чаша скорбной славы,
Которую испить пришлось.

Молчанье рваного металла,
Заброшенной заставы след...
А за спиной Москвы кварталы
И близких электричек свет.

* * *

Я знаю:
Ты любишь море.
Как небо.
 И как стихи...
И, сердцем прибою вторя,
Сама ты —
 сгусток стихий...

Ты ищешь,
Как ищет двери
Споткнувшийся
 о темноту.
Ты, в Синюю птицу поверя,
Сама обратилась
 в Мечту.

...Бывает, и
 ворвется ветер,
Сорвет настороженность штор,—
Тогда у тебя в ответе
И я,
 и земля,
 и шторм!

Разбить бы гранитную вазу
И выплеснуть штиль,
 как рыб!..

И я это понял сразу,
Тебя,
 как море,
 открыв.

Зачем же ты
 чайкой не стала?
А впрочем, о чем тужить...
...Нахмурилось море,
И скалы
 решили
 молчать и любить.

БОРИС ОРЛОВ

Родился в 1955 году в деревне Живетьево Ярославской области. Окончил Высшее военно-морское училище имени Ф. Э. Дзержинского. Заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Стихи печатались в журналах и альманахах.

НА РОДИНЕ

Грачей отсырелые крики.
Ручьев половодный набег.
Зеленые ушки брусники
Тревожно раздвинули снег.

Там тени берез, будто шпалы,
Торопятся в лиственный май.
Подснежники — птичьи вокзалы —
Светлы в ожидании стай.

* * *

Моей водою болотной
Клюква крутые бока.
Стаю листвы перелетной
Ветер несет в облака.

Над головой по-вороньи
Медленно кружится лес.
Снова дыханье погони,
Память утраченных мест.

Детства дороги, как руки,
Пестуют взрослые сны.

Зреет из чувства разлуки
Горькое чувство вины.

Вспомню о доме — и больно
В холоде жить и в тепле.
Цепко незримые корни
Держат на отчей земле.

ХЛЕБОЗОРЫ

Зеленой пылью
Вспыхивает воздух
И оседает на овсы
Вдали.
В глаза Вселенной —
Сумрачные звезды —
Струится свет
Рожающей земли.

Таинственно.
Тревожно.
Первозданно.
Освещены землею облака.
Но свет похож
На полумрак —
Туманно.
И все же свет,
Пронзающий века.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

Родился в 1930 году в городе Кемерове. В настоящее время живет и работает в городе Андропове слесарем на спичечной фабрике. Печатался в коллективных сборниках Верхне-Волжского издательства.

КНИГА

Ходила книга по больнице
в помятой, старенькой обложке.
В ней на рассвете пели птицы,
звенели у берез сережки.

В ней лес шумел, грустило поле,
цвела под ливнями трава.
И сердце трогали до боли
простые русские слова.

В них был горячий хмель весенний,
сиянье солнечного дня...
И мне казалось, что Есенин
писал все это для меня.

И я от этих светлых песен
как бы почувствовал весну —
с больничной койки ноги свесил,
шатаюсь, подошел к окну.

В мое окно снега смотрели.
Но для меня, белым-бела,
как будто бы на самом деле
в тот день черемуха цвела.

* * *

Разве в классе усидишь за партой
и науки в голову пойдут,
если голосисто и азартно
соловьи в черемухе поют?

Убегал из школы.
Прятал книжки.
Каждый куст в округе
был знаком,
и меня товарищи-мальчишки
знать, недаром звали Лесником.

Но летело время.
И под осень,
чуть замерзла в лужицах вода,
я леса поблекшие забросил
и с тоской
смотрел на поезда.

Стала в тягость
каждая минута,
будто здесь не родина моя...
Я вскочил
на товарняк попутный
и поехал в дальние края.

Посильней,
чем грубыми руками,
побольней отцовского ремня,
холодом,
голодными пайками
била жизнь, зеленого, меня.

И теперь
далеко те тревоги,
но пока я буду жить-любить,
позабуду все свои дороги —
цену хлеба
мне не позабыть.

ЦЕЛИННЫЙ ВАГОН

Колеса его заржавели
и словно застряли в пути.
Его заматают метели,
насквозь прошивают дожди.

Давно уж друзья вечерами
в нем песен своих не поют.
Труба его сбита ветрами,
и доски забыто гниют.

Но вот старожилы решили:
нельзя забывать старика!
Трехслойной фанерой обшили
и крышу его и бока.

На бревна подняли повыше.
И, словно фонарик зажег,
парнишка поставил на крыше
трепещущий алый флажок.

Приходят отныне ребята
сюда, словно в местный музей,
и песни поют, что когда-то
звучали над ширью степей.

ВОКЗАЛЫ

От голода, от мороза,
решили: уедем навеки.
И вот нас несут паровозы
туда, где молочные реки.

Дрожит под составом дорога.
Мальчишки!

Держитесь смелей!
Вас скоро согреют немного
вокзалы России моей.

Большие, гудящие залы,
корзины, набитые туго —
такими мы помним вокзалы
от Севера и до юга.

Вы много о том рассказали,
как бродит по свету беда...
Бродячую жизнь и вокзалы
давно зачеркнули года.

Вокзалы, вокзалы Отчизны,
мне трудно о вас вспоминать.
Уж так получилось, что в жизни
мне больше пришлось провожать.

Я верю: в любое ненастье
ты будешь прекрасной, Земля.
Вокзалы для встреч и для счастья
построят мои сыновья.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



ПОЭЗИЯ А. Л. ЧИЖЕВСКОГО

В юности, заканчивая реальное училище и задумываясь о своем будущем, Александр Леонидович Чижевский был уверен, что станет профессиональным литератором, поэтом, хотя уже в то время его занимали научные вопросы. Серьезное отношение к литературной работе, к своему поэтическому творчеству он сохранил в течение всей жизни.

«Стихи были моей тайной страстью, тайной, ибо я стыдливо оберегал ее от чужих взоров», — пишет он в воспоминаниях о детстве. Затем, в шестнадцать-семнадцать лет, писание стихов перестает быть «тайной», он пишет много, ежедневно и в 1915 году, едва сдав экзамены на аттестат зрелости, первым делом издает сборник стихотворений. Правда, год спустя автор раскаивался в его издании, находя стихи слабыми. Юношеские стихи Чижевского действительно достаточно слабы и раздражительны, но они с юношеской откровенностью и непосредственностью раскрывают внутренний мир их автора. Читаешь страницу за страницей и почти на каждой находишь отзвуки тех поэтов, которые тогда нравились Чижевскому: Лермонтов, Пушкин, Кольцов, Фет, Некрасов, Языков, в некоторых стихотворениях видна увлеченность ритмикой и рифмами новой русской поэзии — Виктором Гюффманом, Игорем Северяниным.

Став студентом Московского археологического института, Чижевский зимой 1915/16 года посещает московские литературные вечера и кружки, на которых познакомился, как пишет он сам, «со многими писателями и поэтами», и «на первом месте, — отмечает он, — стояли Иван Алексеевич Бунин и Валерий Яковлевич Брюсов».

На свержение самодержавия Чижевский откликнулся восторженным стихотворением; в нем он писал:

Теперь нам не о чем тужить,
И незачем нам лицемерить,
Когда есть смысл великий жить,
Трудиться, чувствовать и верить...

Теми же высокими творческими и гражданскими надеждами проникнута брошюра А. Чижевского «Академия поэзии», написанная в последние месяцы 1917 года и законченная в январе 1918-го. Хотя в брошюре рассматривается проект учебного заведения для литераторов, его содержание намного шире и дает представление вообще о тогдашнем мировоззрении ее автора.

Брошюра написана прозой, но ее строки звучат, как стихи:

«Непроходимые дебри невежества и тьмы заставляют задуматься над грядущим нашей страны.

Какие меры надо принять? Какие дела свершить?

Величайший труд предстоит в будущем!..

Сложные задачи надо разрешить для созидания новой России!

С чего начать?

Слов — мало! Нужна постоянная упорная работа!

Революция испепелила предрассудки и заблуждения, и, освобожденные от их цепей, мы видим, к чему должны стремиться всею своею душою».

На тридцати двух страницах брошюры автор доказывает, что вся история человечества с доисторических времен была стремлением к творчеству, к поэзии, к искусству и что сейчас революционная Россия может и должна осуществить эти заветные многовековые стремления человечества.

И поэтому он считает необходимым создание в России небывалой, неизвестной истории, первой в мире Академии поэзии.

В 1919 году Чижевский издает второй поэтический сборник «Тетрадь стихотворений».

Несомненно, значительное влияние на взгляды Чижевского на общественную роль искусства оказал К. Э. Циолковский. В своих воспоминаниях Чижевский приводит такое высказывание Циолковского: «Не признаю я и технического прогресса, если он превосходит прогресс нравственный... Для человечества нужна не техника, а моральный прогресс и здоровье. Искусство также важнее всей техники с ее электронами... ясно одно: не одной техникой жив будет человек.. Дайте ему размышлять, слушать музыку, смотреть картины, писать стихи, а техники с ее физикой и химией может и не быть... Но физика и химия нужны медицине, следовательно, истинному прогрессу науки, а не для изготовления снарядов или авиационных бомб. Избави, боже, человечество от такой разрушающей техники. Вспомните-ка «Сад» Эпикура: «Одно прекрасное стихотворение сделало человечеству больше добра, чем вся металлургия». Это, конечно, гипербола, но зато какая!»

В литературной практике Чижевский стремился последовательно осуществлять те высокие требования, которые он предъявлял к литературному произведению. Правда, сам он считал, что достиг желаемого лишь в «небольшом числе своих стихов» («несколько десятков стихотворений»). И этот суровый приговор лишний раз подчеркивает, насколько серьезен и профессионален был подход А. Л. Чижевского к литературному творчеству.

В стихах Чижевского перед читателем предстает все разнообразие земного бытия, все заботы и чувства человека первой половины XX века. Если бы начать перечислять все темы стихотворений, то их перечень был бы очень велик, ничто не миновало их автора в его жизненной судьбе: он знал любовь и ненависть, славу и унижение, надежды и разочарование, верность и измену, он задумывался о жизни и смерти, прошлом человечества и будущем, о красоте и безобразии, он бесконечно, самозабвенно, мучительно страстно любил родную землю — Россию... Но еще — и это составляет главнейшую отличительную черту его поэзии — в лирике Чижевского присутствует ощущение человека, почувствовавшего и осознавшего свою причастность к Космосу — состояния еще нового и почти незнакомого человеку. (Мы знаем, что мы элемент космического бытия, но ощутить — это совсем не то, что знать. Так, например, мы знаем, что Земля — шар, но ощущаем, что живем все-таки на плоскости.)

Высоким мастерством отмечена пейзажная лирика Чижевского. Стихи, посвященные «вечным темам», прочно связывают его творчество с русской философской лирикой.

Известны положительные отзывы о поэзии Чижевского видных поэтов начала XX века: Вяч. Иванова, М. Волошина, Ю. Верховского, А. Н. Толстого, Валерия Брюсова. Но все эти отзывы относятся к раннему периоду

его творчества, поэтому в них во всех основной упор делается на будущее, содержатся рекомендации работы над стихом.

В 1919 году Чижевский послал свои стихи и «Академию поэзии» В. Я. Брюсову. «Если Вас не затруднит моя просьба,— писал он Брюсову,— не откажите в любезности выразить о моих стихах свое мнение». То, что Чижевский обратился именно к Брюсову, было решением глубоко обдуманном. Из всех русских поэтов своего времени он считал его наиболее близким себе.

Чижевский, можно сказать, поэт брюсовской школы. Высокий интеллектуализм, обширная и разносторонняя образованность, историчность мышления, ощущение преемственности современной культуры от традиций всех цивилизаций человечества и в то же время постоянное внимание к культуре стиха — все эти принципы, исповедуемые Брюсовым, принимались и Чижевским.

После выхода второго сборника Чижевский в двадцатые годы еще изредка печатал стихи в периодических изданиях, затем прекратились и эти публикации. В последующие годы активная научная деятельность Чижевского и острые дебаты вокруг его научных открытий заставили современников забыть Чижевского-поэта. Но тем самым поэт Александр Чижевский не перестал существовать. Он пишет новые стихи, подвергает значительной правке старые, причем переработанный вариант часто становится фактически совершенно новым самостоятельным стихотворением.

В 1940—1950-е годы философская лирика Чижевского приобретает тот вид, который автор считал завершением работы.

В 1970—1980-е годы стихотворения Чижевского печатались в различных периодических изданиях, в том числе и в альманахе «Поэзия», однако многое еще остается неопубликованным. Несколько раз предпринимались попытки издать его сборник, но, к сожалению, они не увенчались успехом. В 1975 году такой сборник под руководством и при участии вдовы А. Л. Чижевского Нины Вадимовны Чижевской был подготовлен мною. Он также был в конце концов отклонен издательством, и рукопись возвращена мне. Для настоящей публикации использованы тексты этого сборника.

Вл. Муравьев

ВАЛЕРИЙ БАЙДИН

«И мысли свет летит к открытым небесам...»
(Поэзия и живопись А. П. Чижевского)

«Я всегда был неравнодушен к литературному мастерству и к тонкому искусству поэзии». Такое признание уже в конце жизни сделал выдающийся советский ученый, один из основоположников космического естествознания, профессор Александр Леонидович Чижевский (1897—1964). Он явился творцом новой науки — гелиобиологии, создателем передовых областей в медицине, зоологии, ботанике, эпидемиологии, истории культуры; ему принадлежит заслуга в открытии биофизического механизма кровообращения, в разработке принципов электронной технологии и постановке важной экологической проблемы — аэроионификации

народного хозяйства. Пожалуй, каждое из направлений его необычайно многогранной научной деятельности могло бы само по себе принести широкую известность, и неудивительно, что Чижевский был избран членом более тридцати академий и научных обществ Европы, Азии, Америки. Между тем этот блестящий теоретик, экспериментатор, натуралист творческую жизнь начинал как... поэт и многообещающий ученый-историк.

Многообразная одаренность Чижевского проявилась уже в детстве, затем, на протяжении почти полувека, развитие его научного, литературного, художественного творчества происходило параллельно и с необычайной интенсивностью. Начиная с 1915 года он в течение пяти-шести лет приобрел известность, как талантливый поэт, историк и ученый-естествоиспытатель. Тогда же, еще в юности, он пришел к основным идеям будущей науки — космобиологии, но в поиске доказательств своим теориям сразу же углубился в историю. Сначала в Московском археологическом институте (в 1917 году), а затем в Московском университете (в 1919 году) он защитил две диссертационные работы: «Русская лирика XVIII века» и «О периодичности всемирно-исторического процесса. Синхронистические таблицы», — за эту последнюю ему была присуждена ученая степень доктора всеобщей истории, а впоследствии — профессорское звание; в фундаментальном исследовании излагались основы «хронометрии» и многочисленные доказательства зависимости природно-исторических процессов от проявлений солнечной активности. Крупнейшие историки своего времени С. Ф. Платонов, Н. И. Кареев, А. И. Успенский поддержали оригинальную историческую концепцию своего нового коллеги. Но в те же годы в Калуге, где проживала семья Чижевского, вышли два его поэтических сборника: «Стихотворения, 1914» (Калуга, 1915), «Тетрадь стихотворений. 1914—1918» (Калуга, 1919) и первый в стране учебник русского языка по новой орфографии (Чижевский А. Л. «Курс лекций по русскому языку», Калуга, 1918). К молодому поэту очень скоро начали с интересом присматриваться даже такие взыскательные метры, как И. А. Бунин и В. Я. Брюсов. Юношеская поэзия Чижевского не избежала прямого воздействия их творчества, как, впрочем, и модных в те годы мотивов грустной самоуглубленности и одиночества, но в ней были осязательны и другие стороны: необычайно чуткое восприятие жизни природы, высокая стихотворная культура «начала века» и осознанная приверженность автора к традициям поэтического «любомудрия». От Тютчева, которого Чижевский в одном из стихотворений назвал «величайшим из земных поэтов», в его творчество очень рано вошла тема непостижимости и необъятного величия окружающего мира. После выхода первого сборника поэта масштабы его мировосприятия стремительно расширились. Быть может, это произошло под влиянием «вселенского» пафоса русского символизма, но еще более этому способствовало происшедшее в апреле 1914 года в Калуге знакомство Чижевского с К. Э. Циолковским, оставшимся до конца дней его старшим другом. В 1915 году появилось стихотворение «Гиппократу», одно из самых ярких произведений русского «поэтического космизма» начала века. Некогда увиденную Тютчевым «живую колесницу мироздания» поэт воспринимал как «родимый дом», который

Так спаян общностью и неразрывно прочен,
Что чувствуем себя мы слитыми в одном,
Что в каждой точке мир — весь мир сосредоточен...

И жизнь — повсюду жизнь в материи самой,
В глубинах вещества — от края и до края —
Торжественно течет в борьбе с великой тьмой,
Страдает и горит, нигде не умолкая.

Идеи античного гилозоизма и уитменовского «космического оптимизма» становятся основой величественных поэтических образов.

Вскоре в стенах московского литературно-художественного кружка Чижевский знакомится с В. Я. Брюсовым и И. А. Буниним, А. Н. Толстым, Л. Н. Андреевым, А. И. Куприным, И. Северяниным... Он публикует в калужских газетах свои рассказы, стихи, фельетоны, рецензии на книги и спектакли — ведет типичную жизнь начинающего литератора. После революции в полубогемных «литературных кафе» Москвы и Петербурга — «Стойло Пегаса», «Домино», «Бродячая собака» — будущий ученый на время сближается с так называемыми «левыми» кругами творческой молодежи: Маяковским, Мариенгофом, Шершеневичем, Пастернаком, но прочное знакомство устанавливает лишь с оригинальным поэтом-математиком Сергеем Бобровым. Программа литературного авангарда в целом оказывается для Чижевского чуждой, а само его творчество «вне поэзии». Своими ближайшими союзниками в послереволюционной литературе он считает наследников русских символистов. В январе 1918 года в Калуге выходит своеобразный теоретический манифест Чижевского «Академия поэзии». В нем делается попытка развить и углубить концепцию «научной поэзии» Брюсова. Выход из метафизических тупиков символизма он видит не во внешнем заимствовании научной «методологии», тематики, терминов, а в установлении внутреннего единства поэзии и науки: «Поэзия... есть постигнутая истина», «задача поэзии вполне аналогична задачам науки — свести разные явления действительности к возможно меньшему числу обобщений» (с. 12—13). Чижевский пытается отстоять главные позиции символизма во внутренней полемике с акмеизмом — единственным, по его мнению, достойным противником. Вопреки Н. Гумилеву, который некогда отверг попытки символизма познать «непостижимое», что «невозможно по самому смыслу этого слова», Чижевский настаивает: «На долю истинного поэта выпадает величайшая задача — постичь непостижимое, недоступное никаким измерениям и формулам» («Тетрадь стихотворений», с. 1). «Преодоление символизма» в литературе (как, впрочем, и вообще в культуре), по Чижевскому, может произойти лишь в ее тесном союзе с точным, «академическим», знанием: истинный поэт должен творить, «не покидая строго научной почвы» («Основное начало мироздания», ААН, ф. 1703). Такую цель реально перед собой тогда никто из поэтов еще не ставил, но Чижевский пытался доказать ее осуществимость. В 1919—1921 годах он создал ряд проникнутых новым «научно-художественным» мироощущением, замечательных по глубине и яркости мысли стихотворений: «Солнце», «Вещество», «Растения», «Галилею»... Имя Чижевского получает известность в поэтических кругах, правда, по чисто внешним признакам критика неверно сближает его с группой «поэтов-неоклассиков» (Н. Захаров-Мэнский и пр.). О научном и поэтическом творчестве Чижевского становится известно М. Горькому, который отзываясь о нем как о человеке, «заслуживающем внимания» (письмо к М. Н. Покровскому от 27.06. 1920 г.). В 1920 году В. Брюсов и Вяч. Иванов по предложению А. В. Луначарского официально утверждают его в должности литинструктора Калужского подотдела ЛИТО

Наркомпроса, он становится председателем Калужского губотдела Всероссийского Союза поэтов.

Но в это время Чижевский делает решительный внутренний выбор и жизни поэта предпочитает судьбу ученого, что, впрочем, не означает для него разрыва с поэтическим и художественным творчеством. В Калуге молодой ученый, отрываясь от экспериментов и теоретических трудов по «биокосмике», в течение нескольких лет (фактически до своего переезда в Москву в 1925 году) руководит местным отделением Союза поэтов, подготавливает к печати (составляет и редактирует) журнал «Искусство и наука», «который не вышел в свет исключительно благодаря ряду технических и финансовых затруднений» (газета «Коммуна», 1922, № 149, с. 3). Он находит время для посещения литературного салона А. И. Толстой, поддерживает связи с местными поэтами В. Королевым, Н. Зайцевым, В. Фирсовым, М. Мятковским, но его поэтическая активность постепенно спадает. Лишь 1925 год оказывается плодотворным и важным в его творчестве: под псевдонимом «Д. Г. Уорд» Чижевский публикует в сентябрьском номере московского журнала «Связь» небольшую «Поэму о Революции», а вскоре создает ее новый вариант «Этюд о революции», которым открывает целый цикл малых поэм: «Этюд о человечестве», «Эскиз о вожде», «Этюд о молодежи», «Этюд о творчестве». Помимо свидетельств кратковременного увлечения творчеством Маяковского и «социальной поэзией» тех лет, эти произведения вносили некоторые принципиально новые элементы в поэтику Чижевского. Она оставалась космичной по звучанию и размаху, но основывалась уже не столько на литературной мифологии символизма, восходящей к сочинениям К. Фламариона, У. Бёкка и других, как было на рубеже 1910—1920-х годов, сколько на глубоко осмысленной ученым сложной диалектике развития материального мира:

Лишь Солнце, освещающее разум,
Дает права существованию
Единой философии —
Природы...

Она — в движении. Вещей застывших нет,
Весь мир — лаборатория движений:
От скрытых атомных вращений
До электрического ритма
Владыки — Солнца...

(«Этюд о человечестве»)

Этому «поэтическому эксперименту» Чижевского более всего соответствовали «постсимволистские» поэмы 1920-х годов М. Волошина и А. Белого, некоторые стихотворения В. Брюсова. Попытка ученого радикально, в духе времени изменить форму и расширить тематику своей поэзии привела его к несомненным художественным достижениям, но, видимо, не удовлетворила самого автора и осталась лишь отдельным эпизодом в его творчестве. Более того, до начала 1930-х годов он практически перестал писать стихи. Именно в этот период научные труды Чижевского получают мировую известность, Тулонская академия наук одной из первых присваивает ему звание академика, АН СССР принимает специальное постановление о научных работах Чижевского, он возглавляет первую в мире Центральную научно-исследовательскую лабораторию ионификации (ЦНИЛИ). Можно предположить, что причиной его

поэтического молчания является не только огромная по объему научная деятельность: в 1920-х годах юношеский «космический энтузиазм» Чижевского, связанный с поэтически пережитыми античными идеями палингенезиса, сталкивается с его трезвой и бесстрашной научной мыслью. Ученый отвергает идею множественности обитаемых миров и заново строит свое мировоззрение.

Новым свидетельством эволюции его взглядов является поэтическое творчество позднего периода. В середине 1930-х годов Чижевский вновь обращается к стихам, его влечет богатый опыт человеческой мысли: отточенная диалектика философов античности, острая интуиция поэтов Востока. В 1935 году он создает циклы стихотворных переложений и подражаний: «В духе древних и восточных поэтов», «Из Эмпедокла», «Из Парменида», «Из Ксенофана», «Из Дармакирти»... Появляются и его отдельные переводы лирических стихотворений Гёте, Лонгфелло. В 1939 году Чижевский подготавливает рукописный сборник из нескольких десятков избранных стихотворений разных лет «Эссенции».

В начале 1940-х годов ученый переживает подлинный взлет в поэтическом творчестве, в течение 1943 года он создает несколько десятков стихотворений научно-философского, исторического и лирического жанров. Многие из них следует отнести к числу высших его поэтических достижений. Интересно, что именно от этого периода сохранились и десятки великолепно исполненных акварельных рисунков Чижевского. Он не приемлет в поэзии крайностей «обнаженных чувств» или сухого рассудка, пытается соединить в стихах красоту слова и мысли так же, как соединяется тело и дух в человеке — высшем создании живой природы. Новая «поэтическая космология» основателя космобиологии парадоксальным образом оказывается предельно «очеловеченной» и земной (но в планетарном значении этого слова). Он решительно восклицает в «Стансах к женщине» (1941):

Ты космос для меня — бескрайний, беспредельный,
От самых дальних звезд — до глубины земной.

Поэт ничуть не поступается своими научными взглядами в угоду воспламененным чувствам, та же мысль звучит в стихах «Космогония Бетховена», «Метаморфозы», «Лобачевский» и находит предельное выражение в строках стихотворения «Мера жизни» (1943):

Здесь времена космические слиты
В единый фокус — клеточное тело.

Свидетельством новых взглядов Чижевского является значительный по объему цикл стихотворений исторической тематики. Иначе, чем в 1910—1920-х годах, он воспринимает образы крупнейших деятелей отечественной и мировой истории, культуры, науки. Они не противостоят, как этого требовала поэтика символизма, ни природе, ни истории, ни «толпе», но являют и словно утверждают собою вершину всего живого — облик носителя Разума, человека.

Сохранилось очень немного поэтических произведений Чижевского, созданных после 1945 года, они, как правило, невелики по объему, часто сокращаются до размера отдельных четверостиший, но известно, что стихи ученый продолжал создавать почти до конца своих дней. Первый биограф ученого, его вдова Н. В. Чижевская, сообщала: «В его архиве хранит-

ся около тысячи стихов, ожидающих своего издания». В одном из четверостиший начала 1950-х годов ученый писал:

В смятенье мы, а истина — ясна,
Проста, прекрасна, как лазури неба:
Что нужно человеку? — Тишина,
Любовь, сочувствие и корка хлеба.

Есть нечто общее в поэтическом творчестве послевоенных лет Чижевского и Н. Заболоцкого. Их сближает не только философичность мировосприятия, понимание глубинной жизни природы, обращение к темам отечественной и мировой истории, культуры, к внутреннему образу человека. Еще более сходными оказываются их нравственные позиции: просветленный взгляд на мир, мудрый жизненный стоицизм, сочувствие к человеку.

Чижевского никогда не влекла чисто литературная, изоциренная «игра со словом»: каждый раз он неизменно стремился подняться в стихах до уровня смысла, сохраняя в произведении подвижную гармонию содержания и формы. «Я понял истину: прекрасно все, что просто», — писал он в начале 1920-х годов. (Стихотворение «О стихотворцах».) Эта позиция нисколько не обеднила его стихи. Музыкальный, богатый ритмически поэтический язык Чижевского отражает самые тонкие оттенки цвета, мельчайшие движения или состояния окружающего мира. Слова в строке могут быть тяжелыми, напоминая кладку камней, или лететь из-под пера, как звуки столь любимой им скрипки (стихотворение «Моя скрипка»). Чижевский нередко прибегает к певучим трехдольным размерам, мастерски владеет классическим ямбом. Для него характерна склонность важнейшие, «программные» произведения создавать в строгих замкнутых формах: сонета, отдельного четверостишия. Он охотно пишет стансы, изредка прибегает к терциям, но есть у него и примеры белого стиха, верлибра.

Живописность и музыкальность — это те два качества поэзии, которые ученый неустанно развивал в своем творчестве, бесконечно отделявая («шлифуя») различные свои произведения, настойчиво снимая все «внутренние перегородки» между мастерством поэта, художника, музыканта и следуя интуиции своего многогранного дарования. Первые профессиональные навыки живописи он получил в 1905—1906 годах, в мастерской Шарля Нодье и у известного художника-педагога Ренья в Париже, где тогда служил его отец, и даже выставлялся однажды в парижском Салоне. Некоторые художественные принципы импрессионизма — его особая «солнценосность», стремление запечатлеть каждую мгновенную перемену цвета и движения в окружающем мире — привлекали Чижевского к этому течению в живописи. Важнейшей темой изобразительного творчества для него являлась жизнь природы, неразрывно связанная с лучистой активностью Солнца.

Основы эстетики Чижевского находятся в полном единстве с его научно-философскими взглядами и поэтикой. Для ученого изобразительное искусство было своеобразным «художественным природоведением». И потому он мог, в отличие от импрессионистов, не только изображая, но и изучая природу, свободно обходиться без пленэра. Акварели Чижевского, как и его стихи, тяготеют к серийности. Лишь при одновременном рассмотрении многих из них можно заметить, как в зависимости от време-

ни года или дня меняется колорит и композиция рисунка: в зимних пейзажах небо занимает гораздо больше места, чем в остальных, поскольку вся жизнь и активность от биосферы переходит к атмосфере. Напротив, в жаркий полдень можно, даже не видя в его рисунках неба, явственно ощутить потоки солнечной энергии, растворенной в «живом веществе» окружающей природы.

Прирожденное чувство формы, стиля не изменяло Чижевскому и в поэтическом и в живописном творчестве. Большинство акварелей выполнены им в слегка импрессионистической, свободно-безошибочной манере, достоинства которой лишь усиливаются элементами ритмической «музыкальной» согласованности линий и штрихов. Стоит отметить некоторые названия его рисунков, напоминающие краткие стихотворные подписи М. Волошина к своим акварелям 1920-х годов.

Литературно-художественное творчество Чижевского является сгущенным выражением богатейшего, глубокого и нередко противоречивого духовного опыта. Более всего в его облике привлекает редкостный творческий универсализм, гармоническое и яркое развитие необычайно многогранной человеческой личности. Быть может, со времен гениального М. Ломоносова в отечественной поэзии не было никого, чье творчество было бы так же тесно связано с научными поисками и новейшими открытиями своего времени, с глубинными основами мировоззрения. В лучших стихах Чижевского за предельной насыщенностью мыслями, сомнениями, трагическими заблуждениями ощутима его необычайно искренняя, открывающая «тайники души», страстная личность подлинного человека-творца. В произведениях гражданской лирики, созданных в годы первой и второй мировых войн, он остается верен патриотическим заветам Пушкина, Тютчева, Блока. «Истинное искусство всегда нравственно», — писал Чижевский в манифесте «Академия поэзии». Но в жизни он горячо отстаивал и нравственность науки. В этом ему помогали его поэзия, искусство.

Нам особенно близка «экологичность» художественно-поэтического и научного мышления Чижевского. Его эстетика — это эстетика солнечного света, небесной синевы, чистого, насыщенного грозовым электричеством воздуха, его поэзия и живопись наполнены шелестом зеленых листьев, благоуханием сада и поля, йодистыми запахами южного моря. Многие его стихи — о цветах или птицах — это создания вдохновенного и точного таланта поэта-натуралиста, другие — исторической и научно-философской тематики — написаны подлинным мастером «интеллектуальной поэзии», блестящим эрудитом, ученым-энциклопедистом.

В каждой поэтической строке «зрение» и «слух» художника он стремился соединить со строгой мыслью ученого-естествоиспытателя и философа, чтобы в итоге получить живительный сплав «истинной» поэзии. И потому лучшие его стихотворные произведения, как и рисунки, оказываются ценнейшим свидетельством неразрывности понятий истинности в науке и красоты в искусстве. Провозглашенный Чижевским в юности союз поэзии, искусства и науки оказался не бесплодным призывом, он стал философской и практической основой одухотворенного реализма в творчестве.

Созерцая словно из беспредельности великую панораму мировой культуры и размышляя о нелегкой творческой судьбе, на которую почти всегда обречен выдающийся талант, Чижевский однажды горестно ставил в стихотворении «Восхождение» (1936 г.) планетарный «свет Земли» — этот отраженный свет Солнца — с горением духа великих, но не

замечаемых современниками гениев. Они творят вопреки всему, хотя в течение жизни их «мысли свет летит к открытым небесам,

Не находя себе
Признания земного».

Он имел многие основания в те годы отнести эти слова и к себе. Настоящее, подлинное признание заслуг Чижевского перед всей отечественной культурой пришло лишь спустя несколько десятилетий, в наши дни.

АЛЕКСАНДР ЧИЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

* * *

Лиловые поля
В прозрачной легкой мгле;
Умолкнула земля
И нежится в тепле...
Далекий небосвод
Овеян вешним сном,
И блеск зеркальных вод
В спокойствии немом...

Все та же высь и ширь земная,
И даль — синюющая даль:
Неотвратимая, родная,
Тысячелетняя печаль.

Все то ж знакомое стенанье
Тоски-любви, любви-тоски:
Неразрешимое желанье
И напряженные виски.

1913



Рис. М. Добужинского

Звено бесчисленных поколений,
Люблю тебя, Земля моя:
Предел несбыточных стремлений
И тщетных странствий бытия.

1922

БЕГСТВО ТЬМЫ

Идет погоня: тьма ночная
Бежит от солнечных лучей,
И спотыкаясь, и хромяя,
То канет в пропасть, то в ручей.

И в воды судорожной тенью
Скользнет стремительно она,
И снова выйдет по течению,
Увертлива и холодна;

Взлетит чудовищем крылатым
На гребни скал, уступы гор —
И мехом бурым и косматым
На миг оденется простор.

Террасы, пики и ступени
Смещаются под бег теней,

А солнце гонит дальше тени
За спины кражей и камней.

Там, притаившись на мгновенье,
В испуге свернутым клубком
Трепещут тени, как виденье,
И снова катятся, как ком!

Они летят стремглав в низины,
Вытягиваются и дрожат,
Врезаясь в чащи и стремнины,
Тревожа сон нагорных стад.

А солнце гонится за ними
Скорей и дальше в глубь долин,
Вбивая стрелами своими
Во тьму победоносный клин.

Туман редет вдоль потока,
И тени мечутся на нем,
Как бы прибежища у рока
Ища меж влагой и огнем.

Но луч всесветный, всемогущий,
Разящий в мраке и во мгле,
Влетит в последние их кущи
И тени пригвоздит к земле!

1918, 1942

ПИРР

Тебя влекли великие мечтанья
О несравненной родине своей,
Заложником, скитальцем ли изгнанья,
Царем эпирским — ты был верен ей.

И при дворе роскошном Птоломея,
В Александрии, средь наук и муз,
Одну мечту растил ты, и лелеял,
И нес ее, как вожденный груз.

В родных горах, под дубами Додоны,
У Ахеронта тайномудрых вод
Ты видел сны: победные знамена
И гесперийский эллинский народ.

И охватил ты Греции пределы —
От Падуса по синеводый Нил,—
И италийские водоразделы
В своих мечтах в одно соединил.

Ты мнил закончить Александра планы
И взять над целым миром перевес,
В единое слить варварские страны
И влить туда всеэллинский прогресс.

Действительность убила, не жалея,
Твои прекрасносозданные сны —
С трудом тебе досталась Гераклея,
Не помогли при Аскуле слоны.

И, сломленный в бою при Беневенте,
Как Одиссей, ты Левкофеи ждал,
Что вынесет в счастливейшем моменте
Из моря бед — тебе покорный вал.

Еще огнем щиты твои сверкали,
И вымпел бдил на царском корабле,
Судьба разбила помыслов скрижали,
Векам их сдав в язвительной хуле.

Но предвосхитил ты непостижимо
Незыблемый истории закон:
Не эллины легли в подножье Рима,
А Рим был эллинизмом покорен.

1943

СЛОВО

Все падет в поток времен!
Уцелеет только Слово
От всеобщих похорон
Необъятного былого.

1943

И НЕПОДКУПНЫЙ ГОЛОС МОЙ...

Владимир Высоцкий заслужил любовь как чувство взаимное.
Приходится слышать, что он был одинок. Мне это кажется неверным.
Одиночество оборачивается эгоизмом: думать преимущественно о себе,

жалеть — себя, о себе и только заботиться. Он был не таков. Не одинок он был, но — один, единствен. Не одинок — даже если с ним никого не было, потому что он был со всеми.

Он писал о нас. Теперь мы — о нем; и у нас это выходит гораздо хуже.

Миллионы людей, скольких из нас (по-разному, наверное) обогло Высоцким!

В последний путь, принято, провожают близкие. К нему пришли все: пацаны, рабочие, ученые, артисты — все, кого он воплотил или мог бы, да не успел, в своих песнях. Кто им Высоцкий? Конечно (как в «Гамлете»), «он человек был в полном смысле слова». Но им-то всем что?

Скажите всем, кого я знал:

я им остался братом!

(«Ошибка вышла»)

Никакой ошибки — именно братом!

Говоря о Высоцком — Гамлете, привычно вспоминают «быть или не быть»... А не менее ярко и даже, наверное, значительней звучит его настойчивое: «Вам надо исповедаться. Вам надо исповедаться...» Будто внутри самой жизни, а не пьесы, взывает голос — и не актера Высоцкого, но Высоцкого-поэта. В трудные времена он помог нам исповедоваться. Как это говорится: один за всех?

Что давало ему силы для такого подвига? Внутренняя свобода. При всяческих внешних ограничениях.

Утверждают, что творчество Высоцкого будет оценено по достоинству лишь со временем, то есть — не современниками. Полагаю, кончина Высоцкого долго еще будет восприниматься как недавняя...

Азартно, торопливо и бессистемно переписывались песни Высоцкого, запоминались без заучивания, использовались даже вприкуску к быту...

В общем, любовь до гроба! А после? А теперь?

Только начинаем понимать. Пробуем понять. Пробуем услышать. И знакомые строки (звуки) проступают подчас неожиданно.

Он по нервам,
нам по нерр-р...

вам!
(«Натянутый канат»)

Шел грудью к плащам и руба-а... Хам!
(«Поездка в город»)

Как бы нечаянные аллитерации — «в десятку»:

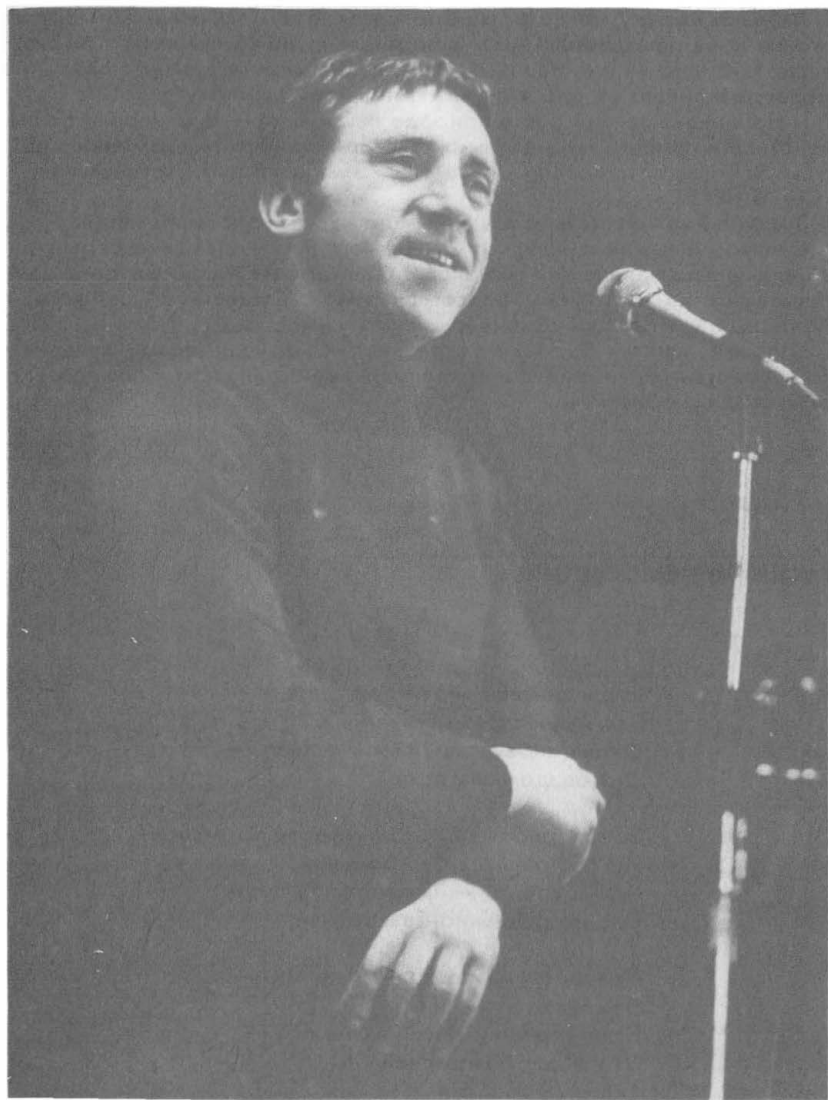
Недостатки в стране устранят!
(«Через десять лет все так же»)

Неловок заголовок? Высоцкий мало значения придавал названиям песен, он не продумывал их, понимая — суть «под шапкой». И скорее это даже не заголовки, а просто обозначения для удобства. Одну и ту же песню он мог назвать так, а мог иначе. Точность — и, мне кажется, не вымученная, а угаданная, учуянная интуитивно — внутри, в слове, в «строченьках милых»...

...ей сам Марсель Марсо чего-то говорил.
(«Она была в Париже»)

Двадцать раз слушаешь, и вдруг — на двадцать первый услышишь: не в том дело, что сам, а в том, что — мим говорил!

Я пришел. А он в хвосте плетется...
(«Бег иноходца»)



Владимир Высоцкий.
Фото С. Метелицы, Ярославль,
1979 г.

В хвосте — значит, позади. Но здесь-то позади — коня!

Осмелюсь не потрафить законченным стилистам и заявить, что Высоцкий пел — хором. Это слышно. Такой хор, например, у шторма. Когда из бикфордовых жил взрывался звук: «Ми-и-и-И-ИРР вашему дому!» — после первого слова вполне уместна команда «Воздух!», а в следующих словах сыплется хор грохочущих осколков, обломков, черт-те чего...

Лабухам на руку, когда фальшь прячется за шумом, помехами. Высоцкий же по-профессиональному заботила чистота восприятия, и он огорчался: «Обилие некачественных пленок вредит мне даже больше, чем молва»; заклинал: «Пусть я верно выпеваю ноты!»

И рассуждая всякий раз о природе Высоцкого — о манере исполнения, стиле и прочем, мы невольно «алгеброй поверяем гармонию» природы. Все соответствовало. Даже его «семь заветных струн зазвенели В СВОЙ ЧЕРЕД».

Высоцкий сумел стать услышанным не за счет голосовой мощи.

Сейчас ученые выяснили, что мышцы гортани — едва ли не самый чуткий улавливатель внешних сигналов. Малейшее нарушение в организме сказывается на состоянии голосовых связок. Существует, заметим, и обратная, изменяющая самочувствие зависимость.

Голосом, гласом Высоцкий отразил многие нездоровые явления в общественном организме, с энциклопедичной скрупулезностью исследовав «историю болезни»...

Леонид ГУРЗО

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

* * *

Наши помехи эпохе под стать,
Все наши страхи причинны.
Очень собаки нам стали мешать —
Эти бездомные псины.

Бред, говоришь... Но — судить потерпи,—
Не обойдешься без бредней.
Что говорить — на надежной цепи
Пес несравненно безвредней.

Право, с ума посходили не все —
Это не бредни, не басни:
Если хороший ошейник на псе —
Это и псу безопасней.

Едешь хозяином ты вдоль земли —
Скажем, в Великие Луки,—
А под колеса снуют кобели,
И попадаютя суки.

Их на дороге размазавши в слизь,
Что вы за чушь создадите?
Вы поощряете сюрреализм,
Милый товарищ водитель.

Дрожь проберет от такого пятна!
Дворников следом когорты
Будут весь день соскребать с полотна
Мрачные те натюрморты.

Пса без намордника чуть раздразни,—
Он только челюстью лязгни! —
Вот и кончай свои грешные дни
В приступе водобязни.

Не напасутся и тоненьких свеч
За упокой
наши дьяки...
Все же намордник — прекрасная вещь,
Ежели он на собаке!

Мы и собаки — легли на весы!
Всем нам спокойствия нету,
Если бездомные шальные псы
Бродят свободно по свету.

И кругозор крайне узок у вас,
Если вас цирк не пленяет,—
Пляшут собачки под музыку вальс —
Прямо слеза прошибает!

Или — ступают, вселяя испуг,
Страшные пасти раззявив,—
Будто у них даже больше заслуг,
Нежели чем у хозяев.

Этих собак не заманишь во двор —
Им отдохнуть бы, поспать бы,—
Стыд просто им и семейный позор —
Эти собачие свадьбы.

Или — на выставке псы, например,
Даже хватают медали,—
Пусть не за доблесть, а за экстерьер,
Но награждают — беда ли?

Эти хозяева славно живут,
Не получая получку,—

Слышал, огромные деньги гребут
За... извините — за случку.

Значит, к чему это я говорю,—
Что мне, седому, нейметя?
Очень я, граждане, благодарю
Всех, кто решили бороться!

Вон, притаившись в ночные часы,
Из подворотен укромных
Лают в свое удовольствие псы —
Не приручить их, никчемных.

Надо с бездомностью этой кончать,
С неприрученностью — тоже.
Слава же собаколовам! Качать!..
Боже! Прости меня, Боже!..

Некуда деться бездомному псу?
Места не хватит собакам?..
Это — при том, что мы строим вовсю,
С невероятным размахом?!

1976

* * *

Граждане! Зачем толкаетесь,
На скандал и ссору нарывааетесь —
Сесть хотите? дальняя дорога?
Я вам уступлю, ради бога!

Граждане! даже пьяные,
Все мы — пассажиры постоянные:
Все живем, билеты отрываем,
Все — по жизни едем трамваем...

Тесно вам? И зря ругаетесь —
Почему вперед не продвигаетесь?
Каши с вами, видимо, не сварить...
Никакой я вам не товарищ!

Ноги все прокопытили,
Вон уже дыра в кулак на кителе.
Разбудите этого мужчину —
Он во сне поет матерщину.

Граждане! Жизнь кончается —
Третий круг сойти не получается!

«С вас, товарищ, штраф — рассчитайтесь!..
Нет? Тогда — еще покатайтесь...»

До 1975

ДВА ПИСЬМА

I

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный!
Во первых строках письма шлю тебе привет.
Вот вернешься ты, боюсь, занятой, нарядный —
Не заглянешь и домой, — сразу в сельсовет.

Как уехал ты — я в крик, — бабы прибежали:
«Ой, разлуки, — говорят, — ей не перенести».
Так скучала за тобой, что меня держали, —
Хоть причина не скучать очень даже есть.

Тута Пашка приходил — кум твой окаянный, —
Еле-еле не далась — даже щас дрожу.
Он три дня уж почитай, ходит злой и пьяный —
Перед тем, как приставать, пьет для куражу.

Ты, болтают, получил премию большую;
Будто Борька, наш бугай, — первый чемпион...
К злыдню этому быку я тебя ревную
И люблю тебя сильнее, нежели чем он.

Ты приснился мне во сне — пьяный, злой, угрюмый, —
Если думаешь чего — так не мучь себя:
С агрономом я прошла, — только ты не думай —
Говорили мы весь час только про тебя.

Я-то ладно, а вот ты — страшно за тебя-то:
Тут недавно приезжал очень важный чин, —
Так в столице, говорит, всякие развраты,
Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин.

Ты уж, Коля, там не пей — потерпи до дому, —
Дома можешь хоть чего: можешь — хоть в запой!
Мне не надо никого — даже агроному, —
Хоть культурный человек — не сравню с тобой.

Наш амбар в дожди течет — прохудился, верно, —
Без тебя немоготу — кто создаст уют?!
Хоть какой, но приезжай — жду тебя безмерно!
Если можешь, напиши — что там продают.

1967

Не пиши мне про любовь — не поверю я:
 Мне вот тут уже дела твои прошлые.
 Слушай лучше: тут — с лавсаном материя,—
 Если хочешь, я куплю — вещь хорошая.

Водки я пока не пил — ну ни стопочки! —
 Экономлю, и не ем даже супу я,—
 Потому что я куплю тебе кофточку,
 Потому что я люблю тебя, глупая.

Был в балете — мужики девок лапают.
 Девки — все как на подбор — в белых тапочках.
 Вот пишу, а слезы душат и каплют:
 Не давай себя хватать, моя лапочка.

Наш бугай — один из первых на выставке.
 А сперва кричали — будто бракованный,—
 Но очухались — и вот дали приз таки:
 Весь в медалях он лежит запакованный.

Председателю скажи, пусть избу мою
 Кроют нынче же, и пусть травку выкосют,—
 А не то я телок крыть — не подумаю:
 Рекордсмена портить мне — на-кось, выкуси!

Пусть починют наш амбар — ведь не гнить зерну!
 Будет Пашка приставать — с им как с предателем!
 С агрономом не гуляй — ноги выдерну,—
 Можешь раза два пройтись с председателем.

До свидания, я в ГУМ, за покупками,—
 Это вроде наш лабаз, но — со стеклами...
 Ты мне можешь надоесть с полушубками
 В сером платье с узорами блеклыми.

...Тут стоит культурный парк по-над речкою,
 В ём гуляю — и плюю только в урны я.
 Но ты, конечно, не поймешь — там, за печкою,—
 Потому — ты темнота некультурная.

1966

Текст двух последних стихотворений («Два письма») является окончательным устойчивым авторским вариантом, определенным по фонограммам авторских исполнений 1966—1972 гг. Остальные тексты публикуются по авторским рукописям.

Публикацию подготовили А. Крылов и Б. Акимов.

МАСТЕРСКАЯ



ВЛАДИМИР КАЗАРОВ

«СОНЕТЫ» ШЕКСПИРА: ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ИЛИ ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДЧИКА?

В 1969 году в журнале «Вопросы литературы» (№ 2) была опубликована статья Н. Автономовой и М. Гаспарова «Сонеты Шекспира — переводы Маршака», где на большом числе примеров авторы показали, что Маршак перевел «Сонеты» Шекспира (в дальнейшем просто «Сонеты». — В. К.) «не только с языка на язык, но и со стиля на стиль», сместив словарь переводов в сторону поэтики русского романтизма первой трети XIX века, — хотя, кроме как с точки зрения словаря, стиль «Сонетов» в статье фактически не разбирался. С тех пор к этому вопросу больше не возвращались.

Из переводов, опубликованных с момента появления в печати этой статьи, видно, что переводчикам «Сонетов» неизвестны современные требования, которые предъявляет поэтический язык Шекспира и его сонетный цикл, что они руководствуются лишь теми представлениями, какие сложились у них по предыдущим переводам, и не могут выбрать из колеи этой традиции. Между тем сегодня, если мы хотим, чтобы новые переводы «Сонетов» стали **событием**, эти требования обойти невозможно, а они до сих пор даже не перечислены.

Общее представление о стиле «Сонетов» проще всего получить по стихам русских поэтов, на которых Шекспир оказал сильное влияние; наиболее заметно оно в стихах Пастернака. Так, в стихотворении 1919 года «Шекспир» он, помимо решения тематической задачи, сознательно использовал в повышенной концентрации элементы поэтического стиля Шекспира; здесь и характерные для Шекспира переносы предложения из строки в строку (ран-он-лайнз) и из строфы в строфу (у Шекспира весь сонет иногда состоит из одного-двух предложений), интонационные повторы («А впрочем... А впрочем, соснем на свободе. А впрочем, на бочку...») «Пять ярдов — и вы с ним в бильярдной, и там — не пойму, чем вам не успех популярность в бильярдной?») и большое количество аллитераций, и разнообразная внутренняя подрифмовка.

Если к этому добавить метод построения образа, заключающийся в использовании словаря и понятий из какой-нибудь одной области (Пастернак широко им пользовался в других стихах), как основу метафоризма Шекспира, а также частые отклонения от «чистого», «правильного» стиха, которые у Шекспира подчинены постоянному эмоциональному напряжению, — такие, как сложные инверсии, неологизмы (приемы, которыми активно пользовались чуть ли не все русские поэты, кроме Пастернака), то это и будет, пожалуй, практически полный

набор стилистических черт «Сонетов», определяющих самые общие требования к их переводам (о требованиях, связанных с передачей адресата, характерными особенностями и трактовкой отдельных сонетов, будет сказано ниже).

Как выделить в этих стилистических чертах «Сонетов» главную, тот стержень, который дал бы возможность показать, что этот перечень — не просто механическое перечисление, что все эти черты — ветви одного дерева, что все они органично взаимосвязаны? В своем стихотворении Пастернак подчеркивает **остроумие** как одну из главных черт шекспировского характера. Случайно ли она подчеркнута?

Дело не только в том, что о Шекспире осталось много легенд и рассказов, связанных именно с его остроумием (среди посетителей «Сирены», таверны, служившей своеобразным литературным клубом драматургам и поэтам того времени, Шекспир считался самым остроумным), — оно бросается в глаза и в его пьесах. Остроумие — вообще привилегия больших поэтов, и связано это с самой природой поэзии; для истинного поэта слово — и материал для выражения мыслей и чувств, и одновременно материал для **игры**. По существу, любая истинная поэзия с точки зрения формы — это **игра слов** в самом широком понимании, включающая и игру смыслом, и игру интонацией, и игру звуками; в этой связи и метафоризм Шекспира с его пристрастием строить образы на терминологии и понятиях то судебного процесса, то войны, то из области медицины, органично вписывается в общее представление о его поэтическом стиле.

Игра слов, как стилистическая черта, отражает остроумие, как соответствующую черту характера. Было бы естественно предположить, что в «Сонетах» Шекспир так же остроумен и блестящ, как и в пьесах; однако вся русская традиция переводов «Сонетов», от Н. Гербеля до А. Финкеля, не дает этому подтверждения. В русских переводах Шекспир в сонетах — тонкий лирик, передающий все оттенки любви и страсти, но отнюдь не остроумец. Чтобы не показалось голословным столь категоричное утверждение, я начну с наиболее убедительного примера — с истории переводов 130-го сонета.

В первом номере «Литературной учебы» за 1985 год опубликована статья М. Новиковой «Веселый жанр черновика» — история того, как она перевела 130-й сонет Шекспира. Статья написана искренне и живо, и **процесс** перевода ей воссоздать удалось; не удался, правда, сам перевод — по существу, это рассказ о том, как перевод **не получился**.

Однако главная слабость этого перевода — не в том, что он сделан недостаточно мастерски, а в самой точке зрения, с которой переводчица рассматривала сонет. Новикова не поняла, что 130-й сонет Шекспира — **пародия**.

Мысль эта не нова. В русской критике ее впервые высказал Н. Стороженко: «130-й сонет... можно назвать остроумной пародией на тогдашние модные сонеты...» («Опыты изучения Шекспира». М., 1902, с. 325); сравнительно недавно мысль о «пародийном заряде» 130-го сонета повторил Р. Кушнерович в статье «Непереведенный сонет Шекспира» («Мастерство перевода. 1977». М., 1978). Это видно также из приведенных А. Аникстом в предисловии к недавно вышедшему двуязычному изданию «Сонетов» (М., «Радуга», 1984) английских текстов стихов современных Шекспиру поэтов Б. Гриффина и Т. Уотсона. Однако, даже не

зная работы Стороженко и стихов современников Шекспира, спародированных поэтом, из самого текста 130-го сонета можно извлечь догадку о его пародийности.

Пожалуй, самый наглядный пример — третья строка сонета. В том небольшом кругу читателей «Сонетов», среди которых ходили их списки, адресат 130-го сонета скорее всего был известен; известно было, что эта женщина смугла (dark), и когда слушатели (или читатели) в конце третьей строки («Если снег бел, ну тогда ее груди...») вместо dark получали созвучное dup («...грязновато-серые, бурые»), это вызывало смех. Эта строка — характерно пародийная и с головой выдает направленность сонета против приторных сравнений современников Шекспира.

И все же вряд ли следует упрекать М. Новикову за то, что она не сумела самостоятельно подобрать ключ к переводу 130-го сонета: этого не удалось сделать никому из русских переводчиков — а их было немало. Необычный сонет постоянно привлекал к себе внимание: до попытки Новиковой было уже опубликовано 14(1) прозаических и стихотворных переводов 130-го сонета на русский язык (по количеству переводов он уступает только знаменитому 66-му), — и все до единого переводчики упорно переводили его как лирическое стихотворение, кто как мог обходя «несъедобные» шекспировские сравнения; кого не устраивал запах, исходивший от любимой и слишком явно напоминающий запах пота, кого — пучки проволоки, растущие у любимой на голове, а уж «грязновато-серые груди» не устраивали всех подряд. Ближе всех к интонации Шекспира и тем самым — к сути сонета подошел Р. Винонен («Сельская молодежь», 1971, № 2), которому одну из трех строф удалось целиком сделать в пародийном ключе:

Не замечал я и дамасских роз,
Что расцветают у иных на лицах,
Да и парфюмам, ежели всерьез,
Навряд ли пот в сравнение годится.

На самом деле перевод должен быть еще острее, поскольку в сознании нашего читателя нет пародируемых Шекспиром стихов; но важно, что именно в снижении, предельном «заземлении» пафоса банальных сравнений заключен принцип (заложенный и в сонете Шекспира), который только и открывает дорогу к верному по сути переводу и может оградить будущих переводчиков от повторения общей ошибки.

Однако вопрос трактовки 130-го сонета, важный сам по себе, не столь важен в общей проблеме художественного перевода «Сонетов», поскольку этот сонет, как пародийный, занимает особое место в шекспировском сонетном цикле. А вот вопрос, поставленный Новиковой в ее статье в связи с переводом сонетного «замка» этого сонета, чрезвычайно актуален и имеет прямое отношение к теме нашей статьи.

Изюминка ее статьи — там, где она, вспомнив шекспировскую игру слов в 1-й сцене 4-го акта «Отелло», обнаружила и попыталась перевести похожий обыгрывш в сонетном «замке» 130-го сонета, где слово *belied* Шекспиром использовано одновременно и в значении «оболганная», и в значении «уложенная» (в смысле «соблазненная»): *And yet, by heaven, i think my love as rare As any she belied with false compare.* («И все же, клянусь, моя любимая не хуже любой, 1) оболганной фальшивыми сравнениями; 2) уложенной (соблазненной) фальшивыми сравнениями».

«Значит,— с изумлением восклицает Новикова,— все эти высокие уподобления (солнце, коралл, снег, музыка) — не просто вранье, а **приманка** для дур, чтобы затащить их в постель! Почему же этого не вычитали раньше — ни Морозов, ни Маршак, ни я сама?..»

Игра слов часто связана с использованием таких значений, которые во времена Шекспира употреблялись в живом разговорном языке, а сейчас ушли в его глубинные пласты, или же, как в этом случае, с омофонным значением слова, и для того, чтобы такую игру слов уловить, надо не только кропотливо работать со словарем, но и владеть языком на уровне поэтического сознания, что не всегда возможно даже для тех, у кого английский язык — родной.

И Морозов и Маршак вполне могли не увидеть игру слов в «замке» 130-го сонета. В «Отелло» Шекспир не случайно к восприятию игры слов в 1-й сцене 4-го акта **подготавливает** зрителя заранее, предваряя ее похожим обыгрываем в 4-й сцене 3-го акта, в разговоре Дездемоны с шутом: как актер и драматург он понимал, что без такой подготовки зрители могут эту игру слов «прослушать», не заметить.

Вопрос Новиковой задан скорее эмоционально, чем с желанием получить на него ответ. На самом деле вопрос надо ставить шире: как могли не увидеть **все** русские переводчики и комментаторы «Сонетов», что игра слов есть чуть ли не **в каждом** сонете?

За примерами далеко ходить не надо. В сонете 129-м Шекспир пишет о проклятии плотской страсти, и все стихотворение пропитано горечью раскаянья за собственную слабость, обобщенной в концовке сонета: All this the world well knows; yet none knows well to shun the heaven that leads men to this hell.

Все переводчики прошли мимо игры слов в «замке», переведя только простейшие обыгрываемы shun — lead (избегать — вести) и heaven — hell (рай — ад); у Шекспира же слово heaven означает и «небо», и «рай» (блаженство), и «**божественная**», и «**женщина, дающая блаженство**», и концовка сонета имеет по меньшей мере два смысла: «Все это мир прекрасно знает, но никто как следует не знает, как избежать 1) **рая, который ведет людей (мужчин) в этот ад**; 2) дающей блаженство **женщины, которая ведет мужчин (людей) в этот ад**». Этот дополнительный смысл неожиданно обостряет иронию и горечь концовки.

В сонете 128-м, шуточном по тону, Шекспир завидует клавишам, целующим пальцы его любимой, и слово jack здесь использовано одновременно и в значении «клавиш(а)», и в значении «парень, малый», а слово wood означает одновременно и «дерево, деревяшка», и «инструмент». Этой игрой слов, использованной в сонете **дважды** каждая, шуточная интонация поддержана и проведена через все стихотворение; ничего подобного ни в одном русском переводе нет.

На примерах из трех взятых подряд сонетов видно, что такая игра слов у Шекспира — частый и важный прием. Шекспир пользуется им в «Сонетах» не реже, чем в пьесах; игра слов органична в шекспировских стихах и чрезвычайно важна не только как стилистическая черта, отражающая шекспировское остроумие, но и для выявления сути сонетов.

В «Сонетах» можно найти такие, где игра слов становится приемом, без перевода которого теряется все шекспировское своеобразие (как, например, в сонетах 135-м и 136-м, целиком построенных на обыгрывании имени поэта, которое в сокращенном варианте означает «желанье», «воля»), совершенно меняется его трактовка (как, например, в

сонете 119-м, где вся композиция, весь драматизм сонета развиваются из ключевого обыгрыва в первой строке, построенного на двух-значениях слова rotio — «доза лекарства» и «доза яда»), или существенно обедняется содержание сонета.

Так, в сонете 55-м двойной смысл распространен на все стихотворение, которое обращено не только к адресату «Сонетов», но и к самому поэту (как это всегда было принято в поэзии — говорить «ты», обращаясь к самому себе; например, языковское «Землетрясение»: «Так ты, поэт, в минуту страха и колебания земли...»). Этот двойной план Шекспиру был необходим, поскольку 55-й сонет — вариант на тему горацевского «Памятника»; без обращения к самому себе стихотворение лишается главного смысла. В связи с этим Шекспир от начала и до конца сонета выдерживает двойное обращение и нигде не употребляет местоимений «я», «мой» и т. п. Из русских переводчиков это понял только В. Брюсов, сохранивший в переводе возможность двойного прочтения.

Пример с 55-м сонетом подводит к одному из самых сложных вопросов в проблеме перевода шекспировских сонетов. Дело в том, что прием передачи двойного адресата имеет первостепенное значение при переводе первых 126 сонетов.

«Сонеты» автобиографичны — и не только в том смысле, что «этим ключом отмыкается душа Шекспира» (Вордсворт), но и в том, что отражают реальные факты его биографии, адресованы реальным людям, что во многих сонетах — и в образах, и в намеках и двусмысленностях — разбросаны детали его биографии (сравнения с актерской игрой, элементы театральной жизни, отверженность, унижительность положения актера, бедность и незнатность Шекспира, «внешние приметы» адресатов и др.). Такого рода детали, конечно же, следует переводить как можно точнее, но здесь особых сложностей не возникает; что же касается адресата «Сонетов», то это и есть камень преткновения.

Общеизвестно, что первые 126 сонетов обращены к другу (сегодня уже можно считать установленным, что к Саутгемпτονу), в то время как последние 28 написаны женщине. Поскольку в английском языке нет родовых окончаний, это с самого начала внесло путаницу в русские переводы, и если при переводе второй группы сонетов с родом адресата все было ясно, то при переводе каждого сонета из первой группы переводчики поступали (и поступают) как им заблагорассудится. Так, тот же 55-й сонет Н. Гербелем был адресован мужчине, И. Мамуной — женщине, В. Брюсовым и М. Чайковским — мужчине, С. Маршаком — мужчине или женщине, В. Роговым — женщине, А. Финкелем — мужчине; 57-й сонет (сонет 56-й — один из немногих, не имеющий конкретного адресата, он адресован любви) обращен у Н. Гербеля к мужчине или к женщине, у В. Брюсова и М. Чайковского — к мужчине, у С. Маршака — к женщине, у В. Иванова-Паймена — к мужчине или к женщине, у А. Финкеля — к женщине и т. д., и т. п.; современные переводчики продолжают адресовать сонеты этой группы то мужчине, то женщине.

Да, конечно, нежная любовь, являющаяся основной темой первой группы сонетов и выраженная с такой прямотой и обнаженностью, когда речь идет о мужской дружбе, современным читателем (и переводчиком) воспринимается с трудом (а иногда и превратно); верно и то, что современному переводчику легче найти в себе источник вдохнове-

ния при переводе этих сонетов, если он, переводя, будет обращаться к женщине (так же, как переводчице — обращаясь к мужчине при переводе второй группы сонетов). Но, несмотря на то, что каждый сонет у Шекспира представляет собой законченное самостоятельное стихотворение (даже в тех нескольких случаях, когда два сонета, идущие подряд, связаны между собой одной и той же игрой слов, как в сонетах 135-м и 136-м, или интонацией продолжения темы, как в сонетах 44-м и 45-м, 73-м и 74-м), все сонеты у Шекспира образуют в совокупности особый цикл со своим сюжетом, и единообразие в переводе адресата внутри группы сохранять абсолютно необходимо.

В самом деле, ведь если в предисловии к «Сонетам» (так же, как и во всех статьях о них) сказано, что эта группа сонетов обращена к мужчине, а читатель видит, что часть из них адресована женщине, у него невольно возникает подозрение, что кто-то — либо автор предисловия, либо переводчик — его мистифицирует; в любом случае разрушается целостное восприятие цикла.

Как преодолеть эту разноголосицу? Выход есть, и он подсказан многими из уже имеющихся переводов: при переводе первой группы сонетов необходимо сохранять двойной адресат везде, где это допускает английский текст; только в этом случае могут быть удовлетворены все — и комментаторы, и переводчики, и читатели. Таким образом, формально-грамматическая задача становится задачей художественного перевода большого количества стихов — уникальный по трудности случай в переводческой практике!

Поскольку первые 126 сонетов выражают любовь чисто платоническую, задача не оказывается непреодолимой; она усложняется только при переводе 55-го сонета: если в переводе и этого сонета сохранять, кроме обращения к самому себе, еще и двойной адресат (мужчину и женщину), то перевод, как и подлинник, должен допускать **тройное** прочтение.

Только этот принцип передачи адресата дает возможность «стыковать» под одной обложкой переводы разных переводчиков, не нарушая единообразия сонетного цикла, — а такую возможность всегда надо иметь в виду: неизвестно, например, найдется ли в ближайшем будущем достойный переводчик, которому окажется по силам перевести на требуемом сегодня уровне «Сонеты», или новый перевод будет осуществлен несколькими переводчиками.

Естественно возникает вопрос о принципе перевода игры слов — в самом широком ее понимании. Дело в том, что игра слов не всегда переводима — по крайней мере, в том же месте. В качестве примера можно привести две строки из 66-го сонета — одна с игрой слов и ярко выраженной аллитерацией, вторая — с аллитерацией и ярко выраженным двойным смыслом: это 11-я и 12-я строки сонета, заключительные перед сонетным «замком»: *And simple truth miscall'd simplicity, And captive good attending captain ill* — «...И простая честность называется простотой, и взятое в плен добро (достоинство) прислуживает главарю зла (главенствующему злу) (и взятое в плен здоровье ухаживает за больным главарем)».

Если говорить об адекватности перевода в пределах одного сонета, то можно с уверенностью сказать, что перевести именно этот обыгрыв именно в этом месте просто невозможно; чрезвычайно трудно дать

хоть бы такую же насыщенную игру слов именно в этом сонете, даже с учетом того, что 66-й сонет — единственный, позволяющий менять местами строки (к сожалению, современные переводчики — например, Р. Винонен, В. Орел, — меняют и формулировки строк, видимо, не понимая, чем этот сонет гениален: Шекспир собрал в нем такие категории взаимоотношений добра и зла, что замена любой из них на частную выглядит как провал в целом, а замена нескольких ведет к снижению масштаба сонета и его мощи, что обесценивает перевод); в других же сонетах, где нельзя менять местами строки с такой свободой, адекватная передача некоторых игровых мест и вовсе невозможна.

Существует принцип перевода стихов такого рода — **принцип компенсации**: игра слов, непереводаемая в одном месте, компенсируется аналогичной или подходящей для передачи нужного смысла или нужной интонации в другом (или в другом сонете). Это в равной мере относится практически ко всем стилистическим особенностям «Сонетов», перечисленным в начале статьи. Переводчик должен перевести «Сонеты» поэтически свободно, привлекая любые технические средства — игру слов любого рода, инверсии, неологизмы, повторы и т. п. — там, где они нужны **русскому** тексту, подчиняя их использование русскому стиху.

Один из стилистических элементов «Сонетов» играет особую роль в поэтической речи Шекспира — речь идет о переносах, так называемых ран-он-лайнз. Количество переносов в пьесах Шекспира с годами росло, что впоследствии послужило основанием для уточнения датировки его пьес; связано это было с тем, что Шекспир постепенно приходил ко все большей свободе поэтической речи, ее грамматической «прозаизации». Эту же роль переносы играют и в его сонетах; непрерывностью предложения он часто поддерживает и эмоциональное напряжение.

Учитывая относительную краткость произношения английской речи по сравнению с русской (примерно в 1,5 раза), в русских переводах следовало бы ожидать еще большего количества переносов, однако тенденция оказалась обратной: в переводах Маршака и Финкеля количество переносов меньше, чем в переводах венгерского издания и М. Чайковского. С чем это связано?

Н. Гербель перевел «Сонеты» **шестистопником**; с учетом того, что он использовал чередование мужской и женской рифм, это дало ему по сравнению с английским текстом 20—22 лишних слога на сонет, облегчая процесс перевода и делая поэтическую речь естественной даже при относительно небольшом числе переносов. Большинство переводов венгерского издания и все переводы М. Чайковского выполнены **пятистопным** ямбом с чередованием мужской и женской рифм, что, по сравнению с оригиналом, давало всего 6—8 лишних слогов, и количество переносов возросло. В переводах Маршака и Финкеля примерно четверть сонетного цикла была уже переведена пятистопником только с мужскими рифмами, что и привело, как это ни парадоксально, к уменьшению количества переносов.

Дело в том, что мужская рифма невольно заставляет переводчика уменьшать смысловые периоды, что сказывается на свободе, «дыхании» стиха: в русской поэзии рифмовка на одних мужских рифмах из-

за того и не прижилась, что мужская рифма нами традиционно воспринимается как пауза или концовка, остановка речи (М. Гаспаров). С этой точки зрения использование рифмовки только с мужскими рифмами при переводе «Сонетов» следует считать не шагом вперед, как это интерпретирует А. Зорин в статье «Сонеты Шекспира в русских переводах» (в уже упомянутом двуязычном издании «Сонетов»), а шагом назад.

В самом деле, у нас до сих пор чередование одних мужских рифм принято только в детских или юмористических стихах, где смысловые периоды обычно ограничиваются строкой или двумя. В русской поэзии чрезвычайно мало хороших стихов, написанных на одних мужских рифмах, — буквально единицы. Не случайно «Сонет» Пушкина использует чередование мужской и женской рифм («Великий Дант не презирал сонета, в нем жар любви Петрарка изливал...»), а среди почти 700 оригинальных и переводных сонетов, опубликованных в антологии «Русский сонет» (М., «Московский рабочий», 1983), не наберется и десятка, написанных с чередованием только мужских рифм.

Замечательный перевод 66-го сонета, сделанный Пастернаком, — исключение, подтверждающее правило; удача связана еще и с тем, что в 66-м сонете каждая строка имеет законченный, формулировочный смысл, таких сонетов у Шекспира — раз-два и обчелся (может быть, еще 130-й сонет, пародирующий стихи современников **построчно**, допускает чередование только мужских рифм). Выполненный Пастернаком одновременно с 66-м сонетом перевод 73-го сонета из-за использования только мужских рифм сильно проиграл; впоследствии, переводя сонет 74-й, Пастернак снова вернулся к привычному чередованию.

К этой традиции передачи английского пятистопника «Сонетов» русским пятистопным ямбом с чередованием мужской и женской рифм, видимо, следует вернуться; что же касается ныне забытой традиции переводить английский пятистопный ямб шестистопником, то, кажется, она канула безвозвратно, хотя в прошлом было много удач именно на этом пути. В частности, до сих пор лучшими переводами «Сонетов» Шекспира являются 12 переложений В. Бенедиктова, хотя он переводил шестистопником и в форме итальянского сонета.

Из сказанного видно, что требования к переводам «Сонетов» жестко регламентированы как по отношению к внешней форме, так и по отношению к форме поэтической. Но и это не все, на этом трудности переводчиков не кончаются. Некоторые сонеты требуют переосмысления, новой трактовки — речь идет не только об уже названных сонетах; такую задачу может поставить перед переводчиком любой сонет Шекспира. Вот два примера.

Начало 116-го сонета, кажется, никогда ни у кого не вызывало сомнений:

К слиянью честных душ не стану больше вновь
Я воздвигать преград! Любовь — уж не любовь,
Когда меняет цвет при первом измененьи
И отлетает прочь при первом охлажденьи.

(Н. Гербель)

Не заставляй меня допускать какие-либо помехи
браку двух верных душ...

(П. Каншин)

Ничто не может помешать слиянию
Двух сродных душ!..

(С. Ильин)

Не допускаю я преград слиянию
Двух верных душ!..

(М. Чайковский)

...Не будем ставить препятствий брачному союзу
честных душ...

(А. Соколовский)

Мешать соединению двух сердец
Я не намерен...

(С. Маршак)

Помехой быть двум любящим сердцам
Я не хочу...

(А. Финкель)

Не думаю, что истинной любви
Преградой будут эти передраги...

(Р. Винонен)

Сердцам, соединяющимся вновь,
Я не помеха...

(В. Орел)

За исключением Р. Винонена, который аккуратно «обошел» непонятное место, все остальные переводчики перевели его с прямо противоположным шекспировскому смыслом. У Шекспира начало сонета выглядит так: «Позволь мне к союзу двух истинных умов (верных душ) не допустить препятствий...» (Let me not to the marriage of true minds Admit impediments. Love is not love...) Шекспир не может позволить себе опустить руки и смотреть, как разрушают его любовь; да и что же это за любовь, если она так легко сдается? Отсюда и пафос 2-й и 3-й строф — гимна настоящей любви, которая не знает преград.

У переводчиков же смысл таков: Шекспиру изменили, но его любовь осталась неизменной, а союзу того, кто изменил, с тем, с кем изменили, он мешать не будет, ибо что же это за любовь, если она от его помех развалится. Традиция перевода сложилась на том допущении, что Шекспир мог бы и вмешаться в эту любовь, что для самого Шекспира было немислимо даже как допущение; но еще более абсурдной выглядит трактовка 2-й и 3-й строф как адресующих свой пафос любви друга Шекспира и третьего лица.

Если в 116-м сонете переводчики дружно поняли и перевели **начало** неправильно (обесмыслив и весь сонет), но **одинаково**, то в 21-м сонете они так же дружно перевели неправильно самое важное место **в конце**, но зато все по-разному. 21-й сонет полупародиен; издеваясь над банальными сравнениями современных ему поэтов, Шекспир ведет стихотворение к простому убедительному образу, который и должен был показать, как надо сравнивать истинно **поэтически**. Образ этот, такой характерный для эпохи Возрождения, был у всех на глазах — мадонна с младенцем: «Моя любовь так же прекрасна, как для любой матери — ее дитя» (My love is as fair As any mother's child), пишет Шекспир, и вот как его переводят:

...Милая моя прекрасней всех других,
Рожденных женщиной...

(Н. Гербель)

...Возлюбленное мною так прекрасно, как только
может быть дитя, рожденное матерью...

(П. Каншин)

...Его прелестный друг ни в чем
Прелестнейшим сынам земли не уступает...

(В. Лихачев)

...светел, как дитя,
мой нежный друг...

(М. Чайковский)

...Любимое мною существо будет прекрасно,
как только может быть прекрасно дитя,
рожденное женщиной...

(А. Соколовский)

...милая прекрасна,
Как все, кто смертной матерью рожден...

(С. Маршак)

Блещет красотой любовь моя,
...как любой рожденный в этом мире...

(А. Финкель)

Из всего вышеизложенного напрашивается вывод: сегодня назрела необходимость издания грамотных прозаических переводов, учитывающих ошибки переводов П. Каншина и А. Соколовского, уточняющих трактовку сонетов и комментирующих игру слов. До тех пор, пока не будет проделана эта работа, мы не гарантированы от появления переводов с серьезными ошибками, а критерии оценки качества переводов будут смещены.

С другой стороны, издание этих переводов охладит пыл многим из тех, кто сейчас с такой легкостью поднимает перо на «Сонеты» гения,

поставив хотя бы первые, чисто технические барьеры мастерства. Необходимо, чтобы переводчики отдавали себе отчет, какой сложности задача ставится перед ними.

Ведь даже выполнение всех перечисленных требований — хотя и необходимое, но отнюдь не достаточное условие для того, чтобы переводы «Сонетов» были удачными, даже незаурядного переводческого мастерства для этого мало.

Для того чтобы новые переводы стали литературным фактом, таким событием в литературе, каким 40 лет назад стали в советской поэзии переводы Маршака, чтобы новые переводы «Сонетов» стали и новым рождением Шекспира в русской лирике, они должны быть **поэтическими** по преимуществу. Все оттенки любви, ревности, мучительной страсти, с такой искренностью выраженные Шекспиром, требуют от переводчика постоянного эмоционального напряжения, требуют истинного чувства — без этого переводы будут мертворожденными. Как и 40 лет назад, сегодня переводчику «Сонетов» следует соревноваться не с предыдущими переводами, а с оригиналом — поэтический образец находится именно там. Но для такого соревнования переводчик должен быть во всеоружии — именно в этом смысл публикации данной статьи.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

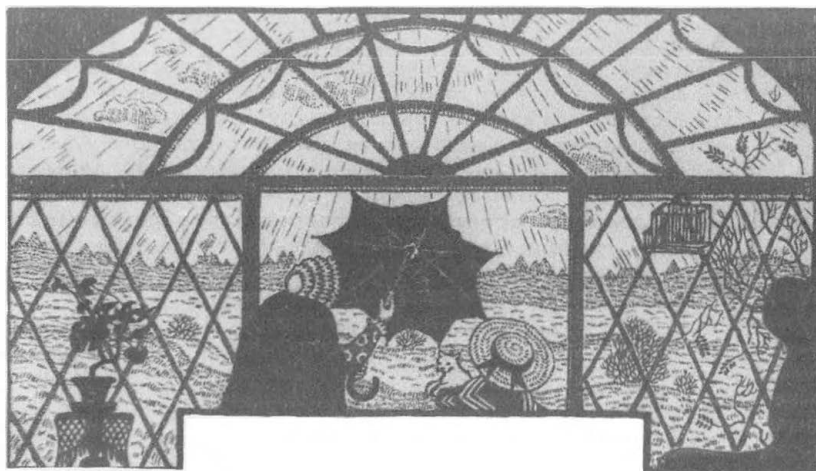


Рис. М. Добужинского

ПАВЕЛ НЕРЛЕР

«ДАР ТАЙНОСЛЫШАНЬЯ ТЯЖЕЛЫЙ...»

Суровой и прекрасной зимой 1920/21 года чуть ли не все оставшиеся в Петербурге поэты, художники и ученые стянулись в одно место, поближе друг к другу, — в «убогую роскошь» Дома искусств, целого артистического квартала на углу Невского и набережной Мойки. Это было не просто общежитие полуголодных интеллигентов — это был большой культурный мир, а те несколько лет, что он просуществовал, обернулись целой эпохой — эпохой революционного напряжения и творческого подъема. Дом искусств издавал свою газету, журналы, каждый из его постояльцев запечатлел этот мир в своих произведениях, и просто удивительно, что весь этот богатейший материал, без проникновения в который многое непонятно в истоках сегодняшнего искусства, — не собран, не издан, не исследован. Какая замечательная могла бы получиться книга!

Главу о Ходасевиче я бы открыл цитатой из мандельштамовского очерка «Шуба»: «Вспоминаю я моего соседа по Камчатке бывших меб-

лированных комнат, куда сплывили нас за неимением места в хоромах Дома искусств,— поэта Владислава Ходасевича, автора «Счастливого домика», чей негромкий, старческий, серебряный голос за двадцатилетие его поэтического труда подарил нам всего несколько стихотворений, пленительных, как цоканье соловья, неожиданных и звонких, как девический смех в морозную ночь».

Действительно, 191 стихотворение, составившие пять его прижизненных книг,— сколь же это «ничтожная» цифра на фоне Мережковского, Брюсова, Бальмонта, даже Блока с их собраниями сочинений!

* * *

Владислав Ходасевич родился в Москве, в Гостиной Слободе, 16 (28) мая 1886 года. Его отец и мать были родом из Литвы: Фелициан Иванович Ходасевич сомнительной карьере художника (он занимался в Академии художеств у Ф. Бруни) предпочел фотографическое ремесло, открыв магазин сначала в Туле, потом в Москве. Владислав, шестой ребенок в семье, обожал свою мать, Софию Яковлевну (урожденную Брафман). Семья была католической. Сам Ходасевич, хотя и был похоронен в Париже по католическому обряду, никогда не выказывал папистской ревности. Не забудем и того, что —

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела под лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна...

Она же была и няней Влади. Читать он выучился в три года, первые стихи, обращенные к младшей из своих двух сестер («Кого я больше всех люблю, Уж всякий знает — Женичку»), сочинил в шесть или семь лет. В раннем детстве он упал со второго этажа, в девять лет переболел черной оспой — и то и другое обошлось без последствий. В 1896—1904 годах учился в 3-й Московской гимназии (в одном классе с братом Валерия Брюсова Александром), твердый «четверочник». В автобиографической канве, сделанной в 1922 году по просьбе Н. Н. Берберовой, обращает на себя внимание ремарка, относящаяся к 1903 году: «Стихи навсегда». В 1904 году поступил в Московский университет, на юридический; спустя год — перевелся на историко-филологический, где проучился два года, после чего был отчислен за неуплату взноса за обучение. Выход «Молодости» — первой книги Владислава Ходасевича — позволил ему снова приступить к занятиям осенью 1908 года, на сей раз на три полных семестра, после чего он снова увольняется, и снова по безденежью — с тем, чтобы осенью 1910 года сделать третью и последнюю безуспешную попытку (на сей раз вновь на юридическом факультете). В мае 1911 года он распростился с alma mater навсегда.

К этому времени Ходасевич уже хорошо известен в московских литературных кругах. С 1902 года он участник занятий Московского литературно-художественного кружка, страстный поклонник Бальмонта, Брюсова, А. Белого, с последним он близко и горячо сдружился. В 1905—1907 годах Ходасевич дебютирует в периодике, причем скорее

как критик, а не поэт (соотношение публикаций 4:1). В. Гофман и В. Брюсов — два рецензента его книги «Молодость», — оба сравнивали ее с «Романтическими цветами» — первой книгой Н. Гумилева, ровесника Ходасевича. Вторая книга Ходасевича — «Счастливый домик» (1914) — объединила стихи 1908—1913 годов.

После революции, чуть ли не впервые в жизни, Ходасевич определился на службу. Сначала секретарем третейского суда, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (комиссар труда В. П. Ногин даже предлагал ему заняться новой кодификацией законов о труде, но недоучившийся юрист-второкурсник, разумеется, не считал себя достаточно для этого компетентным), затем в театральном-музыкальной секции Моссовета и в театральном отделе переведенного в Москву Наркомпроса. Летом 1918 года Ходасевич вместе с П. Муратовым и другими организовал первую «Книжную лавку писателей» в Москве, где, в очередь с другими, дежурил за прилавком. Одновременно читал лекции о Пушкине в Московском пролеткульте.

В это же время появилась третья книга стихов — «Путем зерна». В ней впервые встречается одна из излюбленных форм Ходасевича — длинные фрагменты, написанные нерифмованным, разностопным ямбом («Обезьяна», «Полдень» и др.).

В ноябре 1920 года Ходасевич с женой и ее сыном переезжает в Петроград, где поселяется в Доме искусств («хорошие две комнаты, чисто, градусов 10—12 тепла...») и устраивается на службу в знаменитую горьковскую «Всемирную литературу». Его избирают в комитет Дома литераторов, в правление петроградского отдела Всероссийского Союза писателей, в суд чести при этой организации, в высший совет Дома искусств. В этой несколько искусственной и карнавальном атмосфере литературного Петербурга с удивительной быстротой — за два с небольшим года — сложилась четвертая книга Ходасевича «Тяжелая лира» (в ее первое, госиздатовское, издание вошло 43 стихотворения, во второе, берлинское, 47 стихотворений, из них около 30 датированы 1921 годом).

С выходом «Путем зерна» Ходасевич окончательно утвердился в ряду первых поэтов серебряного века. Не отрекаясь от предыдущих книг, тем не менее именно с нее он повел отсчет своим лучшим стихам, составляя свое последнее прижизненное избранное — парижский том «Стихотворения» (1927). Вторую часть этой книги составила «Тяжелая лира», а третью — книга «Европейская ночь» — стихи, написанные Ходасевичем уже за границей.

Необходимо внести ясность в вопрос об отъезде В. Ходасевича за границу в июне 1922 года и его невозвращении на Родину. Вот его собственная позиция: «(…) Но с февраля (1922 г.) кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт сроком на 6 месяцев. Боюсь, что придется просить отсрочку, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена» («Новая русская книга», Берлин, 1922, № 7, с. 36—37).

«Кое-какие события личной жизни» — это разрыв с женой, А. И. Гренцион, и любовь к юной Нине Берберовой, согласившейся уехать с Ходасевичем в Берлин и ставшей впоследствии его третьей женой. Стихи Ходасевича продолжали выходить в петербургских и московских изданиях вплоть до 1925 года (в журналах «Москва», «Творчество», «Россия»,

«Петроград», «Ленинград», в знаменитой антологии И. Ежова и Е. Шамурина). Все свои российские гонорары и значительную часть литературного заработка за границей (в качестве критика он сотрудничал в ряде газет, стихи, а также статьи печатал в «Современных записках», в «Беседе» — журнале, основанном им совместно с М. Горьким, и других изданиях) он пересылал Анне Ивановне Гренцион. Письма Ходасевича к ней этих лет, хранящиеся в ЦГАЛИ, свидетельствуют не только об их личной драме, но и об удивительном достоинстве и дружеской заботливости поэта. Из них также ясно, что «коё-какие события личной жизни» оказались и главным тормозом на пути Ходасевича обратно в Россию. Вот выдержка из письма от 1 августа 1923 года:

«...С радостью вижу, что последние твои письма писаны разумным и духовно здоровым человеком. Может быть, я преувеличиваю — но мне кажется, что теперь можно поговорить с тобой на серьезную тему, которая, кстати, явится ответом на твой вопрос: когда я вернусь в Россию?

Слушай. Дело обстоит так. Во-первых — сторона политическая. Могу ли я вернуться? Думаю, что могу. Никаких грехов за мной, кроме нескольких стихотворений, напечатанных в эмигрантской прессе, нет. Самые же стихи совершенно лояльны и благополучно (те же самые) печатаются в советских изданиях. В Кремле знают, что я не враг.

Хуже — второе. Здесь я кое-что зарабатываю. Жизнь здесь дешевле. Есть люди, которые мне помогают. А вот где я буду печататься в России — не вижу. Вряд ли я смогу там печатать больше, чем ты сейчас продаешь моих вещей. А сейчас я печатаюсь. То же самое два раза: там и здесь. Здесь легче находить издателей на книги. Здесь «Беседа», которая мне дает фунта 2 в месяц и в которой у меня есть верный кредит! Но предположим, что я рискую — и все же решаюсь ехать в Россию, куда мне, конечно, очень хочется. Тут настает третье затруднение.

Кроме визы советской, мне нужна **твоя** виза на въезд в Россию. Боюсь, что ее получить — труднее. Подумай хорошенько и просто, спокойно, по-человечески, ответь мне; сможем ли мы ужиться в Питере? (В Москву я ехать не хочу. Терпеть ее не могу.) Пойми, что именно при условии той прямой и открытой дружбы, того хорошего, что есть у обоих нас друг к другу — мы **могли бы** ужиться. Поверь, что всегда и во всем я сумею (и гарантирую это) — сделать так, чтобы между нами был мир и покой. Но можешь ли ты гарантировать, что наши встречи будут происходить в таком тоне, чтобы им не делаться предметом всеобщего поганенького любопытства и злорадства? Без покоя я не смогу работать. Не работая, я существовать не могу. Очень прошу тебя ответить, думаешь ли ты, что мы уживемся в Питере? {...} Твое согласие я буду рассматривать как обязательство, которое ты сдержишь. Твое несогласие — как принуждение меня сидеть здесь».

Ходасевич остался, не вернулся в Россию. Вся Родина сгустилась, вобралась в пушкинском восьмитомнике, — едва ли не единственном, что прихватил он с собой из России:

...Но восемь томиков, не больше,—
И в них вся Родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
И жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

Жизнь на чужбине складывалась непросто. В одном из писем он пытается пересчитать, сколько раз в жизни ему пришлось менять кров, жилище,— и сбивается со счета. Ходасевич жил в Германии, Чехословакии, Италии, даже Ирландии, пока, наконец, в 1925 году он окончательно не обосновался в Париже. Стихи писались с каждым годом все трудней и все реже (начиная с 1925 года — не более четырех за год!). Книга «Стихотворения» (Париж, 1927 г.) как бы подвела черту под периодом поэтического по преимуществу горения и мировосприятия. Зарабатывая на хлеб текущей критикой, Ходасевич выпустил в 30-х годах три блистательные книги прозы: это «Державин» (1931), сборник статей «О Пушкине» (1937) и мемуарную книгу «Некрополь» (1939). В 1954 году уже в Нью-Йорке Н. Н. Берберова собрала и выпустила еще один значительный сборник Ходасевича — «Литературные статьи и воспоминания».

Особенно трудными для Ходасевича были последние его годы. Жизнь — в долг, карточные проигрыши, старые и новые болезни...

14 июля 1939 года, пятидесяти трех лет от роду, Владислав Ходасевич умер в частной клинике на улице Юниверситэ, прожив 13 часов после тяжелой операции. Наиболее вероятная причина смерти — рак поджелудочной железы. 16 июля, при большом стечении народа, его похоронили на кладбище Булонь-Бьянкур в предместье Парижа.

* * *

Человек редкой мужественности и правдивости, он умел достаточно воли сносить все жизненные напасти — и душевные, и физические. Расхожая легенда рисует его человеком злым, желчным, язвительным. Едва ли, однако, это определяло его характер, его человеческий облик.

Одна из его близких друзей — Софья Парнок — в стихотворении, посвященном Ходасевичу, высказалась о нем так:

С детства помню: груши есть такие —
Сморщенные, мелкие, тугие,
И такая терпкость скрыта в них,
Что, едва укусишь,— сводит челюсть...
Так вот для меня и эта прелесть
Злых, оскомистых стихов твоих.

Он любил и ценил шутку и, между прочим, написал сам несколько превосходных шуточных или иронических стихов. Так, после того, как Н. Павлович, читавшая в голодный год его стихи в Бежецке, привезла ему с десятка яиц — дар «благодарных слушателей»,— Ходасевич написал свой первый — шуточный — «Памятник»:

Павлович! С посошком бродячею каликой
Пройдем от финских скал вплоть до донских станиц!
Читай мои стихи по всей Руси великой,
И столько мне пришлют яиц,
Что, если гору их на площади Урицкой
Поможет мне сложить поклонников толпа,
То, выглянув в окно, уж не найдет Белицкий
Александрийского столпа!

Творческое одиночество, честность с собой и миром, преданность пушкинским традициям и поразительная духовная наполненность — вот подлинные столпы стихов Ходасевича.

Из этой боли, из этого терзання и родилось его одновременное умение «нежно ненавидеть» и «язвительно любить» — ни с чем не сравнимая музыка его т я ж е л о й лиры:

Психея! Бедная моя!
Дыханье робко затая,
Внимать не смеет и не хочет:
Заслушаться так жутко ей
Тем, что безмолвие пророчит
В часы мучительных ночей.
Увы! за что, когда все спит,
Ей вдохновение твердит
Свои пифийские глаголы?
Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый.
Психея падает под ним.

Но покуда поэт — поэт, покуда его муза, его душа, Психея еще выдерживает этот опасный для него — этот т я ж е л ы й — дар, пока его глаза таковы, что и «сквозь день увидишь ночь»,

...пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплечешь земные очи —
Не станешь духом. Жди, смотря в упор,
Как брызжет свет, не застывая очи.

/«Ласточка»/

Во всем, что касается пресловутой «техники стиха», Ходасевич удивительно традиционен, даже консервативен. Формальные задачи — поиск нового размера или неслыханной рифмы — органически чужды ему. Он верит в старые мехи — в четырехстопный ямб, например, верит в то, что этому размеру по силам вобрать в себя все то историческое напряжение, которое так остро улавливал его поэтический слух, его тайнослышанье. Не ошибусь, если скажу, что главной темой Ходасевича был все же не «Недоносок» Боратынского, как считал Мандельштам, а скорее лермонтовское: «Люблю отчизну я, но странною любовью...» В стихотворении, посвященном своей тульской кормилице, Ходасевич выразил это особенно грозно:

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя...

И когда на исходе дней Ходасевич явственно ощутил себя неотъемлемым звеном в единой, непрекращающейся цепи русской поэзии, он написал свой второй — серьезный и гордый — «Памятник»:

Во мне конец, во мне начало.
Мной совершенное так мало!

И все ж я прочное звено:
Мне это счастье дано.
В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

* * *

Поэзия Владислава Ходасевича долгие годы была недоступна советскому читателю. Первою ласточкой была публикация в журнале «Москва» в 1963 году. В 1986—1987 годах читатель смог ознакомиться с его стихами на страницах «Огонька», «Юности», «Дружбы народов» и «Знамени». Альманах «Поэзия» предлагает читательскому вниманию стихотворения не только из поздних, но и из ранних книг поэта.

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

* * *

Нет, молодость, ты мне была верна,
Ты не лгала, притворствуя, не льстила,
Ты тайной ночью в склеп меня водила
И ставила у темного окна.
Нас возносила грузная волна,
Качались мы у темного провала,
И я молчал, а ты была бледна,
Ты на полу простертая стонала.
Мой ранний страх вздымался у окна,
Грозил всю нашу жизнь безумием измерить...
Я видел лица, слышал имена —
И убегал, не смея знать и верить.

ЗВЕЗДА

Выходи, вставай, звезда,
Выгибай дугу над прудом!
Вмиг рассечена вода
Неуклонным изумрудом.

Ты, взнесенная свеча,
Тонким жалом небо лижешь,
Вкруг зеленого меча
Водяные кольца движешь.

Ты вольна! Ведь только страсть
Неизменно цепи множит!
Если вздумаешь упасть,—
Удержать тебя кто может?

Лишь мгновенная струя
Вспыхнет болью расставанья.
В этот миг успею ль я
Прошептать мои желанья?

ЭЛЕГИЯ

Взгляни, как наша ночь пуста и молчалива:
Осенних звезд задумчивая сеть
Зовет спокойно жить и мудро умереть,—
Легко сойти с последнего обрыва
В долину кроткую.

Быть может, там ручей,
Еще кипя, бежит от водопада,
Поет свирель, вдали пестреет стадо,
И внятно щелканье пастушеских бичей.
Иль, может быть, на берегу пустынном
Задумчивый и ветхий рыболов,
Едва оборотясь на звук моих шагов,
Движением внимательным и чинным
Забросит вновь прилежную уду...

Страна безмолвия! Безмолвно отойду
Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,
Бежит, шумя, к долине безглагольной...
Но может быть — не кроткою весной,
Не мирным отдыхом, не сельской тишиной,
Но памятью мятежной и живой
Дохнет сей мир — и снова предо мной...
И снова ты! а! страшно мысли той!

Блистательная ночь пуста и молчалива.
Осенних звезд мерцающая сеть
Зовет спокойно жить и умереть.
Ты по росе ступаешь боязливо.

1908

МАТЕРИ

Мама! хоть ты мне откликнись и выслушай: больно
Жить в этом мире! Зачем ты меня родила?

Мама! Быть может, все сам погубил я навеки,—
Да, но за что же вся жизнь — как вино, как огонь, как стрела?

Стыдно мне, стыдно с тобой говорить о любви,
Стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама!
Больно тревожить твою безутешную старость
Мукой души ослепленной, мятежной и лживой!
Страшно признаться, что нет никакого мне дела
Ни до жизни, которой меня ты учила,
Ни до молитв, ни до книг, ни до песен.
Мама, все я забыл! Все куда-то исчезло,
Все растерялось, пока, палимый вином,
Бродил я по улицам, пел, кричал и шатался.
Хочешь узнать одна обо мне всю правду?
Хочешь — признаюсь? Мне нужно совсем не много:
Только бы снова изведать ее поцелуи
(Тонкие губы с полосками рыжих румян!)
Только бы снова воскликнуть: «Царевна! Царевна!» —
И услышать в ответ: «Навсегда».

Добрая мама! Надень-ка ты старый салопчик,
Да пойди, помолись Ченстоховской
О бедном сыне своем
И о женщине с черным бантом!

* * *

И весело, и тяжело
Нести дряхлеющее тело.
Что буйствовало и цвело,
Теперь набухло и дозрело.

И кровь по жилам не спешит,
И руки повисают сами.
Так яблонь осенью стоит,
Отягощенная плодами.

И не постигнуть юным, вам,
Всей нежности неодолимой,
С какою хочется ветвям
Коснуться вновь земли родимой.

* * *

Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

Довольный малым, созерцаю
То, что дает нещедрый рок;
Вяз, прислонившийся к сараю,
Покрытый лесом бугорок...

Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду,
Но сам стригу кусты сирени
Вокруг террасы и в саду.

* * *

Играю в карты, пью вино,
С людьми живу — и лба не хмурю.
Ведь знаю: сердце все равно
Летит в излюбленную бурю.

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,
Хотя в ненастье нашей ночи,
Быть может, с берега глядят
Одни, нам ведомые очи.

А нет — беды не много в том!
Забыты мы — и то не плохо.
Ведь мы и гибнем и поем
Не для девического вздоха.

1922

* * *

И вот из полутьмы глубокой,
Старик сутулый, но высокий,
В таком почтенном сюртуке,
В когда-то модном котелке,
Идет по лестнице широкой,
Как тень Аида — в белый свет,
В берлинский день,
в блестящий бред.

А солнце ясно, небо сине,
А сверху синяя пустыня...
И злость, и скорбь моя кипит,
И трость моя в чужой гранит
Неумолкаемо стучит.

1923

ХРАНИЛИЩЕ

По залам прохожу лениво,
Претит от истин и красот.
Еще невиданные дива,
Признаться, знаю наперед.

И как-то тяжело, больно даже
Душою жить — который раз? —
В кому-то снившемся пейзаже,
В когда-то промелькнувший час.

Все бьется человеческий гений:
То вверх, то вниз. И то сказать:
От восхождений и падений
Уж позволительно устать.

Нет! полно! Тяжелеют веки
Пред вереницею Мадонн,—
И так отрадно, что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

1924

* * *

Сквозь облака фабричной гари,
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.

Толпою стражи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но неосторожный,
Дрожит и злится буржуа.

Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Все вновь перечертит раздор.

Но на растущую всечастно
Лавину небывалых бед
Невозмутимо и бесстрастно
Глядят историк и поэт.

Людские войны и союзы,
Бывало, славили они.
Разочарованные Музы
Припомнили им эти дни —

И ныне, гордые, составить
Два правила велели впредь:
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

1923

ПОХОРОНЫ

Сонет

Лоб —
Мел.
Бел
Гроб.

Спел
Поп.
Сноп
Стрел —

День
Свят!
Склеп
Слеп.
Тень —
В ад!

1928

* * *

Нет у меня для вас ни слова,
Ни звука в сердце нет,
Виденья бедного былого,
Друзья погибших лет!

Быть может, умер я, быть может —
Заброшен в новый век,
А тот, который с вами прожит,
Был только волн разбег.

И я, ударившись о камни,
Окровавлен, но жив,—

И видится издалека мне,
Как вас несет отлив.

1928

Я

Когда меня пред Божий суд
На черных дрогах повезут,

Смутятся нищие сердца
При виде моего лица.

Оно их тайно восхитит,
И страх завистливый родит.

Отстав от шествия, тайком,
Воображаясь мертвецом,

Тогда пред стеклами витрин
Из вас, быть может, не один

Украдкой также сложит рот,
И нос тихонько задерет,

И глаз полуприщурит свой,
Чтоб видеть, как закрыт другой.

Но свет (иль сумрак?) тайный тот
На чудака не снизойдет.

Не отразит румяный лик,
Чем я ужасен и велик:

Ни почивающих теней
На вещей бледности моей,

Ни беспощадного огня,
Который уж лизнул меня.

Последнюю мою приметку
Чужому не отдам лицу...

Не подражайте мертвецу,
Как подражаете поэту.

1929

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

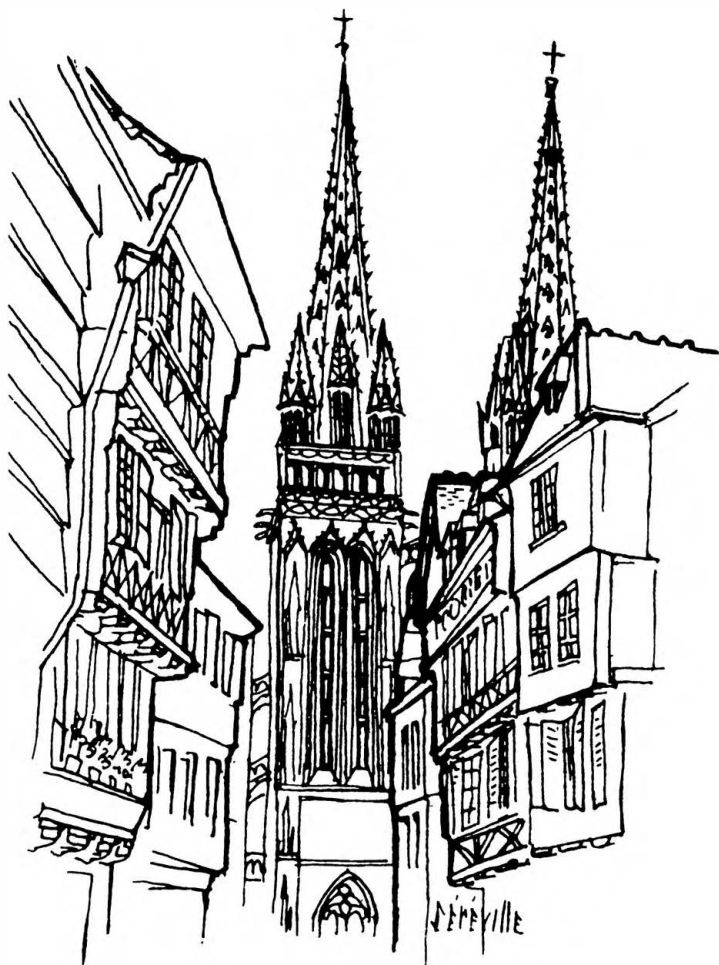


Рис. Мишеля де Сервиля

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМАСЕ КЭРЬЮ

XVII век — век поэзии барокко. Одним из замечательных представителей этого поэтического направления в Англии был Томас Кэрью. Сорок пять лет прожил он и оставил после себя одну книжку стихов, которая была опубликована уже после его смерти в 1640 году.

Кэрью принадлежал к группе так называемых «поэтов-кавалеров». В эту группу входили еще и такие интересные поэты, как Роберт Геррик, Джон Саклинг и Ричард Лавлейс. Поэты-кавалеры воспевали в своих стихах отвагу, верность дворянским идеалам и любовь к женщине. Но наряду с этим у них и стихи о природе творчества, и стихи о высших человеческих идеалах, таких, как верность дружбе, свобода духа. Для этих поэтов идеальными звездами служили поэтические принципы их великих современников Джона Донна и Бена Джонсона. И хотя до высот своих именитых собратьев по перу они не добрались, однако оставили заметный след в английской поэзии XVII века.

Томас Кэрью был близким другом Бена Джонсона и полностью разделял его приверженность к античности. Анакреонтическая лирика и античная эпиграмма нашли в его творчестве новое развитие. В его произведениях чувства и человеческие отношения всегда достаточно условны. Стихи Кэрью изысканны. Они всегда филигранно написаны, владение словом, метром безукоризненно. И в этом стремлении к отточенности формы поэт иногда, может быть, теряет чувство меры. Изящный стиль делает его стихи очень легкими для восприятия. И все же являются они скорее изощренной игрой, в которой много формального, нежели чем-то живым и поражающим душу проникновением во внутренний мир человека. Даже когда Кэрью пишет о любви и слова его точны, его стихам порой не хватает глубины чувства. В них много остроумия и одновременно холодности. О поэзии Томаса Кэрью можно сказать, что она типичная поэзия «куртуазного барокко».

И однако, надо признать, что лучшим стихам поэта присуще подлинное чувство. Особенно это видно на примере стихов, посвященных его любимым учителям — Джону Донну и Беню Джонсону. Первому он посвятил свое знаменитое стихотворение «Элегия на смерть Джона Донна», второму — как бы стихотворное послание «Беню Джонсону». В нем Кэрью говорит поэту и другу, чтобы тот продолжал творить свои великие произведения и не думал при этом о клеветниках и завистниках, желающих его оговорить и унижить. Ведь его ждет вечность. Стихотворение это, хотя и совершенно иное по форме, мыслями своими созвучно пушкинскому «Из Пиндемонти» и частично «Памятнику». Так происходит переключка поэтов через века и страны.

На тему любви Кэрью также написал много ярких и тонких стихотворений. Так же, как у Данте лирической героиней была Беатриче, а у Петрарки — Лаура, у Кэрью в качестве лирической героини выступает Селья. Образ ее, с одной стороны, условен, с другой — собирателен. В нем отразился взгляд поэта на женщину, на любовь. Жажда чистого высокого чувства, любование красотой Сельи находят в лучших стихах Кэрью прекрасное словесное выражение. И все же то, что Кэрью как бы говорит от своего имени, но одновременно и отстранен и смотрит на себя холодным и ироничным взглядом со стороны, делает его поэзию несколько искусственной. Но в самых лучших, хочется думать, в самых личных стихах поэта истинное чувство вырывается наружу, и тут уж мы ему верим до конца.

Как же выработался у поэта такой несколько внешний взгляд на поэзию? Ведь у целого ряда крупных поэтов, живших в Англии XVII века, он был все же несколько иным. Видимо, здесь сыграла роль его принадлежность к аристократии, для которой условность была более естественной, чем истинное живое чувство.

Томас Кэрю родился и вырос в семье управляющего королевской канцелярией. Жизнь его протекала без особых забот. Юношей он закончил Оксфорд, бывший по тому времени одним из лучших учебных заведений Англии, и даже получил степень бакалавра. Но она ему не оказалась нужна. Он поступил на дипломатическую службу и в течение ряда лет состоял при посольствах в Венеции, в Гааге, а также в Париже. Наконец, Кэрю был приближен в Лондоне ко двору, где стал мажордомом короля Карла I. Он был очень веселым и остроумным человеком. О его донжуанских победах ходили анекдоты по всей Англии. Часто Кэрю читал свои стихи при дворе, где они пользовались огромным успехом. На должности мажордома и оборвалась его не слишком долгая жизнь.

После его смерти имя Кэрю в английской литературе было фактически забыто. Вспомнили о нем только спустя полтора века. И, будучи заново открыто, оно теперь уже прочно заняло место среди имен классиков английской литературы. Сборники стихов поэта, в том числе и комментированные, теперь издаются в англоязычных странах постоянно. И это еще раз показывает, что истинная поэзия не умирает.

У нас в стране произведения Кэрю пока известны мало. Но желание познакомиться с ними растет. В настоящее время в издательстве «Лосковский университет» готовится к выпуску том английской поэзии XVII века, в котором творчество Томаса Кэрю впервые будет представлено достаточно полно.

В данной подборке вы познакомитесь с тремя стихотворениями из его любовной лирики.

Виктор Лунин

ТОМАС КЭРЬЮ

ПРЕКРАСНАЯ ВЛАДЫЧИЦА

Хвалилось солнце как-то летом
Лучистым светом,
Но вышла ты,
И от досады с высоты
Оно сползло,
Скрыв потемневшее чело,
Ведь пред тобой
Оно, как звезды пред луной.
Ночная мгла кругом царила,
Но ты лицо свое открыла,
И скрылась тьма, и в тот же миг

Сиянье озарило мир.
Вот так равно ты гонишь прочь
И тьму, и свет, и день, и ночь.

ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ЛЮБВИ

Да, жалость женщинам чужда.
Не любите вы нас.
А как смеетесь вы, когда
Ждешь помощи от вас!
И все ж я веровал, что страсть
Берет и города,

<p>Что я, счастливичик, в рай попасть Сумею навсегда. А все напасти на пути Не помешают вас найти.</p> <p>И я вошел, и счастлив был, И я не ждал беды. Я веселился, зло забыл, Вкушал любви плоды, Считал, что долго будем так, И в Селье чувства жар — Навек. Его ведь, как-никак, Юпитер дал мне в дар.</p>	<p>Но нынче жар в ней, как на грех, Притворнее, чем прежний смех.</p> <p>Злой рок! С любимой быть вдвоем, Ее завоевать, Достичь всего с таким трудом И отступить опять! Но если крепость враг не сдал, Я лишь того лишен, Чем и досель не обладал. А он зато смешон, Ведь тайно жаждет он душой Монаршей власти над собой.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ НЕБЛАГОДАРНОЙ КРАСАВИЦЕ

Знай, Селья, чей надменен взор,
 Твою известность создал я:
 В толпе прелестниц до сих пор
 Тебе б ходить, душа моя,
 Когда б ни стих мой, что подъял
 Тебя с земли на пьедестал.

Твой взгляд убийственный — не твой,
 И без меня бы он исчез.
 Ты — чудо, созданное мной,
 Ты — звездный свет моих небес.
 Так не мечи ж из глаз угроз
 В того, кто так тебя вознес.

Меня ты больше не пугай,
 Тебя низвергну без труда.
 Ты магией глупцов пленяй,
 Я ж раскушу ее всегда:
 Поэт, сокрывший правду в сказке,
 Сам разглядит ее и в маске.

Переводы с английского Виктора Лунина

АРКАДИЙ ГАВРИЛОВ

КАРЛ СЭНДБЕРГ (1878—1967)

В 1959 году Карл Сэндберг прилетел в Советский Союз. Когда дело дошло до паспортного контроля в аэропорту, обнаружилось, что он забыл дома свой паспорт. Может быть, это была рассеянность, свойствен-

ная поэту, может, старческая забывчивость (как-никак, ему тогда уже перевалило за восемьдесят). Но мне думается, в этом инциденте, который в конце концов как-то уладился, «виноваты» были убеждения Сэндберга, хотевшего видеть мир без государственных границ, а всех людей планеты братьями. В те дни, когда Карл Сэндберг находился в Москве, в парке Сокольники в рамках Национальной выставки США демонстрировалась замечательная фотоэкспозиция «Семья человека». На выставке были представлены 503 фотографии из 68 стран, и открывалась она прологом, написанным Карлом Сэндбергом, в котором были такие слова: «Во всех странах и во всех племенах мы одинаково пытаемся понять то, что небо, земля и море говорят нам. На всех континентах во все времена мы одинаково нуждаемся в любви, пище, одежде, работе, разговоре, вере, сне, играх, танцах, веселье. От тропиков до Арктики человечество живет, испытывая одинаковую нужду во всем этом». Убеждение в кровном родстве всех людей — независимо от расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов — было главной составной частью жизненного и творческого кредо поэта.

Карл Сэндберг, ставший классиком американской поэзии XX века, родился за 22 года до начала этого века в городе Гейлесберге (штат Иллинойс) в семье иммигрантов из Швеции. В молодости он переменял десятки профессий, объездил и исходил пешком многие штаты, прежде чем посвятил себя целиком литературе и обосновался в Чикаго. Первые три книги своих стихов К. Сэндберг издал за свой счет в 1904—1905 годах, но до 1916 года оставался неизвестным поэтом. Выход в свет сборника «Чикагские стихи» (1916) сделал его сразу же знаменитым. С этого момента его известность как поэта, собирателя и исполнителя народных песен, биографа, романиста, детского писателя постоянно росла с каждой новой книгой и перешагнула далеко за пределы Соединенных Штатов. Но что бы ни писал К. Сэндберг, будь то знаменитая многотомная биография Авраама Линкольна или книга для детей «Сказки Рутабаги», он всегда оставался поэтом. Последний сборник стихов «Мед и соль» он выпустил за четыре года до смерти, когда ему было 85 лет.

Карл Сэндберг всю жизнь сохранял верность демократической музе Уолта Уитмена. Стихотворение «Чикаго», которым открывались «Чикагские стихи», демонстрировало лучшие черты уитменовской традиции и было для поэта программным. В нем он нарисовал портрет города-труженика — «Свинобою Мира, Инструментальщика, Ссыпщика Пшеницы, Железнодорожника и Главного Грузчика Страны». Но Сэндберг даже отдаленно не напоминал эпигона. Уитменовская традиция вошла составной частью в тот сплав, который представляла неповторимая поэтическая манера Сэндберга. Есть в этом сплаве и то, что совсем не было свойственно Уитмену, — любовное внимание к мелочам жизни человека, острое переживание изменений состояний природы, нежный лиризм. Можно предположить, что эти последние качества К. Сэндберг унаследовал от современницы Уитмена — Эмили Дикинсон. Известный советский литературовед и переводчик И. А. Кашкин писал: «Если душой самобытной американской поэзии считать Уитмена, то Дикинсон была ее второй душой». Скорее, они были двумя сторонами одной души. И эти обе стороны в стихах Карла Сэндберга сочетались так гармонично, как ни у какого другого американского поэта нашего века. В стихах многих современников Сэндберга мир дробился, как в осколках разбитого зеркала. Сэндберг изо всех сил пытался дать целостную картину мира. Грандиозным памятником этих усилий осталась его книга-поэма «Народ, да» (1936).

Карлу Сэндбергу, может быть, больше других американских поэтов XX века повезло с переводами на русский язык. Переводы его стихов в нашей стране стали появляться, начиная с 1927 года, и с тех пор неизменно включались в антологии американской поэзии. Избранные его стихи на русском издавались в 1959, 1975 и 1981 годах. И тем не менее эти переводы — лишь верхушка поэтического айсберга, имя которому Сэндберг. В частности, в переводах Карл Сэндберг недостаточно полно представлен как тонкий лирик. Ниже предлагается подборка стихотворений К. Сэндберга, ранее не переводившихся на русский.

КАРЛ СЭНДБЕРГ

ПОД ТЕЛЕФОННЫМ СТОЛБОМ

Я медная проволока, висящая в воздухе.
Сверкая на солнце, я не даю даже тонкой полоски тени.
День и ночь я звеню и пою:
Это любовь и война, деньги и слезы, работа и желания,
Это смерти и смех мужчин и женщин проходят через меня,
несущую ваши речи,
Плачущую под дождем и смеющуюся на солнце
медную проволоку.

ЛИЧНОСТЬ

(Размышления репортера уголовной хроники в отделе опознания личности)

Вы любили сто женщин, но всегда имели
лишь один узор большого пальца.
Вы прожили сто жизней, но всегда жили
лишь с одним узором большого пальца.
Вы объехали мир и сражались в тысяче войн,
заслужили все ордена, какие только придумали
люди, но когда вы вернулись домой, отпечаток
вашего пальца был точно таким же, как и в тот
день, когда вы свой дом покидали и мать
целовала вас на прощанье.
Из чрева времен выходят миллионы людей, их ноги тесно
стоят на земле, и они друг другу перерезают
глотки за место, на котором можно стоять,
но нет у них двух одинаковых отпечатков.
Где-нибудь есть всемогущий Бог Отпечатков Пальцев,
который бы мог рассказать, почему это так.

СЕМЕРКИ

Женщина, имевшая семь законных мужей, писала семь лет в известную всем газету статьи о том, как найти любовь и суметь удержать ее; семь тысяч голодных девушек в Миссисипи читали эту газету семь лет и не нашли ни любви, ни мужей.

СУБСТАНЦИЯ НОЧИ

Послушай: луна — прекрасная женщина, одинокая женщина, закутанная в серебряные одежды, закутанная в серебряные одежды цирковой наездницы.

Послушай: ночное озеро — одинокая женщина, прекрасная женщина, окруженная березами и соснами, что смешивают зеленое и белое среди звезд, распыленных в безоблачной ночи.

Я знаю, луна и озеро пустили корни где-то у меня под сердцем — как и женщина, одинокая и прекрасная женщина в серебряных одеждах, в серебряных одеждах цирковой наездницы.

ДОМАШНИЕ МЫСЛИ

Мхом обрастают прибрежные скалы.
Я обрастаю воспоминаниями о тебе.

Расскажи, как меня потеряла.
Расскажи о часах, долгих, как жизнь.

Расскажи мне о тяжести, легшей на сердце,
О железном грузе нескончаемых дней.

Я знаю, эти часы пусты, как оловянная кружка ничего в дождливый день, пусты, как рукав солдата, потерявшего руку.

Расскажи мне...

НЕБОСКРЕБ ЛЮБИТ НОЧЬ

Один за другим зажигаются огни небоскреба
и золотыми звездами украшают
бархатные одежды ночи.
Я верю, что небоскреб любит ночь, как женщину,
и приносит ей безделушки,
которые она просит,
и приносит ей бархатные одежды.
Он любит плеч ее белизну,
спрятанную под черным бархатом,
он догадывается о ней.

Любовник из стали, стекла и бетона
ревнует ее к другим небоскребам,
Он слегка не в себе, он дрожит от волнения...
ожидая... наступления... темноты.

МОЙ НАРОД

Мой народ — серый,
голубь — серый,
рассвет — серый,
ураган — серый.
Я их считаю прекрасными
и, глядя на них,
не устаю изумляться.

СУП

Я видел знаменитого человека, и он ел суп.
Я видел, как ложка за ложкой
Он черпал суп.
Имя его в тот день мелькало во всех газетах,
И тысячи разных людей говорили только о нем.

Когда я увидел его,
Он сидел, наклонив свою голову над тарелкой,
В правой руке держал он ложку
И ел этой ложкой суп.

ГАРАНТИРОВАННОЕ И ДРЕВНЕЕ

Жизнь — тарелка с вишнями.
Смерть — вишневые косточки в пепельнице.

Предположим, Иуда Искариот
написал Марии Магдалине:
«Я люблю тебя, я люблю тебя».
Ответила ли ему Мария:
«Ты... ты? С каких это пор?»

Жизнь — тарелка с вишнями.

Смерть — вишневые косточки в пепельнице.

ДЕВОЧКА, БУДЬ ОСТОРОЖНА, КОГДА ГОВОРИШЬ

Будь осторожна, девочка, когда говоришь,
когда произносишь слова, слова —
ты произносишь слоги, из которых слова состоят,
а слоги, девочка, из воздуха сделаны —
а воздух так тонок, прозрачен — воздух, дыхание Бога —
он прекраснее, чем огонь или туман,
прекраснее, чем вода или лунный свет,
прекраснее, чем белые лилии утром:
и эти слова прочные, очень прочные —
они прочнее, чем скалы и сталь,
прочнее зерна, картофеля, рыбы или коровы,
и эти слова нежнее, чем голубиные яйца,
нежнее, чем ветер от крыльев летящей колибри.
Поэтому, девочка, когда говоришь,
когда ты шутишь, мечтаешь вслух или молишься,
будь осторожна, будь осторожна, будь осторожна,
и будь такой, какую желаешь быть.

В ПОЛУСНЕ

Ветер холодный и синий
бродит по осеннему небу,
по полям, на которых уже созрел
лунный урожай.

Я сплю, я почти что сплю.

Я говорю, прислушиваясь:

«Деревья, ваши листья шумят, как дождь,
хоть и нет дождя».

КОНЕЦ

Смерть приходит однажды —
пусть это будет легко.

Пусть колокола удар прозвучит —
лишь один удар.

Или ни одного — еще лучше.

Спой мне песню, когда умру.
Спой «Тело Джона Брауна»
или «Плач выше неба».
Или не пой ничего — еще лучше.

Смерть приходит однажды —
пусть это будет легко.

Перевод Аркадия Гаврилова

СЛОВО, ОПЛАЧЕННОЕ СУДЬБОЙ

В 1986 году исполнилось 20 лет со дня смерти выдающегося польского поэта Станислава Ежи Леца — лирика и сатирика, автора широко известных в нашей стране афоризмов, собранных в книге «Непричесанные мысли». Слово поэта сполна оплачено его судьбой. Немецкие фашисты бросили Леца в лагерь смерти в Тарнополе. Накануне ликвидации лагеря в 1943 году группе обреченных, в которую входил и Лец, удалось бежать, переодевшись в форму солдат вермахта. Он устанавливает связь с партизанами, сражается против оккупантов, редактирует подпольную газету. За отвагу и мужество награжден орденами и медалями, представлен к званию майора. После войны активно участвует в строительстве социалистической Польши.

Заметное место в творчестве Леца занимает фрашка (эпиграмма). Здесь, как и в «Непричесанных мыслях», находит выход его склонность к иронии, шутке, раздумью, афористичности. Вниманию читателей предлагаются переводы фрашек, вошедших в сборники Леца, изданные в 1959 и 1966 годах.

СТАНИСЛАВ ЕЖИ ЛЕЦ

ФРАШКИ

Неловкий

Когда одним прикалывал медали,
другим до сердца иглы доставали.

Гордая фрашка

О, гордой фрашки маленький сосуд!
В нем ароматы времени живут.

На вершине

Когда он на вершине себя увидел вдруг,
узнав не сразу, молвил: «Ого! И ты здесь, друг!»

Мой наказ для сатириков, комедиантов

Отличайте фигуры от фигурантов!

Пуристам

«Язык наш должен чище стать»,—
вы повторяете ворчливо.
А что приходится глотать,
того, как видно, не учли вы?

Биография

Был смолоду подобен зайцу,
к умеренным склонялся взглядам,
зато сегодня притворяется
неразорвавшимся снарядом.

Душевная смута

Что гиганты, что лилипуты,—
та же степень душевной смуты.

Что осталось в статистическом ежегоднике

От страсти, от любовного томления —
одна цифирь прироста населения.

Происшествие с Розой

Не распускается бутон:
своих шипов боится он.

О славе

Одни на пьедестал влезают вдруг,
другие долго топчутся вокруг.

Рыцарям

Когда на вас кольчуги, братцы,
не время, стало быть, чесаться.

Попадание

Дети нелегкого века,
в точности знаем уже мы:
легче попасть в человека,
нежели в суть проблемы.

*Переводы с польского и вступление
Семена Ванетика*

БОРИС ВИАН: ЭСТЕТИКА КОНТРАСТА

Борис Виан — одна из популярнейших фигур послевоенного времени во Франции. Он умер в 1959 году на 39 году жизни, но успел проявить себя как незаурядная личность во многих областях французской культуры.

Виан получил техническое образование и диплом инженера, однако увлечение современной музыкой привело его в конце концов на эстраду. Несколько лет он играл по вечерам в парижских кабаре и к началу пятидесятых годов превратился в профессионального джазиста, не только виртуозно игравшего на трубе, но также и композитора, аранжировщика, организатора музыкальных коллективов и музыковеда. Его «джазовые хроники» и «каталоги джаза», которые он составлял для фирм звукозаписи, имели, по свидетельству современников, большое значение в интеллектуальной жизни Франции пятидесятых годов.

Музыка не только привела Виана в театр и кино, где он, как правило, выступал в классическом триединстве драматург — режиссер — актер, но и определила его литературные интересы и поиски. В музыке Виан шел от канонизированного джаза новоорлеанского стиля к современному ему авангарду, в литературе это был путь от канонов сюрреализма к созданию своей особой «эстетики контраста», особого, иронического — антимилитаристского, антибуржуазного — протеста. Считается, что учителя Виана в этих поисках были Жарри, Кено и Кафка.

Как литератор Виан дебютировал в 1946 году и в течение нескольких лет создал наиболее известные свои романы «Пена дней», «Осень в Пекине», новеллы и пьесы. Поэт и композитор, он написал свыше четырехсот песен. Вообще его стихи — даже самые короткие и «неорганизованные» — рассчитаны по большей части на пение, на исполнение с эстрады. Многие из них стали, пожалуй, одними из первых песен протеста в послевоенной Франции и некоторые, например, знаменитый «Дезертир», написанный во время французской войны во Вьетнаме, имели всенародный отклик.

Наиболее зримо виановская «эстетика контраста» проявилась в его больших, часто шуточных, стихотворениях в духе гротесковых коллажей Жака Превера, которыми тот часто иллюстрировал не только свои книги, но и стихи Бориса Виана.

После смерти Виана был издан целый ряд его сборников, критика стала причислять его к «классикам XX века», определив ему место у истоков тех литературных и музыкальных направлений в жизни Франции, которые сформировали молодое поколение французов пятидесятых-шестидесятых годов нашего времени.

БОРИС ВИАН

ОНИ РАЗБИВАЮТ МИР

Они разбивают мир
На мелкие куски.

Они разбивают мир,
Зажав его в тиски.

Однако все равно,
Мне-то все равно

Еще хватает его вполне!
Еще достаточно мне,
Достаточно, что люблю
Перышко сизаря,
Дальний песчаный путь,
Пенье птиц на заре.
Достаточно, что люблю
Эту листву за стеною,
Каплю росы на листве
И сверчка на стене.
Они разбивают мир
На мелкие куски,
Но мне хватает его вполне!
Еще достаточно мне —
Еще остается глоточек ветра,
Жизни легчайший шаг,
В зрачках последняя капля света,
Шорох травы в ушах.
И даже, и даже,
Если меня бросают в тюрьму,
Мне хватает его вполне!
Еще достаточно мне,
Достаточно, что люблю
Изъеденный камень камер,
Прутьев стальных ряды,
На которых кровь запеклась.
И даже, и даже
Истертый гнилой лежак,
Набитый трухой тюфяк
И солнечную пыль.
Люблю открытый дверной глазок,
Людей, входящих ко мне
И выводящих меня опять
Мир обрести на миг,
Запах его обрести и цвет.
Люблю эти два столба,
Этот трехгранный нож,
Этот праздник в моей судьбе,
Эту смертную дрожь.
И даже, и даже
Эту корзину, куда вот-вот
Голова моя упадет,
Просто люблю — и все.
Достаточно, что люблю
Эту листву на заре,
Каплю росы на листве
И полет сизаря.
Они разбивают мир

На мелкие куски,—
Но еще хватает его вполне,
Еще его достаточно мне
в сердце моем.

СКРОМНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Я продавал фиалки,
Но был доход мой мал.
И галстуки, и скалки
Я гражданам сбывал.
И бритвы, и расчески,
И лезвия «жилетт»,
И рапили, и доски
Для выделки котлет.
Все думал — наяву ль я? —
Когда чинил в беде
Соломенные стулья
И старые биде,
Когда тащил, хромая,
Возок по мостовой,
Чуть не сошел с ума я,
Зато теперь — живой!
По улицам весь день мой
летит «кадиллак»,
Идут, идут мои дела,
Есть у меня шофер, и особняк,
и трое слуг,
Мне каждый полицейский —
верный друг.
Коль надобно вам,
Я пушки продам —
Короче, длинней,
Кому что нужней!
Всегда найдется тот,
Кто знает толк в моих игрушках.
Эй, у кого есть лишний грош,
подумайте о пушках!

Кому продать?

Ни мира, ни пощады
Соседям не дадим —
Мы отольем снаряды
И пушки снарядим.
От этого рабочим
В награду будет труд,—

А после похлопочем
И создадим уют.
Чудесная уловка —
Плодись, рабочий класс!
Для этого — страховка,
Пособия для масс.
Но эти все затраты
Окупит молодежь,
Когда пойдет в солдаты
Подохнуть ни за грош.
Я пушки продавал,
я объездил весь свет —
Мне равных в мире больше нет.
Могильщикам теперь,
Как ни крутись, не продохнуть,—
И вот я снова собираюсь в путь.
Товар мой хорош —
Ты с песней помрешь.
Найдется ли тот,
Кто пушку возьмет?
По старым закоулкам налегке
теперь спешу я —
Нигде на свете ни души,
и лишь один пляшу я...
Кому продать?

ЖАЛОБЫ НА ПРОГРЕСС

Когда-то в давние года
Влюблялись — и тогда,
Чтоб доказать свой пыл и жар,
Вручали сердце в дар.
Сегодня это все скорей
Похоже на обмен —
И шепчут, забирая в плен,
Возлюбленной своей:
— Ах!.. Обнимите меня, мадам...
И я тогда вам дам
Электровилку,
Бельесушку,
Сокодавилку,
Сервиз и поднос,
Кухню, духовку,
Ванну, кладовку,
Всю мебелировку
И к ней пылесос.

И чашки, и ложки,
И ящик для картошки,
Вентилятор, ковер,
Электрополотер,
Ткань с подогревом,
Что дарят королевам,—
И в любом краю
Будем мы в раю.

Когда-то был супруг честней:
Рассорившись с женой,
Он уходил, оставив ей
Дом и достаток свой.
Так было много лет назад...
Теперь не до забав —
Супругу к теще отослав,
Сердито говорят:
— Ах!.. Вернитесь ко мне, мадам...
Или я не отдам

Электровилку,
Тестомесилку,
Плодосушилку,
Кастриюлю и таз,
Кресло-качалку,
Яйцесбивалку,
Электроскалку,—
Они не про вас.
И чашки, и ложки,
И ящик для картошки,
Щетка, вакса, фужер
И кондиционер,
Фен для завивки
Не для такой паршивки!
Не мила вам честь —
Все оставлю здесь:

Электровилку,
Автопилку,
Вмигморозилку,
Духовку, плиту,
Посудомойку,
Электродойку,
Диванокойку —
И эту, и ту!..
Но не пройдет минутки —
И вот звонок малютки,

И снова смех и шутки,
И снова нежный взор.
Ах, возвращенье,—

Кроткость, смущенье,
Тихий разговор...
До следующих ссор!

* * *

Жизнь — точно зуб. О нем сначала
Ты не заботишься нимало:
Жуешь — и все. И вдруг — дупло!
Скорее капли и тепло!
Болят — да так, что в стенку лбом бы!
Бежишь к врачу и ставишь пломбы!..
А исцеленье в том, что он
Быть должен просто удален.

* * *

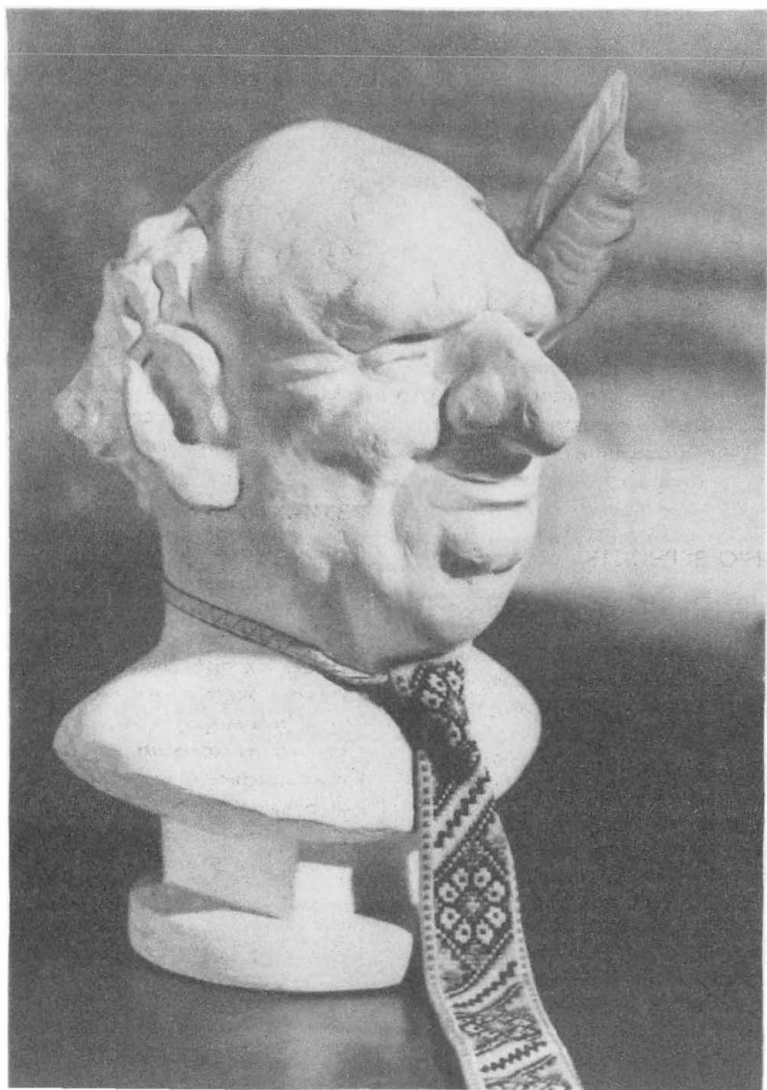
Вот бы жизнь моя имела форму жизни
Фосфора в костях форели,
Или форму жизни этакой штуковины...
Как ее... Никак не сформулировать... Да ладно!
Вот бы жизнь моя имела форму жизни песка в горсти,
Форму жизни хлеба формового,
Амфоры, а может, мягкой туфли,
Или форму жизни старого припева: фа-ри-дон-ден,
Или форму жизни рабочей формы трубочиста,
А может, форму жизни хлорофилла в листе сирени,
Иль форму исторических формаций,
Или какого-нибудь форменного безобразия —
К примеру, лезущего в форточку дивана...
Вот бы жизнь моя имела форму жизни
Твоей — что есть, то есть, но эта форма так ничтожна,
Так ничтожна, чтобы стать счастливым!

* * *

Коль был бы я пиитой,
Я стал бы знаменитый:
Ходил всегда упитый
И с торбою набитой,
Где — приложив старание
И не жалея нервов —
Носил бы я собрание
Всех моих шедевров.

Переводы с французского
Михаила Яснова

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС ...



Ефим Самоварщиков

Ироническая поэзия

НИКОЛАЙ КАРПОВ

БЕЗОБРАЗИЕ!

Одновременно мы звонили:
Он — мне, а я звонил ему.
Пошто нас не соединили,—
Так до сих пор и не пойму!

Но, посудите, в самом деле:
От нетерпенья трепеща,
Звонки настойчиво летели,
Во тьме общения ища!

Я после думал, опечалась,
Что в эти долгих полчаса
Не раз в пути пересекались
Случайно наши голоса!

И вовсе, видимо, не трудно,
Как пряжа связывает нить,
Когда желанье обоюдно,—
На полпути соединить!

ХРАНЮ ВЕРНОСТЬ

На службу идя, промокал
до белья,
До туфель, облезлых и старых.
Тогда и купила супруга моя
Мне зонтик японский в подарок.
И с этой поры он повсюду
со мной,—
Под зонтиком радуюсь жизни.
Его раскрываю я над головой,
Едва только капелька брызнет.

* * *

Люблю я в джинсах и вельвете
И в импозантной бороде

За славный подарок
я верность блюду,
И в дождик,
обильный и хлесткий,
Под этом зонтом
ни за что не пойду
С какой-нибудь там вертихвосткой!

МНЕ НЕ ЖАЛКО!

Дочь, любовью совсем
заморочена,
Заявилась ко мне с женихом...
С этикетом старинным знаком,
Прошептал он: «...руки Вашей
дочери...»
Я не стал упираться и жмотничать,
И представил себя добряком,
И ответил ему, в свою очередь:
«Что рука?! Забирай целиком!»

ИЗУЧАЮ ЖИЗНЬ

Я забот иных не знаю —
Это мой привычный труд:
Я повсюду изучаю,
Как сограждане живут.
Изучаю их привычки:
Взгляды, жесты — что с руки.
Вот, к примеру, в электричке
Дева точит коготки.
Точит истово, с охотой —
Аж охватывает дрожь:
Ох и вцепится в кого-то,—
Тягачом не оторвешь!

Гулять в интимном тэт-а-тэте
По окружающей среде.
Полюбовавшись кругозором,
Приятно, что и говорить,

Насобирать охапку флоры,
Чтоб даме сердца подарить.
И провожать ее не страшно,
Живи она хоть в тупике:
Хожу я с фауной домашней,
Держа ее на повсдке.

* * *

Я памятник себе...

Хочу я памятник построить,
Чтобы в небесной вышине
Над миром возвышаться стоя,
А лучше сидя на коне.

Чтоб «Самоварщиков» на камне
Искусный скульптор начертал,
Дабы в безвестности не канул
Литературный капитал.

Пародии

ВАЛЕРИЙ АНИЩЕНКО

КТО ОН?

Я Твердовского знал очень мало.
Да и он меня толком не знал.

Я не скажу, что я неблагодарен
за то, что я не чурка, не бездарен.
Мне, может быть, и оказали милость,
но чья душа в меня переселилась?

Александр Ю д а х и н

* * *

Кого я в зеркале увидел рядом
и поражен был вдохновенным взглядом?
Умен, красив. И с водкой дружит в меру.
С Твардовским был знаком. С Джавахарлалом Неру.
Так кто же он, что смотрит из зеркала,
что написал стихов уже немало?

И чья строка в него переселилась?
Быть может, от Самойлова отбилась?
Кого он мне, друзья, напоминает?
Какого классика? Никто пока не знает.



Рис. М. Добужинского

КЛЕВ

Счастливо молюсь на форту.
И больше
На ласку твою
По дури
Не клюну,
Не клюну —
Я больше вообще не клюю.

Виктор Коротаяев

* * *

Была ты одета
По моде.
Я млею,
Опершись на плечо.

О, сколько я на мелководье
Вот так попадал
На крючок!
А нынче прошло.
Отмечталось.
И ты не смотри
На меня.
Поскольку совсем
Отклевалось,
И нету былого огня.
Хватать мне по дури негоже
Наживку из слов
И обнов.
Ты удочку сматывай
Тоже,
Поскольку закончился клев.

ВЛАДИМИР ТЕПЛЯКОВ

КОЛОБОК

(Старая сказка на новый взгляд)

ИВАН ЖДАНОВ

Поминальный мотив

Был короб скрипом напоен. И вспахана опара.
И спал сусек, и видел сон, склоняясь над собой.
Трещали сучья, сея свет, и ярь печного жара
вступала в брачную вражду с округлой немотой.
Обряд свершился. Желтый плод старушечьих фантазий
катил свой спелый монолог по желтому жнивью.
Кружились листья нагишом в желтеющем экстазе,
и он не ведал про судьбу горчичную свою.

Беда отбрасывала тень зловещим силуэтом.
И страх вознесся и остыл, впадая в шелест крон.

И в душу сдобную запав, дрожь била рикошетом.
И пасть безмолвная влекла в отечество ворон.
Колочий крик сошел на нет в зеленом мирозданье,

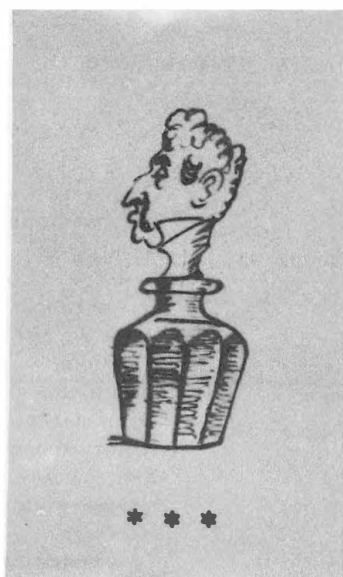


Рис. Н. Кузьмина

и боль крови глухонемой нарушила весы...
Гнездились образы. Росло вне смысла понимание.
И голод по лесу скакал вне волка и лисы.

АНДРЕЙ МУРАЙ

ПИСЬМО ПАСТУХА НИКИТЫ ПОЭТУ ГАЛКИНУ

А колхозные коровы,
Как и двадцать лет назад,
Пастуху Никите снова
Хором зорю протрубят.
Очевидно, для острастки,
Взяв в проводники быка,
Побредут, как по указке,
В неокрепшие луга.

Алексей Г а л к и н

Мил дружок, товарищ Галкин!
Разлюбезный наш поэт!
Хошь ты не был, елки-палки,
На селе уж двадцать лет,
Но твоё стихотворенье,
Пуще травки молодой,
Приподняло настроенье

И повысило удой.
Как читал его впервые,
Аж слеза текла из глаз.
Спору нет, стихи такие
Для скотины в самый раз.
Только, милай, про быка ты
Зря писал. Он без того
Начал забывать, проклятый,
Для чего берут его.
Все ж позволь от поголовья —
От буренок и от кляч —
Пождать тебе здоровья,
Новых творческих удач.
Ну а коль чего не ладно,
Завсегда тебе открыта
Путь-дорога в наше стадо.
Прощевай.

Пастух Никита.



Рис. Н. Кузьмина

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

УПОЕНИЕ

Заходи.
Снимай фуражку.

Пыль с ботинок оботри.
Я тебе поставлю фляжку
бледно-розовой зари.

Лариса В а с и л ь е в а

Не могу тебя, нахала,
взять и выставить взащей,
но пойми, что миновало
время пьяниц-алкашей.

Не моргай бесстыжим глазом
и подошвами не три.
В соответствии с указом
выпей рюмочку зари.

Я чиста перед законом
и ничуть не трепещу.
Я тебя вечерним звоном,
если хочешь, угощу.

Пей из полного стакана,
раз уж тянется рука,

смесь дыхания тумана
с дуновением ветерка.

Пей божественное слово,
это лучше, чем вино.
У меня добра такого,
знаешь сам — всегда полно.

Пей, любимый, насыщайся,
пей неведомый простор.
Я с ума сойду от счастья,
если свалишься под стол.

А когда вернешься в чувство,
просветленный и т. п.,
осознаешь, что искусство
лучше всяких ЛТП.

МИХАИЛ САВИН

ОТКРОВЕНИЕ

Я нынче не читаю, не пишу,
Зачем читать, когда в разгаре лето...

Машу весь день литовкой на лугу,
Ну думайте, что я купил корову.

Геннадий Шмаков

Зачем скрывать — писать я не могу,
Хотя по части лирики подкован,
Виновна в том корова на лугу,
Моя, признаюсь, личная корова.
Я луговины росные кошу,
В стихах не видя более резона,
И заодно с буренкою дышу
Положенною дозой озона.
Ее мычаньем сытым над водой
Свое молчанье я перекрываю.
Она до капли отдает удой,
А я его до капли выпиваю.
Молчу, испив парного молока,
Молочно льется на душу истома.
Когда не пишешь — голова легка,
А не читаешь — просто невесома.
Машу весь день литовкой на лугу,

Куда-то дар мой божий испарился:
Читать стихи я летом не могу
Да и писать под осень разучился.

ГРИГОРИЯ МЕДВЕДОВСКИЙ

ОЖИДАНИЕ

Мои друзья,
Мои поэты
Кричали мне:
«Писать пора!..»

...Сам не знаю
Когда и откуда,
Но придет
Настоящий поэт.

Егор Митасов

Одним предчувствием согреты,
Стучали в окна до утра
Мои друзья,
Мои поэты,
Скандируя:

— Пи-сать по-ра!
Забросил я шары-дуплеты,
Всю деревенскую тоску
И ждать путевого поэта
Подался в матушку-Москву.
Там, беззаботно воспевая
Красоты сельского труда,
Живу себе,
Не унываю
И терпеливо жду, когда
Со взором, сумрачно горящим,
Не из-за лесу
И не с гор
Поэт прибудет настоящий
И люди выдохнут:
— Егор!

НИКОЛАЙ КУЛАК

НАСТИХОТВОРИЛ

У самой у обочины
Цветы разлепесточены,
Ложатся акварелины —
Как прихоти апрелины.

Сергей Островой

У самой у заборины
Стихов нарукотворено!
Цветами разукрашены,
Стога накарандашены.

Не молодо, не зелено —
Всерьез наакварелено!
Прохожий удивляется,
Прохожий изумляется:
— Здесь что-то гениальное!
— Здесь что-то эпохальное!
Слова-то как отточены!

...И я разлепесточенно
Готовлю всем ответины:
— Мои автопортретины...

ПОЧТИ НИКОГДА...

Если что-то и было давно и далеко,
То почти никогда и почти не со мной...

Марина Некрасова

Если ручка, бумаги листок под рукою —
То почти каждый раз я спешу сочинять.
Если вдруг и получится что-то такое —
То почти ни за что и самой не понять.

Если муза поэтов порой осеняет,
И уносит на крыльях в полет неземной,
Если что-то подобное с кем-то бывает —
То почти никогда и почти не со мной...

ПЛАЧ ПО ЛЮБИМОЙ КОЗЕ

Патлатая коза поила молоком
Меня, мою сестру,
Котенка со щенком.
...Мне было восемь лет,
Когда промчался пьяный
И мотоциклом сбил
Козу весной туманной.

Юрий Голицын

Патлатая коза
Поила молоком
Меня, мою сестру,
Котенка со щенком.

Но пьяница сосед
Лихач к тому же был.

Любимую козу
Он мотоциклом сбил.

С тех пор печаль-тоску
Я на сердце ношу,
Как вспомню о козе —
Страницу орошу.

А встречу алкаша,
Кричу ему со зла:
— Не мог ты задавить
Соседского козла?

Молчит он. А вчера
Ехидно так сказал:
— Да если бы не я,
О чем бы ты писал?

ЕФИМ САМОВАРЩИКОВ

ЗАСТЕНЧИВЫЕ СТИХИ

Я исхудал и в фас и в профиль —
Не пожелаешь и врагу:
Продрав глаза и выпив кофе,
Я по редакциям бегу!

Известны пункты по дороге,
Где повезет иль повезло.
Меня, как волка, кормят ноги
И... гениальное стилo!

* * *

Мне по нутру ученье «йога»,—
Готов советовать я всем:
На голове постой немного —
И никаких тебе проблем!

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

На прилавках
Появились валенки —

Значит, скоро
Будут и проталинки.

* * *

Прилеж отдохнуть полчаса назад.
Сладкая полудрема.
Я дверь не открою — пускай звонят:
У меня все дома..

* * *

По телеграфным проводам
Моя душа несется к вам.
И все ж нелепость в этом есть,
Что тело остается здесь!

* * *

Я за славою,
Как ни печально,
Гнался
Белкою в колесе.
И устал я
Писать гениально,
И пишу я теперь
Как все!

ГЛАСНОСТЬ

Мне гласность нравится вполне,
Я ждал ее — мечту мою,
Чтобы сказать своей жене
Все, что о ней я думаю!

ОЦЕНИЛ

— Ну как стихи мои?
— Совсем недурно —
Нежизненно,
Зато литературно.

ОТКРЫТИЕ

Доля бывает —
Львиная,
Кожа бывает —

Гусиная,
Игры бывают —
Кошачьи,
А нежности —
Только телячьи.

* * *

Муху вздорная сила по дому носила.
Села муха, устав, на страницу Шекспира.
Села на монолог полоумного Лира.
И ее в этот миг мухобойка убила.

Были очень недолги мушиные муки
там, где Лира сомкнулись в страдании веки,—
так трагедия Лира с трагедией мухи
в пятом томе Шекспира смешались навеки.



Рис. Н. Кузьмина

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРОВ АЛЬМАНАХА «ПОЭЗИЯ» С 1985 ГОДА

1985 год

Альманах «Поэзия» № 40

МАСТЕРСКАЯ

Валентин Осипов. «Пишите о главном...»
Ярослав Смеляков

ВСЕГДА В СТРОЮ

Вадим Попов
Владимир Рудим
Михаил Тимошечкин
Анатолий Абрамов
Борис Тедерс
Герман Гоппе
Иван Петрухин
Николай Зусик
Николай Стрельников

ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ

Хазби Калоев

ВСЕГДА В ПУТИ

Александр Жаров
Владимир Радкевич
Эдуард Бабаев
Вадим Шефнер
Федор Сухов
Александр Балин
Глеб Горбовский
Михаил Квливидзе
Виктор Парфентьев
Сергей Мнацаканян
Александр Бобров
Валерий Черкашин

МАСТЕРСКАЯ

Михаил Львов.
«В поисках «рецептов» жизни и стиха»

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Святослав Педенко. «О, сорока-белобэка...»
Валерий Латынин
Надежда Солнцева
Марина Безденежных
Алексей Супонев
Нина Шевцова
Аркадий Сергеев

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Александр Казинцев,
Нина Казинцева.
«Автор двух поэм»

МАСТЕРСКАЯ

Владимир Греков.
«Движение добра»
Иван Аксаков.
Письмо Чижову В. Ф.

СТАТЬИ

Лев Смирнов.
«После первой книги»
Валентина Мальми
Наталья Бусыгина
Евгений Чепурных

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Илья Эренбург

СТАТЬИ

Ирина Шевелева.
«И в отчество — Отечество дала...»
Виктор Дронников
Валентин Кузнецов
Александр Гевелинг
Марат Тарасов

ВСЕГДА В ПУТИ

Вячеслав Молодяков
Михаил Шевченко
Татьяна Шеханова
Александр Щуплов
Виктор Гаврилин
Алексей Титов
Геннадий Румянцев
Геннадий Могилевцев

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Виталий Зверев.
«Певец печали и страстей...»
Александр Полежаев

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Анатолий Иванов.
«Питерский трубадур»
Саша Черный.
О Петре Потемкине
Петр Потемкин

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Маргарет Этвуд
Робер Деснос

СТАТЬИ

Михаил Кудинов.
«История одной литературной
пародии»

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Ироническая поэзия
Сергей Безлюдский
Владимир Ведякин
Пародии
Александр Матюшкин-Герке
Ефим Самоварщиков

Альманах «Поэзия» № 41

Виктор Кирюшин

НАША АНКЕТА С СОРОКОВЫМ ПОБЕДНЫМ МАЕМ!

Михаил Львов
Юлия Друнина
Владимир Карпеко
Константин Ваншенкин

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...»
(Стихи участников Великой Оте-
чественной войны)

Петр Афанасьев
Галина Беднова
Юрий Белят
Василий Горшенин
Яков Дьяченко
Евгений Зиборов
Георгий Ерошенков
Юрий Каменецкий
Виктор Королев
Борис Крехов
Виктор Круглов
Леонид Кузубов
Владислав Курганов
Иван Лапшин
Григорий Люшнин
Игорь Мартьянов
Виталий Матвеев
Георгий Матвеев
Михаил Небыков
Никита Парамонов
Александр Пахомов
Иван Погорелов
Владимир Сибирев
Роман Трофимов
Михаил Ульянов
Михаил Чеботаев
Григорий Шурмак

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...»
(Антология стихотворений о войне)

Василий Лебедев-Кумач
Анна Ахматова

Александр Твардовский
Алексей Сурков
Борис Слуцкий
Алексей Лебедев
Константин Симонов
Юрий Левитанский
Семен Гудзенко
Михаил Исаковский
Михаил Кульчицкий
Марк Максимов
Сергей Наровчатов
Дмитрий Кедрин
Марк Соболь
Юлия Друнина
Дмитрий Ковалев
Михаил Львов
Сергей Смирнов
Павел Шубин
Михаил Луконин
Сергей Орлов
Николай Старшинов
Георгий Суворов
Сергей Аракчеев
Евгений Винокуров
Алексей Фатьянов
Владимир Карпеко
Василий Субботин
Алексей Недогонов
Виктор Гончаров
Петр Комаров
Григорий Поженян
Сергей Викулов
Виктор Кочетков
Александр Балин
Константин Ваншенкин
Булат Окуджава
Давид Самойлов
Александр Твардовский

ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ

Иван Бурсов. «Опаленные
лепестки»
Алексей Коршак

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...»
(Стихи поэтов послевоенного по-
коления)

Роберт Рождественский
Белла Ахмадулина
Андрей Вознесенский

Владимир Высоцкий
Глеб Горбовский
Олег Дмитриев
Анатолий Жигулин
Евгений Евтушенко
Римма Казакова
Владимир Костров
Игорь Крохин
Юрий Кузнецов
Станислав Куняев
Виктор Пахомов
Николай Рубцов
Лев Смирнов
Владимир Соколов
Игорь Шкляревский

СТАТЬИ

Вадим Дементьев. Завет.

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...»

Андрей Перов
Наталья Апушкина
Изяслав Котляров
Наталья Рябинина
Юрий Оболенцев
Виталий Захаров
Владимир Кондрьяненко
Михаил Каневский
Владимир Ильицкий
Вера Кондратович-Сидорова

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир Пяст. Встречи с
Есениным

СТИХИ УЧАСТНИКОВ VIII ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Виктор Петров
Вячеслав Саблуков
Владимир Полушин
Николай Алешкин
Елена Обоймина
Александр Козин
Алла Беженева
Владимир Пешехонов
Людмила Касымова

Евгений Огнев
Юрий Корс
Виктор Володин
Александр Сыров
Михаил Гаврюшин
Юсуф Созаруков
Александр Лаврин
Силвия Вецкалне
Сергей Белорусец
Алексей Ивин
Алесь Письменков
Александр Логинов
Алла Губанова
Игорь Римарук
Иван Носиков
Юлия Кисина
Ольга Маркитантова
Юрий Мезенко
Светлана Максимова
Валентина Каштанова
Игорь Бойко
Анна Гедымин
Николае Попа
Людмила Козлова
Наталия Давыдовская
Альгимантас Каминскас
Наталия Бабицкая
Антонина Ростова
Вячеслав Васин
Нина Стручкова
Борис Маслов
Светлана Кадырова
Юрий Зафесов
Валентина Изиянова
Юрий Кабанков
Елена Сойни
Леонид Володарский
Машалла Мафтун
Ольга Фридлянд
Аркадий Кайданов
Нина Габриэлян
Владимир Пучков
Муса Назим
Ярослав Ратушный
Баяр Жигмытов
Николай Добруха
Петр Катин
Александр Черепанов

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Сидней Кейс
Кейт Дуглас
Франсуа Мориак

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Пародии
Павел Суров
Владилен Прудовский
Юрий Постыляков
Ефим Самоварщиков

Альманах «Поэзия» № 42

ВСЕГДА В ПУТИ

Иван Драч
Лев Смирнов
Герман Абрамов
Анатолий Чиков
Натан Злотников
Александр Кушнер
Николай Карпов
Олег Зверев
Владимир Гнеушев
Македоний Федотовских
Владимир Терехов
Дюмид Костюрин
Валерий Тряпша
Валерий Краско
Сергей Алиханов
Григорий Калюжный
Татьяна Никологорская

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Леонид Леонов
Юрий Бондарев
Василь Быков
Рыгор Бородулин
Давид Самойлов
Игорь Шкляревский
Лидия Сазонова
Алексей Артемьев

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Алексей Мишин

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Станислав Куняев.
Лиризм — кровь поэзии
Василий Волков
Дмитрий Нечаенко
Людмила Фомина

Ярослав Васильев
Инна Павлова
Наталья Савейкова
Виталий Креков
Любовь Берзина
Мурадин Ольмезов
Александр Авдуевский
Ариф Гусейнов
Михаил Ягунов
Виктор Шарков
Вячеслав Фахрудинов

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Сергей Кошечкин.
Стихи посвящены Есенину
Марина Цветаева
Александр Прокофьев
Иосиф Уткин
Сергей Орлов
Владимир Соколов
Николай Рубцов
Евгений Евтушенко
Леонид Мартынов
Александр Михайлов

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Елизавета Полонская
Леонид Жуховицкий
Феликс Лев

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Виталий Зверев.
«Я сердцем жил...»
Петр Ершов

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Владимир Муравьев.
«Истинный поэт»
Юрий Верховский

СТАТЬИ

Николай Дмитриев.
«В глуши коленчатого вала...»

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Ольга Кабраль
Шарль-Фердинанд Рамю
Джеймс Джойс

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Владимир Головин
Владлен Прудовский
Александр Бобров
Феликс Ефимов
Игорь Корень
Игорь Бердников
Владимир Скиф
Ефим Самоварщиков

Альманах «Поэзия» № 43

ВСЕГДА В СТРОЮ
(Стихи участников Великой Отечественной войны)

Виктор Крутецкий
Дмитрий Смирнов
Леонид Рабичев
Павел Булушев
Анатолий Абрамов
Олег Бушко
Сеитумер Эмин
Константин Мартовский
Михаил Найдич
Виктор Перов
Василий Разливинский
Владимир Гордиенко
Михаил Клипиницер
Валерий Синев
Герман Цветков
Николай Кривоногов
Александр Чуешь
Алексей Овчинников
Петр Сидоров
Александр Абоимов
Степан Шубин
Павел Елфимов
Геннадий Федорченко
Юрий Цедилин

ИМЕНА НА ПОВЕРКЕ

Аркадий Шифрин

ВСЕГДА В ПУТИ

Виктор Кочетков
Николай Тряпкин
Виктор Боков
Игорь Шкляревский
Виктория Вита
Федор Сухов
Новелла Матвеева
Олег Алексеев
Фазиль Искандер
Светлана Мекшен
Николай Котенко
Николай Дмитриев
Петр Кошель
Анатолий Наумов

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Кирилл Ковальджи.
В поэзии радуют различия...
Александр Ивушкин
Задим Шуляковский
Владимир Трепетцов
Тамара Мышкина
Владимир Шадрин
Александр Казинцев
Нина Искренко
Марина Катъс
Владимир Лякишев
Анна Старостенко
Александра Истогина
Владимир Шпак
Владимир Алейников
Лира Ершовская

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Николай Шанторенков
Николай Рубцов
Николай Глазков
Ольга Луизова

СТАТЬИ

Сергей Субботин.
«Моя славянская звезда...»
Николай Клюев

ВСЕГДА В ПУТИ

Виктор Косенков
Юрий Михайлик
Юрий Паркаев
Вениамин Безруков
Алла Ахундова
Игорь Арбузов
Надежда Мирошниченко
Людмила Калинина
Борис Романов
Борис Викторов
Евгений Ефремов
Владимир Салимон
Алла Коркина
Вячеслав Киктенко
Евгения Манфановская
Николай Лудяков
Лидия Нефедова
Аркадий Коуров
Герман Суоров
Леонид Фомин
Ирина Сумакова

МАСТЕРСКАЯ

Анастасия Цветаева
Евгения Кунина
Николай Бурляев
Виталий Коржиков
Валерий Краснослабодцев

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Дмитрий Ковалев

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Семен Ванетик. Ксении
Иоганн Вольфганг Гёте
Фридрих Шиллер
Александр Покидов.
«Светило поэзии английского
романтизма»
Джон Китс
Григорий Резниченко.
Боец и поэт Ле Ван Нуой
Ле Ван Нуой

НАША АНКЕТА

На суд времени

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Ироническая поэзия
Виктор Меньшиков
Пародии
Владлен Прудовский
Игорь Бердников
Владимир Скиф
Ефим Самоварщиков

1986 год

Альманах «Поэзия» № 44

ВСЕГДА В ПУТИ

Николай Мережников
Иосиф Ржавский
Лев Смирнов
Евгений Елисеев
Борис Слуцкий
Владимир Савельев
Валентин Сорокин
Юрий Кузнецов
Станислав Куняев
Петр Вегин
Иван Киуру
Платон Бебиа
Лариса Тараканова
Марк Кабаков
Виктор Коротаяев
Иван Слепнев
Григорий Калюжный
Николай Саткевич
Аманжол Шамкенов
Борис Авсарагов
Сергей Галкин

МАСТЕРСКАЯ

Виктор Кочетков. Чувство пути.
Борис Сиротин
Владимир Гнеушев

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Михаил Квлиддзе.
Вместо предисловия.
Владимир Дудинов

Дмитрий Джураев
Лада Палий
Николай Натаровский
Анна Бердичевская
Сергей Кочкин
Надежда Цветкова
Максим Иванников
Галина Климова
Борис Скотневский
Анатолий Обидченко
Нина Зайцева
Сергей Москвин
Валерий Казаков
Ирина Набиева

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Александр Ширяевец.
Три витязя

МАСТЕРСКАЯ

Инна Ростовцева.
Дети мыслей

СТАТЬИ

Лекса Мануш.
О песенной поэзии цыган
Цыганские песни

МАСТЕРСКАЯ

Игорь Шкляревский.
Ответы на вопросы из зала

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Татьяна Сырыщева.
«Там ищут золото...»
Наталья Бурова
Сергей Аверинцев
Мария Андреевская
Владимир Орехов

ВСЕГДА В ПУТИ

Василий Трубицын
Анатолий Храмутичев

Борис Гайкович
Юрий Беличенко
Сабит Мадалиев
Полина Рожнова
Валерий Кузнецов
Лариса Баранова-Гонченко
Александр Терентьев
Николай Красильников
Валентина Дорожкина
Анатолий Тепляшин
Сергей Агальцов
Валентина Юдина
Александр Шаталов
Софья Родионова
Ирина Баженова
Анатолий Тучин
Альбина Толчанская
Иван Прасолов

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Анатолий Иванов.
От пудры до грузовика.
Николай Агнивцев

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Екатерина Гениева.
Неизвестные страницы Теккерера
Уильям Мейкпис Теккерей

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Александр Бобров
Владимир Нестеренко
Михаил Аксенов
Владимир Кравченко
Юрий Постыляков
Андрей Мурай
Ефим Самоварщиков
«Жалобная книга» Ефима Самоварщикова

Альманах «Поэзия» № 45

ВСЕГДА В ПУТИ

Татьяна Кузовлева
Анатолий Гриценко

Валентин Кузнецов
Михаил Квливидзе
Олег Дмитриев
Виктор Максимов
Светлана Евсева
Александр Кушнер
Светлана Кузнецова
Ольга Кожухова
Эдуард Балашов
Александр Бобров
Игорь Крохин
Владимир Некляев
Геннадий Касмынин
Павел Калина
Алексей Королев
Марина Кудимова
Владимир Евпатов
Александр Щуплов
Олег Хлебников

МАСТЕРСКАЯ

Владимир Гордейчев.
Знаки припоминания

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Л. Баранова-Гонченко.
По следам одного разговора
Николай Кольчев
Владимир Филиппов
Виктор Рубцов
Надежда Добычина
Петр Дегтярев
Любовь Бессонова
Александр Твердохлеб
Валентин Голиненко
Ольга Гречко
Владимир Берязев
Петр Иванов
Сергей Таратуа

МАСТЕРСКАЯ

Михаил Львов.
«Личная гигиена» поэта
Николай Тряпкин.
Два слова о поэте
Сергей Семянников

СТАТЬИ

Григорий Калюжный.
Сомневаться вслух
Сергей Небольсин.
О природе несомненного

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Виталий Зверев.
«И долгота и счастье лет!»
Федор Глинка

ВСЕГДА В ПУТИ

Валентина Дроздовская
Семен Гринин
Евгений Синицын
Николай Пономарев
Виктор Заливочкин
Павел Ульяшов
Игорь Бехтерев
Николай Алешков
Ислам Садыг
Александр Руденко
Юрий Ключников
Марат Акчурин
Любовь Воропаева
Анатолий Смирных

МАСТЕРСКАЯ

Лариса Полякова
Александр Макаров

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Мария Петровых
Виктор Коротаев
Сергей Чухин

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Из Горация
А. Давыдов
Макс Жакоб
Юрий Денисов
Рокко Скотелларо

СТАТЬИ

Ирина Шевелева.
«Бери, бери свою лопату, певчий...»

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Георгий Поляченко.
Ироническая поэзия
Пародии
Валерий Анищенко
Александр Егоров
Андрей Мурай
Ефим Самоварщиков

Альманах «Поэзия» № 46

ВСЕГДА В ПУТИ

Виктор Кочетков
Евгений Винокуров
Александр Балин
Татьяна Сырыщева
Глеб Горбовский
Владимир Костров
Лариса Васильева
Иван Кашпуров
Вадим Ковда
Михаил Синельников
Иван Жданов
Виктор Гаврилин
Владимир Емельянов
Руслан Ацканов
Галина Безрукова
Александр Ткаченко

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Александр Казинцев.
«Схороненное выдохнув тепло»
Анатолий Устьянцев
Маргарита Котомцева
Ксения Фирсова
Таир Асланлы
Раиса Котовская
Корнелия Войткевич
Андрей Вершинин
Любовь Стоянова
Насиб Набиоглы
Марина Князева

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Станислав Куняев.
Время, пространство, слово...
Сергей Марков
Леонид Мартынов
Людмила Калинина.
Окно поэта
Александр Люкин

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Юрий Болдырев.
Поэзия — это человек
Геннадий Калашников
Евгений Артюхов
Валерий Токарев

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Инна Ростовцева.
«Темна и глубока человеческая
сказка»
Алексей Прасолов

МАСТЕРСКАЯ

Никита Заболоцкий.
О замысле Н. А. Заболоцкого
перевести немецкий эпос
Сергей Мнацаканян.
«Полынь» поэта
Михаил Дудин

ВСЕГДА В ПУТИ

Алексей Рогов
Алоиз Крылов
Равиль Бухараев
Вениамин Бутенко
Виктор Кирюшин
Ирина Моргулева
Виктор Вишняк
Борис Ластовенко
Вадим Сабинин
Карен Джангиров
Анатолий Вершинский
Майя Быкова
Валентина Андриуц

МАСТЕРСКАЯ

Александр Бобров.
Золотые точки
Надежда Чертова.
Моя Ксения.
(Воспоминания о Ксении
Некрасовой)

У НАС В ГОСТЯХ...

ПОЭТЫ ИРКУТСКА

Виктор Соколов
Ростислав Филиппов
Владимир Скиф
Василий Козлов
Владимир Корнилов
Василий Хлыбов
Анатолий Кобенков
Евгений Варламов
Леонид Лебедев
Иван Козлов
Александр Калужский
Борис Архипкин
Маргарита Дюкова
Елена Яговкина

ПОЭТЫ ПЕНЗЫ

Александр Сазонов
Георгий Крылов
Дина Злобина
Олег Славин
Михаил Кириллов
Николай Куленко
Виктор Агапов
Лариса Яшина
Владимир Подольский
Лариса Качинская
Алексей Немов

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Михаил Кудимов.
Вольтер и Бастилия
Эмили Дикинсон
В конце номера
Антон Горлышков.
Про стихотворные обмороки,
сердце под полой и скамью обиды,

или О полезности глядения на мир МАСТЕРСКАЯ
сквозь лопухи

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО
НАС

Пародии
Андрей Мурай
Ефим Самоварщиков

1987 год

Альманах «Поэзия» № 47

ВСЕГДА В ПУТИ

Владимир Карпеко
Иван Бурсов
Федор Сухов
Кирилл Ковальджи
Сергей Красиков
Мария Терентьева
Феликс Чуев
Муза Павлова
Юрий Лощиц
Станислав Стриженюк
Владимир Бурич
Лопсон Тапхаев
Виктор Верстаков
Николай Дмитриев
Евгений Блажеевский
Олег Кочетков

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Анатолий Пикач.
«С чего начинается лирика?..»
Мария Пахомова
Сергей Ковалевский
Жанна Давитьянц
Олег Тапешко
Светлана Чулкова
Михаил Окунь
Сергей Васильев
Ирина Слепая
Юрий Дулесов
Наталья Рожкова
Сергей Белорусец
Наталья Михайлова
Борис Клетинич

Глеб Горбовский. Выступление на
VIII съезде СП СССР

Новелла Матвеева.
Правда истинная и служение ей
(о творчестве Евгения Евтушенко)

ВЕНОК ПУШКИНУ

Сергей Небольсин

ВСЕГДА В ПУТИ

Сергей Хохлов
Михаил Шаповалов
Александр Шмидт
Какабай Курбанмурадов
Ирина Семенова
Владислав Артемов
Валерий Иванов
Семен Богуславский
Константин Коледин
Юрий Уваров
Анна Саед Шах
Владимир Нежданов
Валерий Фокин
Владимир Сидоров
Григорий Лютый
Галина Погожева
Вольдемар Романовский
Игорь Селезнев
Николай Графов

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Герман Валиков
Леонид Енотов
Марк Соболев.
О друге-ровеснике
Борис Блантер

СТАТЬИ

Виталий Зверев.
«Песнь от сердца — дар драгой»
Павел Катенин

МАСТЕРСКАЯ

Владимир Костров.
«Анатолий Чиков»
Анатолий Чиков
Григорий Калужный.
Загорский летописец
Валентин Солоухин.
Воспоминания о Николае Рубцове

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Леонид Мартынов
Анна Масс
Владимир Масс.
Дышу, пишу... пародии

СТАТЬИ

Михаил Кудинов.
Вольтер и французская поэзия

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Сохраб Сепехри
Эварист Парни.
Мадагаскарские песни

В КОНЦЕ НОМЕРА

Иван Панкеев.
Ищу современника!

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Ироническая поэзия
Альбинас Скирялис
Владимир Тепляков
Вячеслав Васин
Пародии
Владимир Туровский
Андрей Мурай
Владлен Прудовский
Александр Егоров
Павел Суров
Ефим Самоварщиков

Альманах «Поэзия» № 48

ВСЕГДА В ПУТИ

Олег Алексеев
Николай Благов
Александр Кушнер
Станислав Куняев
Геворг Эмин
Джемс Паттерсон
Лиля Наппельбаум
Павло Мовчан
Нина Краснова
Петерис Юрциньш
Валентина Мальми
Размик Давоян
Ольга Николаева
Владимир Урусов
Мария Аввакумова
Евгений Лебедев

СТАТЬИ

Геннадий Красухин.
Мудрость Пушкина

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Александр Бобров.
Из музыки и шума
Наталья Попельшева
Александр Плахов
Надежда Лещева
Ксения Гашева
Ян Шанли
Вера Линькова
Олег Алешин
Марина Бушуева
Анатолий Поляков
Михаил Анищенко
Валентина Ханадеева
Михаил Федосенко
Владимир Устюгов
Людмила Ямпольская

МАСТЕРСКАЯ

Татьяна Сырыщева.
Труд стихотворца

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Сергей Бирюков.
«Силы мои омылись»
Николай Ладыгин
Владимир Володин
Сарым Кудерин

ВСЕГДА В ПУТИ

Наталья Карпова
Борис Гучков
Елена Ананьева
Борис Рябухин
Владимир Климович
Светлана Эсаулова
Аркадий Сарлык
Владимир Бойков
Юрий Каплунов
Василь Моруга
Иван Блохин
Николай Ныров
Наталья Ванжула
Александр Рассохин
Геннадий Гаденов
Владимир Кочергин

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Игорь Шкляревский
Борис Слуцкий
Геннадий Евграфов
Николай Гумилев

СТАТЬИ

Юрий Шилов.
Мать-Земля: истоки и реалии
образа

У НАС В ГОСТЯХ...

ПОЭТЫ ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Галина Беднова
Эдуард-Гелий Александрович
Анна Сулова
Василий Репин

Любовь Ковшова
Сергей Гусихин
Сергей Семенов
Павел Тужилкин
Александр Ломтев
Геннадий Емкин
Марина Копылова

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Алексей Зверев
Генри Лонгфелло
Андрей Голов.
«Железный жаворонок»
Георг Герверг
Даля Мендоса

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Ироническая поэзия

Владлен Прудовский
Вадим Бомас
Виктор Меньшиков
Сергей Белорусец
Семен Ванетик

Пародии

Александр Иванов
Валерий Анищенко
Феликс Ефимов
Ефим Самоварщиков

Альманах «Поэзия» № 49

УРОКИ ПРАВДЫ

Михаил Львов.
Строки из дневника
Марк Соболь
Давид Самойлов
Виктор Коротаев
Владимир Леонович
Марина Кудимова
Вячеслав Куприянов
Ольга Постникова
Виктор Коротаев
Юлия Друнина
Николай Тряпкин
Борис Олейник
Валентин Кузнецов

Сергей Мнацаканян
Татьяна Веселова
Владимир Ведякин
Олеся Николаева
Борис Бобылев

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Евгений Федотов.
Поэт-революционер
Алексей Гмырев
Василий Федоров

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Григорий Калюжный.
Правда поэзии
Владимир Кудряшов
Василий Чертушкин
Людмила Уханова
Владимир Чибисов
Сергей Самойленко
Владимир Осипов
Наталья Орлова
Григорий Марговский
Михаил Мамаев
Виталий Калашников
Сергей Тищенко
Владислав Трефилов

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Виктор Пухов.
Берега русской поэзии
Николай Тарусский
Светлана Ярославцева.
Судьбы приметы
Семен Гудзенко

СТАТЬИ

Иван Панкеев.
Заступник (посвящается С. Орлову)
Никита Заболоцкий.
Страничка биографии Н. А. Заболоцкого

ВСЕГДА В ПУТИ

Виктор Крутецкий
Натан Злотников
Виктор Дронников
Ирэна Сергеева
Владимир Калиниченко
Владимир Скорынкин
Константин Рябенский
Надежда Мирошниченко
Владислав Фатьянов
Федор Баранов
Татьяна Смертина
Лев Котюков
Владимир Евсеичев
Александра Егорова
Александр Швецов
Леонид Голубович
Виктор Агапов

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Анатолий Иванов.
От румяного Джо к красному
звонарю
Василий Князев

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ

Геннадий Русаков
Артюр Рембо
Алла Шарапова
Кеннет Фиринг

ПАРНАС, ПЕГАС И КОЕ-ЧТО ПРО НАС

Иронические стихи
Герман Абрамов
Владимир Тепляков
Владимир Друк
Пародии
Владлен Прудовский
Валерий Анищенко
Андрей Мурай
Игорь Бердников
Ефим Самоварщиков

Поэзия: Альманах. Вып. 50.— М.: Мол. гвардия,
П 67 1988.— 269 [3] с.

Пятидесятый выпуск альманаха «Поэзия» — юбилейный. В него вошли лучшие стихи современных советских поэтов.

Особое место в номере отводится «круглому столу», в котором приняли участие молодые поэты разных эстетических направлений: Н. Дмитриев, А. Паршиков, В. Коркия, Г. Калужный, В. Аристов, А. Шуплов и другие, а также критики С. Небольсин, С. Котенко, М. Эпштейн. Публикуются стихи участников «круглого стола».

В номере — традиционные рубрики «Наши публикации», «Из зарубежной поэзии» и юмористический раздел «Парнас, Пегас и кое-что про нас...».

П 470100000—225
078(02)—88 — 201—88

ББК 84(0)6

ИБ № 5535

ПОЭЗИЯ. Вып. 50

Зав. редакцией **Г. Зайцев**

Редакторы **Н. Старшинов, Ген. Красников**

Художник **П. Меркулов**

Художественный редактор **Т. Погудина**

Технический редактор **Н. Теплякова**

Корректоры **Н. Самойлова, И. Ларина**

Сдано в набор 22.12.87 Подписано в печать 23.06.88. А03161 Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Журнальная рубленая». Печать офсетная. Условн. печ. л. 17,0. Условн. кр.-отт. 34,5. Учетно-изд. л. 18,4 Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 50 к. Заказ 2849.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сушевская, 21.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отзывы об альманахе присылайте по адресу: 103030, Москва, К-30, Сушевская, 21. Издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», альманах «Поэзия».

АНОНС

Внимание! В издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году продолжает выходить новая серия: «**XX век: поэт и время**», которая знакомит читателей с избранными стихотворениями лучших русских советских поэтов от начала нашего столетия до сегодняшнего дня. Первыми в серии выходят книги — А. Блока, В. Маяковского, Р. Рождественского. В этом году читатели познакомятся с новыми книгами серии — А. Ахматовой, В. Брюсова, С. Есенина, Е. Исаева.

Редакция продолжает выпуск поэтических книг в серии «**ВОСХОЖДЕНИЕ**». В этой серии издаются сборники, ставшие для их авторов первым подведением творческих итогов, первым избранным, потому что наряду с лучшими новыми стихами молодые авторы, уже успевшие хорошо зарекомендовать себя у любителей поэзии, в критике, включают в книгу и то лучшее, что ими было опубликовано раньше. В этом году к читателям поступят новые книги серии «Восхождение» **Татьяны Веселовой, Павла Калины, Анатолия Кичинского, Татьяны Смертиной, Гулрухсор Сафиевой**. Все они несут в себе неповторимый голос, своеобразие творческой манеры, взгляда на мир. Надеемся, что новая встреча этих поэтов с читателями станет продолжением знакомства, отражающим движение молодой поэзии вперед.

«**УРОКИ ПРАВДЫ**» — сборник стихотворений, выходящий в 1988 году, продолжает острый публицистический разговор, начатый в молодогвардейских книгах «Мы все за шар земной в ответе», «Начни с себя!..», хорошо принятых литературной общественностью и читателями. Среди авторов нового сборника «Уроки правды» — А. Ахматова, А. Твардовский, Н. Заболоцкий, Я. Смеляков, Л. Мартынов, В. Шаламов, О. Мандельштам, В. Высоцкий, Б. Слуцкий, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Н. Тряпкин, Ю. Кузнецов, С. Куняев и др.

Новый сборник свидетельствует, что поэзия не сидела сложа руки до перестройки и что многие поэты болели проблемами страны, Отечества. На суд читателя выносятся все выстраданное нашей поэзией, все наболевшее, располагающее к раздумьям о судьбах нашего общества.



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Поэзия. Н. Матвеева, И. Шкляревский, М. Квливидзе, Р. Казакова, С. Кузнецова, Е. Винокуров и др.

Публикации. В. Нарбут, И. Северянин, А. Чак, М. Кузмин, М. Волошин, Е. Венский.

Зарубежная поэзия. И. Гёте, С. Малларме и др.
А также статьи, юмор, пародии, ироническая поэзия, эпиграммы.



молодая
гвардия